



НЕВА

9
2016

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Андрей ДМИТРИЕВ

Стихи • 3

Станислав ШУЛЯК

Andante maestoso.

Мелороман • 7

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Стихи • 128

Платон БЕСЕДИН

Родина березовых ложек.

Повесть • 133

Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД

Стихи • 156

КОДЕКС КАРАМЗИНА

Елена ЗИНОВЬЕВА

О наследовании идей • 166

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Наталья БЕЛЯЕВА

Александр Кушнер: восемь граней таланта • 182

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Личность и рок. Николай Гуськов. «Последний луч трагической зари» (о забытом проекте Крутицкого). **Портрет поэта.** Ирина Чайковская. «В небоскребно-бетонном раю — птицей на ветке темной». К 90-летию поэтессы Валентины Синкевич. **Дом Зингера.** Публикация Елены Зиновьевой • 194

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Град Иудов в Горней.

Часть 4 • 230

Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Александр Мелихов (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Компьютерный набор **Л. Жуковой**
Верстка **Д. Зенченко**

Андрей ДМИТРИЕВ

* * *

Косарь на лунном поле в ауре лунных трав
смотрит на Землю, где хата осталась с краю,
где трактор ровняет разрытый участок на месте костра,
в который бросали листья увядших деревьев и кости храбрых
искателей смысла. Там старой калитки петля
скрипит о былом на ржавом наречии перед входящим
в руины двора, чтоб цепкая пятерня
поймала какой-нибудь блик, сквозь почтовый ящик
проникший в безлюдную бездну из стен и ветвей...
Луна повернулась своим гипнотическим боком
к той точке пространства, что в синем сплетении вен
становится болевой под действием тока
ночных фонарей. Мы смотрим с Земли на Луну,
но не видим ни поля, ни трав, ни косаря, ни его глаз —
вероятно, в нашем земном дыму
жизнь — то, что внизу, то, что в руках у нас...

Старая бабка в плену телевизора гладит кота.
Она — глуха, впрочем, важна лишь картинка,
лишь галстук ведущего, в чьем паспорте место рождения — Воркута
или Воронеж, чей рот вымазан земляникой,
а вещает о чем-то квадратном, как этот плоский экран,
о чем-то железном, пахнущем маслом и потом грузчика —
и рот его, образуя квадрат, говорит языком геометрии. Сотню грамм
выпьет косарь, вспомнив маму, сидевшую в тихом углу — в гуще

Андрей Николаевич Дмитриев родился в 1976 году в г. Бор Горьковской области. Заочно окончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. В офицерском чине служил в милиции. С 2011 года — в сфере средств массовой информации. В настоящее время — редактор отдела экономики газеты «Земля Нижегородская». Член Союза журналистов РФ с 2013 года. Автор сборников стихов «Рай для бездомных собак» и «Орнитология воды». Публиковался в журналах «Нева», «Гвидеон» (Москва), «Вокзал» (Санкт-Петербург), «Южная звезда» (Ставрополь), «Журнал ПОэтов» (Москва), «ЛиФФт» (Московская область), «Зарубежные задворки» (Дюссельдорф, Германия), «Нижний Новгород» (Н. Новгород), в альманахах «Земляки» и «Литкульт», в электронных изданиях. Лауреат премии имени Бориса Пильника под эгидой Нижегородского отделения Союза писателей РФ (2010). Живет в Нижнем Новгороде.

новостных пантомим. «Земля, Земля. Я вызываю Землю».
А Земля, сделав виток, на ось намотала нить
и укатилась под стол, где кот задается целью
все спутать в игривых когтях, а потом молока просить.

* * *

Когда гаснут дома и земля поворачивается набок —
что-то меняется в составе воздуха, и вокруг
оживают предметы, что казались мертвыми, тихой сапой
летит лебединая песня, обращенная в пух,
на гладь еще не расплесканного звука с ледяною корочкой тишины.
Что-то меняется в составе воздуха, в составе слова —
художник, подтачивающий карандаши,
это чувство берет за основу
после возгласа полбутылки виски об иллюзорности очертаний
и не стремится пряничный космос запечь в приготовленной рамке.
В маленькой комнате кто-то уснул, читая
об этом, и, словно пчела в раскрывшемся маке,
гудит в такт с закадровым голосом —
желтое тельце разума обрамляют черные полосы...

* * *

Хорошо бы проснуться после этого зябкого сна
все таким же живым — воскресшим, вновь обретенным, пернатым,
с головой-лампочкой, в которой ликует свет, звенящим — будто оса
над долькой разрезанной дыни, глубоким, как лунный кратер...
Догорают вещи на вешалках, шелестят распухшие книги,
рыбы выпрыгивают из воды, пытаются коснуться рыбьего бога...
Мальчик в клетчатой кофте, на скрипке своей пиликай
возле окна, открытого в душный мир, в котором — от муравья до носорога —
все хотят жить. Хорошо бы проснуться под эту музыку
и улыбнуться собственному опыту возвращаться в ту же точку на карте,
откуда спускался по тропке узенькой,
подталкиваемый ритмичным движением миокарда,
к бескрайнему морю, где у каждого камушка есть имя и дата
рождения, где что-то давно ставшее голосом из гулкой раковины
вещает о небе на загорелых плечах атланта,
как о пучине огромного мегаполиса в фокусе глаза живущего на окраине...

* * *

Император обходит войска — всматривается в каждое лицо
гвардейца, стоящего по стойке «смирно»
напротив дворца, где на завтрак несут яйцо
на блестящем подносе — всмятку или вкрутую. Картою мира

застелена пустота в белой спальне, и все вздохи — в шитье.
На жердочке попугай — повторяет имя свое по-французски,
а по телевизору все идет и идет — многопалая, как буква «ж» —
повесть временных лет с закадровым голосом пойманного моллюска.

По зиме елки становятся — выше, пышней, колючей.
Лес подходит вплотную к монолитной стене города.
Мы едем в центр из средневековой истории, где королевский лучник
полюбил дочь герцога, но вскоре
погиб на Столетней войне — номер маршрутки заляпан
грязью расхлябанной цивилизации,
но к чему эти цифры, когда даже белые пятна —
не родня циферблату. Касаться
темы спаленных мостов — предаваться мрачной поэзии,
где Верлен и Рембо потонули в абсенте,
которым люди рассудка сегодня брезгуют,
сидя на морковной диете,
хотя, обернувшись назад, видишь это буйное пламя
и себе представляешь последнего гренадера,
перебравшегося через реку. Слишком много в бокале лайма,
слишком темно в черном желобе коридора.

Над дворцовой площадью — чайка — предвестник моря.
Мы болеем за те команды, в которых играли слепых.
Мать-императрица, стоя за плотной парчовой шторой,
смотрит на сына, что на плацу ивовым прутиком общей судьбы
дирижирует смертью с блаженным лицом ребенка.
Сердце забило в угол, где лампада фамильной иконы
перемещает тени, и откуда-то сбоку
приходит вечер, принося запах свежеспяленного клена...

* * *

Мужчина с головою быка и крыльями серого голубя —
обычный объект коммунальной жизни в черте небольшого города,
где сатиры по пятницам пляшут пьяные, а нимфы — голые,
где всех громче поет по ночам запоздалая «скорая».
Его зовут Петр, по отчеству он — Кузьмич.
Роспись — нервный комок туго сплетенных линий,
а на фото в паспорте — то ли бык, то ли голубь, то ли пасхальный кулич,
испеченный в шестидесятых — в проталине средь «хрущевок» из глины,
лунного камня и кусков вулканической лавы.
На работе не ценят, дома не ждут, но когда заходит в подъезд,
уборщица в синем халате — тетя Клава —
говорит: «Здравствуй, Петя», и он обретает вес...

Вокруг — хлябь и ветер. Дома, как нелепые храмы
в честь хмурых небес, ищут свой колокольный звон
в развалинах времени. Петр Кузьмич, в охране
работая два через два, стал к иному графику зол,
однако сегодня — в свой случившийся день рождения —
он вспомнит, что бык — символ плодоносящей земли,
а голубь — знак равенства между воздухом и им отброшенной тенью,
подменится и из томика «Мифы Эллады» достанет рубли...

* * *

На берегу озера — домик в японском стиле.
Самурайские грезы. Совхозные трактора грызут тишину
чуть в стороне. Сёгун наливает водки и звонит на мобильный
знакомой гейше, едва не набрав жену.
Не надо быть ни Такеши Китано, ни Куросавой,
чтобы в следующем кадре поймать ветку вишни,
под которой на столике порезаны хлеб и сало,
но не схвачены камерой, поскольку кажутся лишними...

Станислав ШУЛЯК

ANDANTE MAESTOSO

Мелороман*

1.

Я обречен на то, чтобы жизнь моя не состоялась.

Возможно, это следовало бы обозначить так: я просто обречен. Но мне не поверят, если я объявлю нечто подобное; я знаю, что не поверят. Скажут, чего ему, собственно, недостает? У него все есть: деньги, немалая известность. Однако же перечисленное стоило бы, пожалуй, рассмотреть подробнее. Да, известность была, правда, не слишком широкая. Кстати же, в последнее время становится все глуше и сомнительнее.

Деньги? Разве они чего-нибудь стоят? Особенно сейчас. Особенно наши деньги. Вот что я действительно хорошо умею, так это изводить себя. Не пытайтесь со мною в том состязаться.

Ну-ну, не стоит из меня вообще делать каторжанина успеха! В целом это ошибка. В общем, это не перспективно.

2.

Возможно, я просто перестал полагаться на инструменты. Эти чертовы скрипки! Мне надо, чтобы они здесь только жужжали, потрескивали, тихо, тревожно, в самом высоком регистре. Даже, наверное, следовало бы задействовать древки смычков. Чтобы сделать скрипки еще беззащитнее. Еще выморочнее. Всего несколько мгновений, и большего я от них ничего не потребую. А они свистят. Ну, хорошо: посвистывают! Мне не хватает их теплоты! Черт побери, я в отчаянии! Мне не нужна их пронзительность, мне нужно, чтобы я сам смог восхититься. И еще... мурашки... мне нужны мурашки, на висках и на шее. И на душе, разумеется. Я даже думал заменить их на альты, но только перестроить струны. Но это невозможно: альты слишком степенны, сумрачны и глубоки. И тогда бы — проклятие! — ушла легкость, а без нее мне верная гибель.

Я всегда любил подготовленные инструменты, искаженные тембры, незаурядные звучности. Я всегда умел погрузиться в вычурность, оставаясь при этом в незамутненности. Урок спокойствия. На правах интродукции.

Станислав Иванович Шуляк — прозаик, драматург. Автор девяти романов, в том числе «Кастрация» и «Лука» («Амфора», 2003). Призер фестиваля короткой драмы «One Night Stand» (Москва, 1–2 апреля 2005 года). Публикации в «Литературной газете», «Ex libris НГ», в газете «Петербург экспресс», журнале «Нева».

* Журнальный вариант.

Никаких деревянных! Их здесь в эти мгновения не должно быть и духа! Такты с одиннадцатого по семнадцатый. Я знаю, я это слышу. Может, только тихо-тихо — тремоло литавр, только чтобы скрипкам не было одиноко, и то совсем недолго. Деревянные потом набросятся, будто звери из засады, набросятся, поддержанные всею тяжестью меди. И тогда они будут неистовствовать одним разом, тогда каждый будет вопить о своем (но меня рядом с ними не будет, я уйду в свои грезы, я стану дышать тяжело, и сердце... сердце...), впрочем, не хочу забегать вперед. Все же настанет миг, когда оно (сердце) вдруг делается счастливым, знаю я. Синдром счастливого сердца, иногда говорю себе я.

Вчера я тоже пытался объясниться, выговориться, но у меня ничего не получилось. Не было слушателей? Нет, плевать на слушателей, мне они не нужны. Пожалуй, не было боли. Вернее, боль была, но она оказалась недостаточной. А ведь боль должна быть достаточной, не правда ли? Спросят, для чего достаточной, сделают вид, будто не понимают. А вот для того и достаточной. Чтобы только жизнь или смерть... ну, то есть чтобы это было все равно. Если же и теперь неясно, так тем более наплевать. Человек понимающий, человек непонимающий... собирайте же усердно гроздь моих плевков, сарказмов и пренебрежений. Моих безрассудств и невыносимостей.

Тему я нашел легко, она сама зазвучала где-то вблизи моего мозжечка, временами уходя в дебри моего исхудалого мозга. И вот там-то, в этих дебрях, и происходит все самое важное. Заказчик мой будет доволен.

3.

В третьем часу пополудни пришли из уголовного розыска. Вернее — «пришел»: он был один. Поначалу я не хотел открывать, думал притвориться отсутствующим (или несуществующим). Но разве это лучше? Они еще когда-нибудь сломают дверь и устроят засаду прямо в квартире, и я, попавшись на крючок неожиданности, могу выболтать что-то важное, чего бы не выболтал никогда в ином состоянии. Манья вольноотпущенности. Околоземные бдения.

Пришедшему было лет тридцать, но выглядел он мальчишкой, насупленным и своевольным. Не верилось ни в какие его задние мысли, но могло ли у него не быть задних мыслей?

Он ходил по квартире, разглядывал мои дипломы на стенах. Первое знакомство с непроницаемостью. Будто бы по-маральи. Триумф человека в задних мыслях и неосознанных обстоятельствах. *Ничтожествующие и никтожествующие*. Пауза.

— Вы — музыкант? — спросил наконец. Во взгляде его было что-то кирзовое или кунжутовое.

— Вроде того, — пожал я плечами.

— На рояле играете? — сказал еще, махнув рукой в сторону моего кабинетного «Стейнвея».

— Сейчас реже. Бывает, кое-что пописываю иногда, — сказал я. Но нет же: небрежностью своею не был удовлетворен. Над нею я и сам бы теперь посмеялся.

— Музыку пописываете?

— Что ж еще? — недовольно сказал я.

— Композитор?

— Считайте, что так.

- Выгодно это? То есть я имею в виду, можно ведь вот так писать себе... для души...
- Да вы присядьте лучше, — возразил я. — И давайте уж ваши натуральные вопросы или что у вас там!
- Вопросы... — замялся тот. Деланно замялся, руку даю на отсечение. Теперь уж я видел в нем пройдоху и опытного загонщика, в таком же случае можно не пожалеть и руки. Или даже самого глаза. — Скорее просто беседа.
- Начинайте уже! — крикнул я.
- Давно здесь живете?
- Лет триста. Как ветхозаветный персонаж.
- Знаете Гольдфарбов?
- Гольдфарбов? Скорее нет, чем да.
- Совсем не знаете?
- Я этого не говорил.
- Я понял, — согласился тот.
- Что дальше?
- Что вы можете про них рассказать?
- Что вас интересует?
- Есть ли у них враги?
- С чего бы, собственно, быть врагам у Гольдфарбов?
- Это не ответ.
- Я не знаю, что ответить.
- Тогда скажите, бывают ли в вашем доме, на вашей лестнице посторонние люди?
- Вы, например.
- Я не в счет. Я не по своей воле.
- Мотивация на лбу не написана.
- Но когда вы встречаете в вашем доме незнакомого человека, вас интересует, кто он, как здесь очутился, не правда ли?
- Все же отвечу вам «нет».
- Это в наше-то время?
- Это время вообще наше! Я другого не знаю!
- То есть посторонних в вашем доме вы не замечаете?
- Послушайте! — взъелся я. — Все — посторонние! Понимаете? Начните с себя, если хотите увидеть постороннего.
- Гольдфарб ведь тоже композитор?
- Кто вам мог это сказать?
- Вы упорно не хотите отвечать на вопросы.
- А вы упорно задаете вопросы, на которые я не могу ответить хоть сколько-нибудь внятно.
- Вы знаете дочь Гольдфарбов?
- У них есть дочь? Впрочем, кажется, да. Совсем ребенок. Лет восьми.
- Десяти.
- Может быть. Почему вы спрашиваете?
- Она убита.
- Когда?
- Пропала неделю назад. Найдена только вчера.
- Впервые я внимательно посмотрел на молодого инспектора. Может, я хотел смягчиться. Или сделаться еще непроницаемее, такое тоже возможно. Я уж открывал рот, чтобы высказать что-то примирительное. Стеариновая неуверенность. Что я мог сказать примирительного? Впрочем, я ведь плечами и щиколотками принадлежу к словию кликуш и прозорливцев, мгновенно думаю я. Оказывается, дочери Гольдфар-

бов столько же лет, сколько Соне, а я и не знал. Гольдфарб старше меня годами двенадцатью. Может, даже двадцатью.

Внезапно телефонный звонок!

— Как это произошло? — сказал я, не двинувшись с места.

— Звонят.

— Я не глухой.

— Не хотите послушать?

— А это имеет отношение к нашему разговору?

— Если я мешаю, могу выйти в другую комнату.

— Лучше останьтесь. Людей вашей профессии стоит держать в поле зрения.

— Снимите трубку.

— Это вас не касается.

— Да, разумеется. Это — ваша личная жизнь.

— Уж конечно, не общественная.

Звонок, двенадцать долгих звонков. Терпеливо сидит и смотрит на меня, я же отвожу глаза и весь будто на раскаленной сковородке. Каждая минута существования моего — новая раскаленная сковородка. Каждую же минуту существования своего человек подстерегаем чудом, которого вовсе не жаждет, которого трепещет и избегает. Как же их совместить — чудо и сковородку? Ответа не существует. Страшный суд... да, он всегда сегодня, всегда с тобой. В твоей аорте, в твоей диафрагме, в твоих предсердиях, в твоей поджелудочной железе. Вострубят трубы, зальются слезами флейты, слезами девичьими, легкими, сиюминутными, заворчат фаготы, будто псы в непогоду... гобой... они будут саркастичны и станут задавать тон всем прочим своею тихой, едва заметною одушевленностью.

— Итак... — сказал пришелец. Но я не потерял нити. Пристальность самоощущений. *Vlatus vocis*.

— Вы хотели рассказать, как была убита девочка.

— Острый тонкий предмет. Заточка или сапожное шило. У вас, кстати, нет таких предметов?

— Я похож на сапожника?

— На сапожника нет. Мы многих уже опросили, результаты, честно сказать, не блестящие, и сейчас любая мелочь может оказаться важной.

— Я с уважением отношусь к вашей работе, — сказал я.

Инспектор стал вставать разочарованный. Я потянулся его выпроваживать. Мы шли по коридору, и я смотрел в его спину, всего несколько мгновений. Следует ощущать себя опечаткой, опечаткой в тексте, одной из миллионов других опечаток. Мир — территория опечаток и недостоверного письма, сказал себе я.

— В спину? — вдруг спросил я, когда пришелец задержался в дверях.

— Что? — вздрогнул тот.

— Ее ударили в спину?

— Откуда вы знаете?

— Я не знаю — просто спрашиваю. Два варианта: или ударили в грудь, или в спину. Если в спину, должна быть кровь на губах и во рту.

— Кровь на губах была. Она давно засохла, прошло ведь шесть дней, пока девочку нашли. Да и нашли-то по запаху. На чердаке возле трубы с горячей водой. Представляете, что сделалось с телом?

— Вы хотите, чтобы мне всю ночь снились кошмары? — крикнул я.

— Такой цели у меня нет, — сказал он.

После инспектор ушел.

4.

Впрочем, может, и не ушел, но остался за дверью. Чтобы слушать шорохи из квартиры, чтобы угадывать мои мысли или желания. О, это не простой инспектор! Возможно, весь ум его настроен на чрезмерную тонкость и толчею парадоксов. А вообще Гольдфарб весьма удобен, чтобы им заговаривать мне зубы, а цель прихода, вероятно, была совершенно иной. Хотя кому может быть нужен обыватель, вроде меня, пускай даже высокопоставленный обыватель. Заносчивый простолудин. Да-да, последнее мне ближе, последнее мне симпатичнее.

Тем лучше, что ушел. Или что затаился. Зато можно было подумать над формой. Над сопряжениями, стяжками, контрфорсами и противовесами. Шесть четвертых. *Andante maestoso*. Одна из тем, мерно-поступательная, торжественно-горделивая, была известна мне давно, я даже не помнил, когда она мне явилась. Еще две темы — строгие, печальные, нисходящие, построенные на пунктированных ритмах и внутритактовых синкопах — пришли в одну из минут бессонницы и преследовали меня, пока я их не записал в виде легких воробьиных набросков. Я перебирал их, эти темы, будто четки, в разных тональностях; мне мерещились *sforzando* валторн, тихий пульс гобоев в нижнем регистре, немного, по обыкновению, картавящих, порхающие трубы со звукоизвлечением «двойным язычком», но вдруг сбивающиеся на ферматы, шепот альтовых флажолетов, пиццикато виолончелей и черт знает что, помимо всего перечисленного. И еще — главное! — мне нужно было добиться асимметрии, не просто асимметрии, но некой изощренной, выморочной асимметрии. И тут-то я терялся, будто младенец, выпустивший руку матери. Я начинал путаться в своих черновиках. Ничего нет страшнее путаницы в черновиках, это даже страшнее сумасшествия.

Но временами я задыхался от красоты придуманного.

5.

Утром приходила моя рабыня. Ольга — бывшая ученица, она сама называет себя моею рабыней. Я лишь повторяю за нею. Наверное, нет такой услуги, которой бы она не согласилась оказать мне. Иногда меня это даже пугает.

Она хотела убирать в комнатах: подметать пол, стирать пыль с подоконников, но я прежде усадил ее за рояль. Она долго смотрела партитуру, будто вслушивалась. Потом уверенно заиграла, иногда арпеджируя аккорды, когда вертикали оказывались слишком уж насыщенными. Ольга партитуры читает отлично.

Правилась ли ей музыка? Я старался угадать и не мог. Пристрастия ее бывают весьма парадоксальными, иногда она даже позволяла себе спорить со мной и после спора оставаться при своем мнении. Впрочем, ничего сверх того Ольге в рабском ее положении я не позволял.

Она скоро закончила играть, материала там было минуты на две — наброски.

— Так? — спросила она.

— Как тебе?

— Что это будет? — спросила Ольга.

— Новый заказ. Очень важный и странный.

— Давно работаешь над ним?

— Третий день.

— Чей заказ?

- Откуда-то с самого верха.
- От Бога?
- Ступенькой пониже. Максимум — двумя.

Ольга задумалась.

— Главная тема, — сказала она, — строгая и спокойная. В ней ты пытаешься сказать о многом. Возможно, это не получается, и ты мучаешься. Ты хочешь повторить ее, но уже иначе, с более пронзительной артикуляцией. Но снова не удовлетворен. В главной — много печали. Слишком много печали.

- Но красива ли эта печаль?
- Всякая печаль красива.
- Это я понимаю.
- Странная штука...
- Ты о чем?
- Главная тема... будто хорал...
- Это хорал, — подтвердил я.
- Ты уже знаешь побочную?
- Их несколько. Шесть. Целая связка тем.
- Сыграешь?

6.

Я сел за рояль. Загремели гневные квинтольные арпеджио левой руки, с хроматизмами, иногда они перебивались стремительными нисходящими пассажами тридцать вторыми (те были как молнии, бьющие в землю!), и тут же зазвучали нонаккорды правой руки, которые вели свою мелодию в спотыкающемся на синкопах пунктированном ритме. Две-три фразы в среднем, виолончельном регистре — и тут же мгновенный отклик в верхах, почти фальцетом, со зловещей издевкой, с отчаянными диссонансами, с бешеной пародией на танцевальность, на вальсовость. Что-то уродливое и беспредельное зазмеилось в звуках из-под моих пальцев, чьи-то безобразные лица мелькнули, шишковатые обритые головы, приплюснутые зловещие затылки, чьи-то искаженные телеса. Лодыжки, ключицы, тазобедренные суставы. Костистое и нестерпимое. А левая рука все бесновалась, все неистовствовала. Вот и правая подхватила набатные интонации, они прибывали постепенно, они нарастали безудержно. В партитуре ничего этого пока не было, я играл по памяти, импровизируя.

На улице вдруг тоже послышались звуки, что-то гроыхнуло, раскатисто, протяжно; впрочем, теперь это не редкость. Но разве улица может прорваться в мою музыку? Разве я ее туда допущу? У меня с улицей во все дни жизни моей, во все мгновения бесчинствующего таланта моего — тайное противоборство.

Я оборвал игру. Испарина была у меня на лбу и на висках. (Я иногда любил, сидя за инструментом, наиграться до испарины.)

- Страшно, — сказала Ольга.
- Правда? — спросил я.
- Это симфония? — спросила она.
- Да. Будет еще хор и орган.
- Я такого у тебя еще не слышала.
- Такого и не было. Ты запомнила?
- Запомнила.
- Напомни мне, если я что-то забуду.
- Постараюсь, — сказала Ольга. Она немного подумала. — И еще эти люди...

- Какие люди?
- Вернее, одни лица. Жуткие, невыносимые!
- Лица?
- Как в «Капричос» Гойи.
- Ты видела их?
- Да. Это даже не люди. Уроды, калеки, бесноватые. Может, беженцы или изгнанники. Они способны на все: предать, напугать, разорвать на куски, для них все остальные будто из бумаги...
- Странно, — сказал я. — Я тоже думал о них.
- Как у тебя холодно! — она передернула плечами. — Надо завтра же заклеить окна.
- Не топят. Второй день. С тех пор как... — что-то такое вспомнил, но не договорил. Впрочем, было ли что вспоминать? Быть может, то, что я хотел вспомнить, произошло позднее.

7.

Три двадцать пять пополудни. Часы мои точны, нестерпимо точны, издевательски точны. Я держал в руках партитуру, разглядывал свои стремительные каракули — нотные значки, акколады, лиги, знаки альтерации, стрелки, помарки, зачеркивания. И вдруг стал рвать листы, педантично, неторопливо, в мелкие клочки.

Клочков набралась изрядная горсть, я разбрасывал их по полу. Конец цитаты! Не надо мне этого заказа, я не способен его выполнить, я бессилен, я ничтожен и мелок, и знаю это. Пусть они обратятся к кому-то другому, более крупному и талантливому, а аванс я верну.

Если Ольга появится вечером, она все сметет с пола. Но появится ли она? Кто это — Ольга? Ах да, это рабыня. *Al segno*.

8.

Начинаем заново!

Я обречен на то, чтобы жизнь моя состоялась не такою, какою я себе ее воображал. Вся сила рук моих и все достояние моего изошренного мозга — для меня во все не поддержка. Много во мне толпится всякого, в том числе гуманного, благообразного и рассудительного. Но правда ли это? Не сочиняю ли я смысл свой подобно, положим, иному скерцо в дурашливом или скептическом миноре? Тем, подслушанных мной у воздуха, у воды, у сумерек, хватит на сто симфоний (нет — на восемьдесят пять!), лишь бы удалось, как в иные годы, снова приникнуть к дару отчетливости. Я упрям и импульсивен, никакими благами существования невозможно привязать меня к рациональному.

Звонок. Этот мир опять решил дотянуться до меня при посредстве электромагнитной индукции, молекулярного резонанса или внутреннего сгорания.

Медлю, но после все же беру трубку полузастывшею десницей.

— Мирослав, ты знаешь, что о тебе говорят ужасные вещи? — слышу я голос.

Мгновение ничего не понимаю. Возможно ли вообще понять что-то умом, бьющимся в панике и своеобразии?

— Мне теперь следует спросить, что обо мне говорят, Лиза? — спрашиваю.

— Я не стану ничего тебе передавать, — возражает жена. Жена... Наконец произнесено слово, оно обрушилось на меня всей тяжестью бессодержательности. Всею массою неопределенности. — Пересказчики същутся.

— У меня много работы, я никуда не выхожу. Все ужасное о себе я узнаю последним.

— Говорят, тебя собираются исключить из Союза композиторов.

— Если бы это была правда, она бы меня обрадовала.

— Ты всегда старался противопоставить себя остальным.

— Ты стараешься выдумать обо мне что-то обидное, но обидное не выходит...

— Обидное о тебе не надо выдумывать. Правдивое о тебе — наиболее обидное.

— Лиза, зачем ты звонишь? У меня действительно много работы.

Лукавство, конечно, Но возможно, и нет, если договориться считать работой осознание всякого мгновения существования.

— Мне нужны деньги.

— Для чего и сколько?

— Немного. Я все посчитала. Семь с половиной тысяч евро. А для чего... тебя не касается. Предположим, они мне нужны на нашу дочь. К тому же я собираюсь уехать.

— Ты собираешься уехать?

— Мы собираемся уехать, — поправляется Лиза. — Ты так и не ответил — ты дашь деньги? Они нужны срочно.

— Сумма, что ты назвала, это все, что у меня теперь есть. Я получил аванс, но, на-верное, откажусь от работы. Придется возвращать.

— Выкрутишься как-нибудь. Да и потом — что тебе вообще надо? Рояль да бумага. Поэтому давай встретимся прямо теперь. Как обычно — у «Нарвской».

— Ты не находишь, что несколько опасно мне идти через весь город?

— Других предложений все равно не поступило. Поэтому давай сделаем так.

— Чертова дрянь! — кричу я.

Что-то взметнулось, что-то ударило в четырех стенах моего черепа. Не настолько прочных, чтобы быть несокрушимыми. Конец разговора. Подозрения выше жены Цезаря. И ведь знает, что не смогу отказать. Сурьяное горло. Гумус.

— Через два часа. Не опаздывай! — говорит Лиза.

9.

Хожу, как заключенный на прогулке, с карикатурной беспорядочностью, заложив руки за спину. Гостиная, коридор, комната, коридор, спальня, десять шагов назад — коридор, кухня. Виновный. Синкопа, акцентный шаг, гулкость. Пью воду из пластиковой бутылки из холодильника. Окно кухни выходит во двор; здесь было безопаснее, когда нас обстреливали. Я и жил тогда на кухне. В гостиной одно окно высажено осколком, я завесил его одеялом.

В этой вещи должна быть особенная линия, особенная черта. Здесь должны сойтись два мира, два народа, два лада, два образных строя. Я утвердился с побочными темами, я уже почти вышел на разработку и вдруг с размаху споткнулся. Так падают ниц, и я был готов пасть ниц. Я теперь любил внезапное преткновение. *Con stravaganza*. Мир осоки и подорожника. Саркастическая симфония. Низкое словотворчество. Синева.

Отчего снова возвращаюсь к пройденному и отвергнутому? Что за вязкость мозга, что за хладная участь обихода!

10.

Задерживаюсь у двери кладовой. Здесь у меня инструмент (давно уж не приходилось рукомелничать, но ничего не пропало). Стамески, шипчики, молоточки, дрель с набором сверл, мотки проволоки, здесь же сапожное шило. Беру его, пробую острие пальцем. Отлично, не требует заточки!

В комнате отыскал гелевую ручку, из самых дешевых, из тех, что не жалко и выбросить, развинтил ее, примерил к шилу — отличные «ножны», особенно если закрепить скотчем; сам даже подивился придумке. Теперь можно держать его и в кармане.

Потом считаю деньги, те самые евро, что недавно получены в виде аванса. Для чего держать дома столько наличных? А где их, впрочем, держать?

Раскладываю деньги на две пачки, не слишком толстых, заворачиваю каждую в бумагу. Потом засовываю в прорези в подкладке куртки. Не слишком удобно будет доставать, но зато не найдут, если кто-то станет обыскивать на улице.

11.

Все высокое имеет оборотной стороной кликушество, по кликушеству же, напротив, можно судить о высоком. Мне следовало бы определить мотивы, сочетания звуков, соответствующие и высокому, и кликушескому. Заманчивому и недостоверному. Избегание тоники. Несколько клочков партитуры подобрал с пола и тоже сунул в карман. Впрочем, разбросанных осталось все равно много.

Уже одетый я стоял в прихожей и прислушивался, будто волк. За дверью площадка, а чуть далее лестница; любая лестница фантастична, и фантастическое в ней происходит из спирали, на которую она похожа. Но более меня интересовал инспектор. А что меня могло интересовать в инспекторе? Да и разве мог он там быть? Ведь я же изорвал партитуру в клочки, и время, вздрогнув, быть может, изменило свой ход. Возможно, и наши участи, с сожалениями, с неохотой, переменились. Следовательно, можно не опасаться никакого инспектора. По-видимому, того никогда не существовало. Я беззвучно отомкнул замки, приоткрыл дверь и не человеком, но каким-то ловким членистоногим выскользнул из квартиры.

Запереть дверь бесшумно не удалось. На чужой территории так легко утратить долю обычной увертливости, и я утратил ее. Я хотел уж идти к лестнице, как вдруг услышал... Кто-то был наверху, этажом выше. Даже, наверное, не один. Там дыхание двоих. Я с моим слухом вряд ли мог обмануться. Идти вниз по своим делам? И никогда не узнать, кто там, наверху? Этот чертов инспектор поселил во мне зерно неуверенности, овсяное зерно неуверенности.

В походке моей, в непреклонности вдруг на мгновение мелькнуло что-то нестерпимое. Я сошел на три ступени вниз, но не выдержал и стремглав бросился в обратную сторону. Пробежал два марша, поворот, уступ стены, и вот они — двое, оба молодые, лет от двадцати трех до двадцати семи, должно быть; они попроще давешнего инспектора, успеваю заметить я; к тому же я вздрагиваю, и они тоже вздрагивают, все трое мы, стало быть, вздрагиваем. Они в рабочей одежде, у одного подле ног — чемоданчик, может быть, с инструментом. Машинально руку в карман сую, движение меня выдает, зато вот она — рукоятка моего *инструмента*. Если что — я не буду невооруженным, а далее уж посмотрим — как и кому улыбнется удача! Впрочем, скатываюсь, кажется, на пошлость, попадаю в ловушку обыденного словоговора. Черт побери, я поднялся сюда единственно из эксцентричности!

- Кто? — вырывается у меня.
- За спиной у парней, на площадке — две двери, здесь же квартира Гольдфарба.
- Не кто, а что! — ухмыляется один из парней. — На трупик захотелось взглянуть?
- Нервишки пощекотать? — поддакивает второй.
- Какой трупик?
- Тот самый!
- Многие теперь ходят.
- Целыми экскурсиями норовят.
- Кто вы такие?
- Водопроводчики мы, — снова ухмыляется первый.
- Трубы, краны, вентили — наша работа! — кивает головой товарищ.
- А трупика давно уже нет.
- Вынесли, как говорится.
- Был да сплыл.
- Один только запах остался.
- Чувствуете?
- Запах-то не скоро сойдет.
- Тут и мели, и мыли, и проветривали — а все никак!
- Трупный запах — самый въедливый.
- Самый неистребимый.
- Самый мерзостный.
- Послушайте! — крикнул я. — Мне нет дела до ваших трупиков, до ваших запахов.
- А что ж пришли-то тогда? — парировал первый из водопроводчиков.
- Уж не для того, чтобы что-то вынюхивать или рассматривать какие-то трупики, — теряюсь я.
- А для чего?
- Я услышал, что здесь кто-то есть, я живу этажом ниже, и мне не нравится, что в моем доме происходит что-то странное.
- А шли-то вы вообще куда? — спросил водопроводчик вовсе уж издевательски.
- И стал нагибаться к своему чемоданчику с инструментом.
- Я отступил.
- По своим делам, — буркнул я неприязненно.
- Ясно, что не по чужим.
- А вот, пожалуй, и по чужим.
- По своим, по чужим! Сам не знает, что говорит.
- Ну да, трупиками не интересуется, а у самого сплошные загадки! — фыркнул второй.
- Чуден человек!
- Не то слово!
- Они подступали ко мне, медленно и незаметно. Зачем они ко мне подступали? Им не следовало бы ко мне подступать. Я попятился. Я готов был выхватить свое оружие, но тогда нужно было бы бить и бить тотчас же, независимо от возможного исхода. Но для того, кажется, не было пока оснований, за вычетом, пожалуй, странности всей сцены. Но уж странность, разумеется, к делу не подошьешь. Мало ли вообще странностей! Мир сам — разве не странность? А «дело»-то очень даже могло бы здесь и образоваться.
- Я оступился и чуть было не полетел по лестнице кубарем, но все-таки устоял.
- Вас не касается! — крикнул я.
- Конечно, не касается, — ухмыльнулся первый.
- Мы даже не интересуемся вовсе, — подтвердил другой.

- Мы вообще не любопытные!
 - Особенно я.
 - Нет, я менее любопытный.
 - Вечно ты споришь!
- Par nobile fratrum.

Отвернувшись от моих мучителей, с напряженной спиной, спускаюсь по лестнице. Неполноценные времена достались нам в обращение, скверные времена; скверность их от мира сего и от смысла сего. Я отираю плечом стену, я ожидаю, что те двое могут наброситься на меня, но они лишь похохатывают на верхней площадке и меня не преследуют. Нарративная агитация. Триумф неудовлетворенности. Головорез-голос.

12.

Мне нужно успокоиться, переключиться на что-то иное, и я вспоминаю... про вывернутые веки. Вы слышали что-нибудь про них? А сами вы умеете их выворачивать? А я вот умею. Кого я ни спрашивал — никто не умеет. Я лишь в одной книге встречал про выворачивание век; у Алексея Толстого, у «советского графа». Собственно, выворачиваются только верхние веки — зрелище не для слабонервных.

Быть может, лишь я один в мире умею делать это; умру я — и искусство выворачивания век сгинет в безвестности. Все почти просто: три пальца на веках закрытых глаз, выше и ниже орбито-пальпебральных борозд, веки немного оттягиваю, подпуская под них воздух, потом напротив — вдавливаю пальцами глазные яблоки, и вот здесь-то самое тонкое, самое неуловимое: нужно правильно напускать кожицу век на хрящ (*tarsus*) туда-сюда, и после отнимаешь пальцы от глаз, открываешь оные, и вот верхнее веко оказывается вывернутым. Ни боли, ни слез — вся процедура занимает не более пары секунд, впечатлений же для постороннего наблюдателя — тьма!

Четыре лестничных марша, пятьдесят шесть ступеней, одиннадцать вздохов иду с вывернутыми верхними веками. Иду походкою понурого триумфатора, скорбного соглядатая, озабоченного вояжера. Ветер обдувает слизистые оболочки моих век, моргаю коротко, смаргиваю, и веки принимают обычное свое положение. Тру глаза кулаками; первый этаж, так, мгновение не видя ничего пред собой, собираюсь выходить.

— Мирослав, — вдруг слышу возле себя шепот, и я уже знаю, кто это, но все-таки вздрагиваю.

Ныне непозволительно быть таким неосторожным.

— Гольдфарб, — хотел было сказать я недовольно, но тот тянет меня за рукав умоляюще, и палец указательный подле его губ.

— Ш-ш... — шепчет еще.

Поневоле нисхожу на его тон. *Abbandono assai e pianissimo*.

— Что вы тут?..

— Эти там? — и рукою поводит вверх неопределенно.

— Кто?

— Двое...

— Водопроводчики? У вас на площадке.

— Какие они водопроводчики! — отмахивается.

— А кто же?

— Что ж вы, Неспалов, — удивляется мой собеседник, — с Луны свалились? Водопроводчики!

— Ах да, — спохватываюсь вдруг. — Леонид... слышал о том, что у вас случилось... только сегодня узнал. В общем, примите мои, так сказать... Черт! Никогда не умел этого говорить!

Гольдфарб как-то охнул, тихонько, болезненно, почти хрюкнул. Звук был столь странен, что я в удивлении взглянул на Гольдфарба. У него всегда бывает злой и запуганный взгляд, и даже когда Гольдфарб веселится, взгляд его делается еще более злым и запуганным. У него великолепные зубы. Действительно замечательные — все тридцать два! Они, правда, несколько лошадиные и выпуклые, но так ему даже лучше. Сейчас лицо его скривилось, я думал, что он заплачет, но он не заплакал.

— Вы уходите, Неспалов? Я вас провожу немного. Всего двадцать шагов.

— Хорошо, — сказал я.

Он взял меня под локоть, и мы вышли на Моховую. Было зябко, я передернул плечами от внезапного озноба. Гольдфарбу, должно быть, показалось, что я собираюсь высвободиться, и вместо того, чтобы отпустить меня, он лишь еще крепче вцепился в мой локоть.

Моховая — самая вегетативная из всех известных мне улиц. Она живет, питается за счет своих насельников, прирастает, отбрасывает отмирающие отрезки и участки. Ныне напряжение разлито по тротуарам и поребрикам; каким бы бодрым и уравновешенным ни шагал ты по этой улице, оно вскоре настигнет тебя. Оно охватит тебя от темени до щиколоток. Давно я живу здесь, но ни уверенность, ни привычка не поселяются в моем сердце. И наверное, уж никогда не поселятся.

13.

День-артефакт. Мы с Гольдфарбом шли медленно, шажочками в четверть ступни. Будто два старичка, боявшиеся поскользнуться. Я ждал от него какого-то слова, но прошла минута, пока он наконец разлепил губы.

— Сарацины весь город заполнили, — вздохнул он.

— Что? — вскинулся я. — Ах да! Но вообще... Неудачное слово.

— Куда уж неудачнее! — протянул Леонид. — Все... Просто ужасно... Мы девочку нашу пять дней искали, с ног сбились, все больницы и морги... а она рядом была. Мы на последнем этаже, а она на чердаке... Дворничиха наша, Зинаида Семеновна, благороднейшей души человек, почувствовала. Мыла лестницу, и вдруг показалось ей, что запах не тот. Поначалу внимания не обратила, мало ли что померещится. На другой день не мыла лестницу, только через два дня. Тут уж запах усилился. Она за ключом сходила, открыла дверь на чердак, а там такой запах, что хоть стой, хоть падай. Подруг вызвала — страшно одной! — и те, носы зажимая... но все равно одну вырвало, другая в обморок упала. Они пошли, а там Галечка наша лежит. То, что осталось от девочки нашей. Поздний ребенок! Запоздавший... Хорошая женщина — дворничиха! Замечательная! А какое обоняние! У вас хорошее обоняние, Неспалов?

— Не очень. У меня слух неплохой.

— Вот! И мы-то все дни ходили и тоже чувствовали что-то, ну, то есть запах, но никому и в голову не пришло. Вам бы могло прийти такое в голову, если бы ваша дочь пропала несколько дней назад, что ее надо искать на чердаке, прямо у вас над головой?

— Ну, уж это вы... — пробормотал я.

— Да-да, очень смелое с моей стороны допущение, — спохватился он. — Жена моя, Маргарита Владиславовна... уже когда Галечку нашли, говорила, что ей все

время казалось, что на чердаке кто-то ходит. А кто там мог ходить? Некому там ходить. Просто ум за разум мешался.

— Ко мне тоже инспектор приходил... — сам не знаю для чего, вдруг сказал я.

— Инспектор! — взвизгнул Гольдфарб. — И смех и грех — этот ваш инспектор! Он ко всем приходил. У нас он чуть не ночует. Он как-то попросился переночевать у нас, но мы отказали. Хоть с деликатностью, но все ж и с решительностью. Вы бы хотели ночевать в одном доме с инспектором? Нет? Вот и мы так же! Если хотите знать, — весь скрючившись и прижавшись к моему плечу, тихо проскрипел мой собеседник, — и никакой он вовсе не инспектор.

— Что? — удивленно остановился я.

— А вот то! — решительно отрезал Гольдфарб. — Вам-то самому он не показался странным?

— Возможно... — протянул я.

— А эти «водопроводчики»? Которые только торчат на лестнице и не ремонтируют никаких водопроводов!

— Да.

— Сейчас будут сваливать все на какого-то маньяка, а маньяка, быть может, никого и не существует.

— Какого маньяка?

— Вы не знаете? Есть предположение, что все это — дело рук маньяка. Который орудует где-то совсем рядом. И чуть ли не в нашем доме обосновался. Это уже не первый случай. Как вам все это нравится?

— Что — не первый случай?

— Эти убийства. И всегда один почерк. Удар! Чем-то тонким — заточкой или сапожным шилом. Спереди или сзади — это по-разному. Но всегда так! — прямо в сердце! Очень твердая рука! Артистичный удар! Представляете? Артист! Паганини!

— Но вы же сами сказали, Гольдфарб, что его не существует.

— Кого не существует?

— Маньяка.

— Черт, конечно же, не существует.

— А что существует?

— Неспалов, вы настоящий ребенок! Разве вы не видите, что происходит вокруг?!

— Вижу. Хотя, признаться, многого не могу понять.

— Вот! — почти радостно воскликнул Гольдфарб. — Это же специально так делается, чтобы никто ничего не мог понять.

— Кем делается?

Гольдфарб вдруг отстранился, всплеснул руками, потом подбоченился и стал удивленно рассматривать меня, даже как будто хлопая глазами.

— Вы младенец! — завизжал он. — Неспалов, знаете ли вы, что вы — сущий младенец?

— Послушайте, Гольдфарб, — сухо сказал я. — Я понимаю, что у вас горе. Но не могли бы вы...

— Обиделся! Да, у меня горе, но я все равно не хочу, чтобы мне морочили голову разными липовыми водопроводчиками, разными комичными инспекторами. Ведь правда же, что инспектор комичен?

— Мне так не показалось.

— Уверяю вас, комичен! И фамилия у него такая развеселая — Шутко! Как будто сейчас кому-то до смеха! Он так много времени провел у нас и чуть даже не набивался в приятели! Один раз даже просился переночевать. Впрочем, я об этом уже говорил. Сами подумайте, что у нас может быть общего — у меня и у Шутко! Фамилию-то он вам свою назвал? Как? Он не назвал вам своей фамилии?

- Гольдфарб, мне идти надо, — сказал я.
- Я вам, Мирослав, вот что скажу...
- Что скажете?
- То и скажу: звенья...
- Какие звенья?
- Одной цепи звенья. Инспектор и водопроводчики! Точно вам говорю! Ах нет, дальше я не пойду. Если не спешите, побудьте со мной, голубчик. С отцом безутешным побудьте минуточку.
- Как раз и спешу, Гольдфарб, — возразил я.
- Минуточка не решит ничего. Побудьте, голубчик!
- Хорошо. Слушаю вас.
- Слушаете... а я, Неспалов, спросить у вас хотел.
- Спрашивайте.
- Что вы сейчас пишете?
- Секунду раздумываю. Линия губ. Зябкость. Изнеможение.
- Ничего, наверное. Зачем это вам?
- Ничего? Разве это возможно? Это вы-то, Неспалов?
- Да. Я — и ничего не пишу, — тут я замаялся немного. — Два часа назад еще писал, а теперь нет.
- Как же это?
- Да так вот... тоже слишком много странностей. Вы ведь любите странности, Гольдфарб? Вот и здесь тоже их немало. Что-то даже мистическое.
- Что же странного?
- Не могу сказать. Заказ был конфиденциальным, такое условие было даже прописано в контракте.
- Неспалов, дорогой, мне-то расскажите! Я буду нем, как могила, — умоляюще приложил руки к груди Гольдфарб. — Я и так уж в могиле одною ногой.
- Не могу! Да теперь это и не важно. После того, как я решил отказаться от работы.
- Ну, хоть кто к вам обратился?
- Этого я тем более не скажу.
- Что-то вдруг произошло, что-то переменялось, что-то рассеялось... Или наоборот — сгустилось. Что-то нечистое, лукавое, нарочитое мелькнуло вдруг в атмосфере.
- Не скажете? — с хитрою усмешкою сказал Гольдфарб и вдруг — о боже! — подмигнул мне. — А если я сам угадаю?..
- Попробуйте, — пренебрежительно отмахнулся я.
- Думаете, не угадаю?
- Конечно, не угадаете.
- К вам обратился... та-ак... предположим, к вам обратился... Альфонс Янович Худбин. Сам, можно сказать, председатель культурной канцелярии...
- Я отшатнулся от Леонида.
- Черт побери, Гольдфарб! — в удивлении воскликнул я. — Откуда вы?..
- Каково? — самодовольно потер руками мой собеседник.
- А все-таки? — настаивал я.
- Вот вам и «все-таки»! — помолчал. Полтакта — пауза. Доктрина бесчувствия. — Во-первых, Альфонс в городе уже вторую неделю, — сжалился наконец Гольдфарб. — Да он сего и не скрывает. Обедает в ресторанах, общается с друзьями, с полудрузьями, а порой и со всякой швалью. Это в нынешнее-то время! Представляете? Что, скажете, сейчас мало швали? Нет уж, швали сейчас предостаточно.
- А во-вторых? — нетерпеливо спрашивал я.

- Во-вторых, он с тем же самым предложением обращался и ко мне. Заказ, разумеется, весьма престижен. Признаю!
- Он предложил вам?! — вскричал я.
- Предложил.
- И что же вы, Гольдфарб?
- Я... — пожал он плечами. — Я был подавлен, я был растерян... В силу известных обстоятельств... Словом, я... согласился.
- Что же это такое?! — с чрезвычайной досадой вскричал я.
- Вот и я тоже спрашиваю себя: «Что же это такое?» — пожал плечами Гольдфарб. — А что еще я, скажите на милость, могу спросить?
- И вы подписали контракт?
- Подписал ли я контракт? М-м-м... разумеется. С радостью, но и с трепетом душевным, могу вам теперь в этом сознаться.
- Вот и прекрасно! Я принял решение больше ничего не писать. Поэтому я вам не конкурент.
- Да нет, Неспалов. Не конкурент как раз вам я. Я, конечно, знаю себе цену, но я так же знаю и свое место, откровенно это вам говорю. Да и как я могу сейчас что-нибудь писать?! В таком-то состоянии! Вы вот сами взгляните на меня...
- Нет-нет, решение мое окончательное. И я сообщу его Альфонсу при первой же возможности.
- А вы думаете, он этого не знает?
- Что? — вздрогнул я.
- Так! Ничего особенного, — смутился вдруг Гольдфарб. — Пойду, пожалуй. Так, говорите, на лестнице водопроводчики?
- Да. Там стояли.
- Интересно, на черной лестнице тоже стоят?
- Понятия не имею.
- Конечно-конечно! Вот если бы кто-то... Но вы-то ведь торопитесь, Неспалов? — забормотал Леонид.
- Прощайте, Гольдфарб.
- Всего наилучшего вам, дружочек, — скривился тот. Потом боком стал отходить от меня. Он долго шел так; казалось, он все не решался совсем отвернуться от меня, и, лишь проделав шагов тридцать, наконец, скрючился, передернул плечами, и, показав спину, зашагал быстрее нелепою крабьею поступью.

14.

Я медленно пошел своею дорогой. Баба с мешком обогнала меня, я равнодушно поглядел вослед бабе. Что за игру такую затеял Худбин? Почему не уехал сразу, хотя на нашей встрече все показывал, что торопится, что чуть ли не опаздывает на поезд? Значит, все было балаганом, притворством? В нем вообще много балаганного, клоунского, а между тем человек сей серьезен, никак нельзя отрицать в нем серьезно, взвешенного, стратегического.

Что ж, тем лучше! Стало быть, и я с совершенно спокойною совестью могу объявить Альфонсу о своем отказе. Думаю, он даже не удивится. Раз он ведет себя так, значит, не столь уж заинтересован во мне. Сейчас вот я только встречаюсь с Лизой, а дальше можно будет постараться найти Худбина. Деньги! Если я отдам все сейчас Лизе, то откуда мне взять деньги, чтобы расплатиться с Альфонсом? Черт побери! Другого здесь не скажешь: черт побери!

Я хотел теперь поскорее этой встречи. Лиза смыслена и злоязычна; быть может, она в состоянии разъяснить иные из моих недоумений. Хотя встреча наверняка будет непростой, гневной и безжалостной, у нас с нею не бывает простых встреч. Я шел одною из своих наиболее эгоцентрических и неудобоваримых походов. А именно: бессолнечной и безвозвратной. Двадцать один шаг, и все оные — в трезвости и в беспокойстве. Внезапно — остановка. Ветрено и неуютно. Пульс и причудливость. Человек мирового значения. Yesterday is here.

Откуда-то слева слышатся выстрелы, канонада. Далеко, должно быть, где-то за вокзалом. Направо — сарацинский пост, подхожу хлопчатобумажною поступью; здесь меня и останавливают. Мальчишки, которым под тридцать, они все — барбудосы; ныне тридцатилетние у нас управляют духом и миром, обстоятельствами и недоговоренностями; откуда-то приволокли они газетный киоск, в нем и согреваются, временами же пристают к бедным прохожим, вроде меня, смотрят документы, обчищают карманы и делают другие мелкие насилия. Впрочем, могут и пристрелить. Такие посты теперь на каждом шагу. Это и есть местная власть в эпоху безвластия, ничего не попишешь.

Трудно нынче ходить по городу. Многие, я знаю, возносят молитвы о безопасном походе, когда им нужно пройти хоть пару кварталов, я же — я — кривоточный комедиант, много во мне членистоногого и беспричинного, — я никогда не молюсь, мне молиться некому. Засурдиненное горло. Ситцевая битва. Отповедь.

Я хотел сразу достать документ, но юный бородач, пригрозив мне автоматом с коротким стволом, сам полез в мой карман. Двое других стояли поодаль и ухмылялись. Их никогда не следует раздражать. Хорошо прожил тот, кто спрятался лучше Декарта. Проверяющий вынул у меня из-за пазухи паспорт и телефон, паспорт стал смотреть, морща лоб и шевеля губами, телефон же пренебрежительно бросил на асфальт.

— Торопишься, что ли? — спросил только. Он, должно быть, был среди них десятиначальником.

— Не тороплюсь.

— Правильно. Куда тебе торопиться?

— А впрочем, пожалуй, и тороплюсь.

— Слышали? — обернулся к товарищам своим молодой сарацин. — Торопится, — говорок его был южным, терпким, округлым.

Те хохотнули. Тоже бородачи. Лишь презрение помогает мне не дрожать от моей смелости.

— Спроси у него куда, — сказал один.

— На тот свет. Куда еще! — сказал другой. Алычовый акцент. Нормативы безмыслия. Твердость.

— Встреча у меня.

— С кем? — спросил десятиначальник.

— С женой.

— С женой. Слышали? Нетерпеж у тебя, что ли?

— Вроде того, — стиснул зубы я. — Она — бывшая жена.

— Вроде того, — хмыкнул мой мучитель. Потом пауза, не зловещая, но испытующая, пожалуй. — Ну, иди!

Бросил мой паспорт мне под ноги, я быстро наклонился, подхватил с асфальта и паспорт, и телефон и стал почтительно пятиться от бородачей. С невымышленным мажорным приятием. Сердце мое — иволга, теплый комочек, без песен, но с трепетом. Все поднятое сунул за пазуху, не разглядывая, в одно место. Наконец почти бегом понесся в сторону Фонтанки. Бегом стремительным, в фа-мажоре. Смерти страх — сердца штраф.

— Больше нам не попадайся! — прикрикнул один из сарацин.

15.

Бог меня предал, и человек меня предал, но значит ли это, что пьедестал свободен? Нет, пьедестал не свободен, ибо на него в один прекрасный момент водрузилось великое Ничто. Поначалу оно притворилось игрою, и люди охотно предавались ей, потом игра прискучила, люди отвернулись от нее, и Ничто сбросило свою постылую маску. Ничто перестало притворяться. Оно не было игрой, но оно не было и реальностью. Оно сделалось непознаваемым и неистребимым, оно стало и обозначением, и обозначаемым, кроме сего Ничто не было ничем более. Мир показался вдруг притчею, но от того никому не сделалось легче. Мир показался притчей, как раз исключаяющей легкость. Бог же теперь вне закона.

В чем моя ошибка? Почему у меня ничего не вышло с симфонией? Все же во мне оказалось недостаточно таланта, недостаточно трепета и безумства. Гений существует для уничтожения своих предшественников, горделивого уничтожения. Или он только начинает с того. Гений — вместилище лихорадок, он — дом торжества и озарений, над которыми сам не властен, которым служит с верностью раба и адепта. Он — храм оплошности, пагода негодования, костел самоумаления и неудачи. Мой глаз слишком скрупулезен, мое ухо привыкло предаваться таинственному и неистовому. Самое простое совпадение или случайность способны ошеломить мой мозг. Надо еще поискать точное название этой болезни.

Поспешно шагаю по плитам гранитным, которыми вымощена набережная сей нарочитой реки. Надо мною лохматое холодное небо, с песьим выражением личности его, с кобелиною гримасою, со всеядным оскалом. И ветер, будто неуклюжий, нерешительный зверь: он наскакивает, но не рвет, он пугает, но не торопится истребить. И оттого мучения длятся, но не проходят. Дома растопырились по обе стороны Фонтанки, помпезные постройки, но сейчас они выглядят жалкими и обездоленными. Многие квартиры ныне брошены своими владельцами, там выбиты стекла, где-то выгорели целые этажи. Целые же стекла заклеены бумажными полосами, все окна зашторены.

16.

Внезапно понимаю, что я не остался один. Кто-то посторонний имеет на меня виды. Я теперь наблюдаем, говорю себе. Это удивительное ощущение, оно требует для себя отдельного наименования. Поспешно оборачиваюсь. Наискось через проезжую часть перебегает Гришка Ермаков, поэт; да-да, и такое теперь называют поэтами! Нескладный человечек с шишковатой головой и умеренными власами. Ливерные вирши. Где-то их и печатают, в журналишках, гадких, но заносчивых, по большей же части он читает их на всяких вечеринках на чердаках да в подвалах. Я всегда полагал его сугубым и половинчатым. Иногда мне кажется, что это не человек, но паровая машина с прохудившимися котлами, с системой изношенных прокладок и поршней, со скрипучими подшипниками, с разбитыми шарнирами...

— Мирослав! Мирославчик! — кричит он, меня нагоняя. — Подожди!

Я тут же выставил окрест себя все свое шиповниковое и непримиримое. Ныне трепет век моих, дрожание пальцев и вздохи груди следует настроить на битвы

с банальностью. Надмирная инициатива. Разрешимость. Пиротехникою неприязни. Недоотчаяние.

- Мне только тебя не хватало! — огрызнулся я. — Не вздумай даже подходить!
- Я и вчера, и позавчера вспоминал о тебе.
- А сегодня постарайся забыть.
- Я отойду от тебя, если ты дашь мне тыщу рублей на пиво.
- Я дал бы тебе и десять тысяч на водку, если бы мог поверить, что ты действительно отвяжешься.
- Ты все-таки ужасный хам! Именно за это я тебя и люблю.
- Не жди от меня ответного комплимента.
- Я вот сейчас тебе прочту...
- Если прочтешь хоть строчку, я скину тебя в Фонтанку!
- Я теперь работаю в технике пророчеств и откровений, — жалко напирал Григорий.
- Тем более! — крикнул я.
- Что — тем более?
- Знаю я все твои: «Где стол был яств, там гроб стоит».
- Это не мои, это Державина.
- Твои еще хуже.
- Нет, у меня все другое. Непосредственный контакт с небом, с космосом. Я не пишу, я записываю.
- Ты можешь заткнуться?
- Почему твои грубости меня совершенно не задевают?
- Потому что ты самовлюбленный бездарь и профессиональный попрошайка.
- Вы все наблаватились и обкастанедились. А нужны новые сверхъестественные практики. Сверхъестественные! Контакт же — другое. Даже гений — это ничто, низшая ступень. Гений — это всего лишь особая биохимия мозга, а контакт основан... на излучениях. Более тонких, чем электромагнитные волны. На способности эти излучения уловить, угадать. Вот именно это и есть высшее и недостижимое.
- Ты же достиг, — съязвил я.
- А ты думаешь, это так легко?
- Я ничего не думаю.
- Фонтанка! Черт, она обмелела, что ли? Ты заметил? Нет, правда: в ней воды стало меньше.
- Это просто ты постарел и поглупел.

Был день,
обмелевшей Фонтанки,
иссякнущих вод... — заголосил Григорий. —
Истлели слова,
те, что слетают
с потертых страниц неба...
И всадники,
всадники дня
и всадники ночи,
страшные неземные всадники...

- Ты можешь заткнуться?! — заорал я.

Аккорды вступления вдруг ударили во мне. Я отскочил к парапету и с ненавистью посмотрел на Григория. Я уже прежде записал их, и бумажные клочки с этими аккордами жгли мой карман. Мне отчего-то теперь не хватало саркастического и отстраненного. Главное — отстраненного!

— Ну что ты кричишь? Ты просто пока еще не готов. А между тем нас ждет апокалипсис. И каждый из нас примет в нем участие. Он уже совсем рядом. Все думают, что он придет из столицы. Но нет — столица здесь ни при чем. Ты, кстати, не хотел бы написать партию труб Страшного суда? Мне кажется, ты бы смог. Представляешь: он начинается, а к нему уже написана музыка. Ну, хотя бы только партия труб.

Взгляд. Переключаясь. Безразличие высокой частоты. Амплитуда.

— Ну и как? — снова язвительно. — Пипл хакает?

— Что?

— Твою писанину.

— Ну, дорогуша, — удивленно развел руками Григорий. — Пипл может схватить абсолютно все!

— Послушай! — полез я в карман. — Вот тебе деньги. Ты — великолепный вымогатель! Пять... шесть... даже семь тысяч. Купи себе водки или чего угодно... Только уйди!

— Дай мне еще две. Не хватит на водку.

— Черт с тобой! Вот тебе еще две!

— Хорошо! — горделиво принял от меня деньги Григорий. — Давай созвонимся сегодня, я расскажу тебе про то, что нас ждет. Я призван для того, чтобы сознавать все аспекты апокалипсиса... А вот вчера я Сотникова встретил, здесь недалеко... почти у твоего дома, так он мне сразу денег дал. И не ругал так меня, как ты. Он хоть и композитор тоже, а не такая сволочь, как некоторые...

— Что Сотников делал у моего дома? Что вы все делаете у моего дома? — закричал я.

— Понятия не имею, что он делал здесь. Но тобою он интересовался.

— Что ему надо было?

— Все-все, адье, дорогой!

— Черт тебя побери, что хотел Сотников?

— Пока-пока, я спешу!

— Верни деньги! — бросился я на Григория. Кулаки бы пустить в ход тоже не убоился я.

— Фигушки! Подарки обратно не отбирают, — отскочил он от меня.

Вдруг стал перебегать проезжую часть, я метнулся было за Григорием, но сзади что-то ехало, что-то передвигалось, я взглянул туда — военная машина (прорези, прицелы, пулеметы...), а тут мы с нашими, будто полудетскими игрищами! Вроде пятнашек. Я застыл, как дерево в штиль. Узвленной неодолимой осиною застыл я.

— Скотина! — лишь крикнул ему вслед. Или только пробормотал. Или только подумал. И тут же, немного ссутулясь, пошагал в сторону Невского. Военная машина обогнала меня. Холодок был под ложечкой и вблизи щиколоток. Условно-досрочное равнодушие. Тыквенный триумф. Трепет. Тревога.

17.

По Невскому бродил злой и замкнутый народец, кучками, группками, парами или, как я, одиночками. Ныне у людишек на плечах — озабоченность, никак не хотят они с тою расстаться, они гордятся своей озабоченностью, они благоговейно над той, они молятся на нее. Мне выпало жить в эпоху напуганных человечешек, и вам тоже выпало жить в эту эпоху, вот и смотрите теперь окрест себя со всею пристальностью, на которую способны! Со всем негодованием, что еще может уместиться в ваших сердцах, в ваших грудных клетках, в ваших узлах, отделах и клапанах. Смотрите и ужасайтесь! Вы скажете: мы не выбирали такие власти, мы не ставили над собою этих, что довели страну и народ до нынешнего бедствия. Все произошло

по странному, злому сценарию, и мы были бессильны. Будто бы здесь даже поработал сам дьявол. Но дьявол ведь — это и есть человек. Да, вы были бессильны, но отчего вы были и равнодушны? Отчего не вопили и не бесновались, отчего не предавались пусть даже и хулиганствам, лишь бы те были заметны, лишь бы пугали и настораживали, лишь бы обличали ваши ярость и непримиримость?! Отчего не были вы вообще непримиримы, когда непримиримость, быть может, и есть вообще последнее достояние человека?! Его воздух, его воля, его соки, его назначение.

Перспект сей кошмарен, он всегда угнетал меня. В нем есть что-то противное человеку. Если будет жив человек, он не должен более прокладывать таких проспектов, никогда и ни при каких обстоятельствах; ни гордость, ни тщеславие не должны побуждать его к такому градостроительному безумству. Если же человек в силу какой-то карликовой странности души своей, в силу лилипутской ее причудливости хочет быть унижен, пусть, пожалуй, поселится на Невском, пусть ходит по нему всякий день свой, всякий вечер свой, пусть дышит воздухом этого монстра, этого помпезного уродца и растлителя. В Невском — плагиаторское и лжеязычное, парадно-беспорточное и несуразное. Заблуждается всякий чувствующий иначе, мыслящий иначе, видящий иначе. Опричствование — ныне единственный высокий удел человека. Или даже — единственно возможный. Впрочем, этого пока не осознают.

И снова вблизи моего мозга загремели аккорды вступления. Симфонии, которой мне не надо, симфонии, которая никогда не будет существовать. Отказ — знамя человеческого существования, я старался осязать пунктуацию отказа — его дефисы, его многоточия, его подчеркивания, его точки с запятой. Сверхъестественные секвенции и пророческие гармонии здесь, впрочем, не играют никаких ролей. Смысл по вызову. Я задышался теперь от всего симфонического, надсадного, ненормативного.

Возле моста с четырьмя жеребцами из бронзы столпились прохожие. Мост будто козырял горделивой своей полувыгнутостью. Мы ожидали, когда нам позволят перейти через Невский. Посередине проспекта похаживали двое военных регулировщиков, они все что-то высматривали, потом вдруг, должно быть, получив какой-то сигнал, замахали нам своими регулировщицкими палками. Мы трусцой стали перебежать проспект. От Гостиного двора в сторону вокзала шли танки колонной, нам позволили перебежать проспект перед носом у этой колонны.

18.

— Как это к тебе вообще приходят такие мелодии? — утром сказала мне Ольга.

Я как раз входил в комнату, вопроса ее не ожидал и оттого остановился. Горсть флажолетов. Мгновение, нервы.

— Меня сейчас не мелодии беспокоят, — сказал я. — Они были раньше и будут, надеюсь... — я замолчал. На фоне мельхиоровых сопряжений. Битвы безразличий. Праздник.

— А что же?

— Возможно, если явится что-то настоящее, единственное, безусловное, платою за него будет какая-то большая беда... я не умею выразить, но я ощущаю это.

— Ты опасаясь, что плата окажется слишком непомерной? — подумав, сказала Ольга.

— Я опасаясь этого.

— Сейчас я приготовлю чай.

— Разве что для себя, — сказал я. — Я не стану теперь чая.

После она пила чай.

— Удивительно, что этих мелодий не было прежде, — сказала еще Ольга. — Мне кажется, они должны были быть всегда.

Я стоял, отвернувшись.

Я снова почти не спал этой ночью. Да нет же, этой ночью я не спал вовсе.

19.

Далее на Фонтанке мы все снова рассеялись, и я зашагал один. Идти мне было чуть менее часа. Метро после прошлогодних взрывов (тогда завалило два поезда в тоннелях) не работает, с наземным транспортом... в общем, там свои трудности, так что выбора особенного не было. Впрочем, обратно можно будет попробовать вернуться на автобусе. Двигательный рефлекс. Удивление перед обыкновенным.

Город этот следовало бы поднять на смех, насладиться собственной насмешливостью и после — забыть. И уж никак не жалеть, разумеется. Последнее было бы самым простым. Я шел левым берегом Фонтанки; град сей ныне будто в осадном положении, и оттого мы в осадном положении тоже. В Большом драматическом теперь — госпиталь, и подле въезда в бывший театр стояли две санитарные машины. Там была жизнь, там было движение.

Из Бородинской улицы вышла небольшая толпа юнцов, я сразу насторожился, увидев тех. Молодежная шайка. У них не бывает тормозов, они могут забить до смерти всякого, кого изберут себе в жертвы. Они переходили проезжую часть, я же шагал, не глядя в их сторону. Мы сближались. Мы вскоре должны были сойтись в одной точке. Сценарий предсказуем. Отвага ватаги. Если они окликнут меня — тогда я пропал. Напряжение сгрудилось во всех моих членах. Я — Мирослав Неспалов, ныне я — композитор и каторжник неудовлетворенности и еще заложник хорошо темперированных мгновений моих. Я взираю на наше юношество с предубежденностью: у них еще так много времени, говорю себе я, у них вся жизнь впереди для того, чтобы стать никем и ничем. Великая экспрессия. Скудость.

Трудно было удержаться, чтобы не прибавить шаг, чтобы не побежать. Но я все-таки выдержал, не прибавил шаг и прошел прямо перед носом у замешкавшихся юнцов.

— Эй! — коротко окликнул меня один.

— Оставь! — одернул того другой.

И первый «оставил». Отчего он оставил? Отчего они не тронули меня? Быть может, не пришло еще время их действительной охоты, быть может, дерзость их не вполне назрела в эту минуту, быть может, они собирались дожидаться темноты, чтобы уж совсем распоясаться, но теперь я был все же спасен.

Юнцы поотстали. За Гороховой прибавилось еще несколько пешеходов, тех, с которыми мне было пока по пути. Местами на гранитных плитах набережной лежал снег. Шаг мой был шагом человека, полного высокой осведомленности.

20.

Быть может, ошибка моя в том, что я всегда писал ортодоксальную музыку, одну лишь ортодоксальную музыку для заурядных инструментов и естественных исполнителей. Стоило же мне заступить всего лишь носком за очерченную границу, как я спасовал.

Двуногие! Человечишки! Я пребывал в недрах немыслимости и жемчужнодушия, пока они трудились трудами своего обывательства и сквернородности. Было

время, когда я засыпал без тоски и с верой в завтрашний день, теперь же я засыпаю с тоской и верой в свое отчаяние. Все бесполезно, отчаяние — тоже. Бесполезность же бесполезна всего более.

Град сей стал неотесан и неуютен. Бесцеремонен и безразличен стал он. Впрочем, он всегда был таким, своеобразным и навязчивым, сейчас же в нем все муторные особенности его лишь усугубились. Всесветные бдения. The military on line. Правоверные композиции.

Вернусь сегодня, сказал себе я, и стану дописывать адажио восьмого струнного квартета. Все-таки — развлечение. Если нормально поработать, то квартет можно закончить в два дня. И я заставлю себя сделать это. Квартет — это вообще легко; самый сложный из них мне буквально по щиколотку. Назову его «Мистическим» или «Неуверенным». На все время жизни лучше бы забыть то, что Бог есть. Жить, только лишь жить, с тоскою дожидаясь ветхости сердца и недугов сосудов, чтобы в конце концов снискать себе существование, ущемленное многими параличами, многими одышками и аритмиями, многими диссонансами и навязчивостями. Ныне же мне надлежит выговаривать недосказанное Заратустрой или Спинозой, мыслить мыслями мира, восхищаться звуками звуков мира, прежде не осевшими ни в одной из человеческих извилин. Amen.

21.

Мы встретились с Лизой на ступенях подле метро. Станция была закрыта, а вся площадь вокруг нее — пустынна.

Мы поцеловались.

— Я надеялся, что ты возьмешь с собой нашу дочь, я давно ее не видел, — сказал я.

— Все, что произошло, было твоим осознанным решением, на что же теперь можно жаловаться?

— Я и не жалею, но все же ты могла бы взять с собой Соню...

— У тебя особенный дар, Мирослав, — сказала Лиза, отступив на полшага и рассматривая меня вполглаза.

Считается, что она все еще шикарная женщина, и, кажется, она знает о том, что она шикарная женщина, знает во всякую минуту, во всякий свой вздох, во время всякого жеста, и это ее знание... Впрочем, она будто тот самый ужин, который следует отдать врагу.

— Какой? — механически сказал я.

Я сам — своя мышеловка, и сыр в мышеловке, и мышшь, угодившая в оную, и отчаяние сыра, послужившего приманкою для мышши. Все еще стоим на ступенях. Искра иронии. Сожаление. Трепет.

— Ты — инквизитор. Но только не великий, а мелкий. Микроскопический. Тебе приятна роль микроскопического инквизитора? Сознайся, что ты всегда мечтал о такой роли! Ха-ха! — крикнула Лиза. — Шутка! Мне просто хотелось увидеть твое удивленное лицо...

— Ты его увидела... — успел вставить я.

— Оно столь же предсказуемо, как и все прочее в тебе.

— Когда я смогу увидеть дочь?

— Возможно, в выходные. Только не в следующие. В следующие я занята.

— А когда ты уезжаешь?

— Послезавтра. Или через три дня. Какая разница?

— Куда и насколько?

- Может быть, и навсегда.
 - Что значит навсегда? А как же встреча с Соней?
 - Нет-нет, Неспалов, так мы не договаривались.
 - Давай договоримся теперь.
 - Я пошутила, что насчет инквизитора это была шутка. Никакая это не шутка.
- С тобой вовсе невозможно шутить.
- Черт побери, Лиза! Зачем мы вообще здесь? Зачем я шел через половину города?
 - То есть как это зачем? Из-за денег.
 - Послушай, это действительно все мои деньги...
 - Неспалов, ненавижу, когда ты ноешь!
 - Я и не думаю ныть.
 - Я тебе уже сказала, что ты выкрутишься.
 - Каким, интересно, образом?
 - Откуда я знаю? Дашь пару концертов, лучше за границей, в Голландии или в Норвегии.
 - Я давно не концертировал. У меня пропал клавишный кураж.
 - Надо же, — фыркнула Лиза. — Термин выдумал.
 - Всем пианистам он известен.
 - Ты явно не самый лучший пианист мира, но всегда выезжаешь на своей эксцентричности. Кстати, не самый худший вариант.
 - Если это комплимент, то спасибо тебе за него. Если — сарказм, то тем более.
 - Кстати, ты знаешь, что про тебя недавно написали в «The Guardian»?
 - Нет, я не знаю, что про меня написали.
 - Как же это? «По имеющимся у нас, хотя и не подтвержденным пока сведениям, знаменитый Неспалов бесследно пропал в этой дикой, умалишенной России».
 - Это не так уж далеко от истины, но я призываю тебя отнестись к сему с юмором, — усмехнулся я.
 - Мирослав, не заговаривай мне зубы. Доставай деньги.
- Я расстегнул куртку и засунул руку в прорезь подкладки. Это было непросто, деньги провалились в самый низ полы, пришлось изогнуться, чтобы дотянуться до пачки. Лиза критически наблюдала за моими ухищрениями.
- Иногда тебе замечательно удастся выглядеть смехотворным, — вымолвила она.
 - Ты очень любезна, — пробормотал я, вытаскивая первую пачку. Я слегка задышался, я немного изнемогал.
- Потом мучения мои повторились. И снова мне пришлось изгибаться.
- По крайней мере, точна и не кривлю душой.
 - Я как раз это и имел в виду, — выдавил еще я.
 - Тебе не стоит притворяться мучеником, Неспалов. У тебя сейчас есть прекрасная работа. Главное — оплачиваемая.
 - Я тебе уже сообщил, что собираюсь отказаться от нее.
 - Отказаться? — захохотала Лиза. — Не смей меня! Это невозможно!
 - Невозможно, чтобы я отказался?
 - Во-первых, ты на это не способен, а во-вторых, тебя Альфонс просто размажет, если ты откажешься!
 - Что? — застыл я.
- Лиза смутилась.
- Я, собственно, имела в виду...
 - Тебе сказал Сотников, это понятно... А вот кто сказал Сотникову?
 - Это неважно.
 - В этом мире ничего нет важного, и все-таки...

— Черт побери, я сказала: хватит! Я не собираюсь больше ничего обсуждать, я хочу жить, даже не хорошо жить, об этом уже речь и не идет, а просто жить, а сейчас мое естественное право жизни ставится под сомнение. И ты теперь, Неспалов, тоже хочешь отобрать мою последнюю возможность свободы и достоинства, которую дают только деньги.

— Великолепный монолог!

Она ускользает, старается ускользнуть. В свою блистательную скорлупу. Sometimes. Атака уклончивости. Вот уж вторая пачка в моей руке. Лиза вцепляется в деньги орлицей. Если б я сопротивлялся, то, должно быть, разорвала бы не только пачку, но и мою руку. Звезда пленительного пренебрежения. Угроза незначительности. Бог и мир держат меня в напряжении не только скрытностью своих имен, но также — инициалов.

— Во всяком случае, ты можешь гордиться честно исполненным долгом! — торжественно вскинув в руке денежные пачки, восклицает Лиза. Прячет через мгновение.

Мимолетное. Марципановый маскарад. Эгонавт. Точность. Эволюция ослабляет инстинкты, а мы слишком долго плелись сомнительными ее тропами.

Жаба, в груди моей жаба, или нет — рядом с грудью. Жаба вдруг начинает бешоваться, трепетать, рваться на волю. Еще через несколько мгновений понимаю, что это — телефон у меня за пазухой. Боже, как же давно он не звонил! Я успел уж от него отвыкнуть.

Рву телефон из кармана.

— Кто? — кричу я и начинаю похаживать, будто пританцовывая.

Ответом мне — гулкий голос, нарочитый и вычурный.

— Мирослав Неспалов! Вы меня не знаете, но я вас знаю, — говорит. — Знаю все дела ваши. Знаю все ваши мысли и обстоятельства.

— Хватит, Худбин, ваш голос я не спутаю ни с каким, сколь бы старательно вы его ни исказили, — снова кричу я. — Вы где? Вы мне нужны! Я и сам собирался вам звонить.

— Я везде и нигде. Я далеко, и я у вас за спиной, — снова играет голос. Но не поддаюсь на уловку, не оборачиваюсь: за спиной у меня лишь одна Лиза, знаю я, и никакого Альфонса за спиной у меня нет.

— Худбин, вы в городе? Я хочу встретиться с вами. Мне надо сообщить вам нечто важное.

— Не знаю, не знаю, — отговаривается Альфонс. Звериное полупритворство. Знаю я. — Я сейчас так занят, — продолжает еще. — У меня столько встреч и переговоров...

— Нет уж, уважаемый, вы постарайтесь найти как-нибудь время и для меня!

— Ну, дорогой Неспалов... может быть, недели через полторы или... четыре... — тянет он и вдруг хохочет: — Черт побери, Мирослав! Шутка! Немедленно! Я весь в вашем распоряжении! Когда вы хотите встречаться? Желаете, через пятнадцать секунд? Желаете, через пять минут? Желаете, через полчаса?

— Через сорок минут.

— Через сорок! — резюмирует Альфонс. — Буду ждать вас в том же месте, где мы встречались неделю назад. Славное было местечко, странно даже, что уцелело; этаким там стильный интерьер: грот из камня и все прочее. Вы помните, разумеется, Неспалов? — тянет еще он.

— Разумеется, помню, — говорю я.

Кнопка отбоя. Угасая в досаде. Я — лезвие, и я — острое, мир же — иссеченная и исколотая плоть, сочащаяся кровью и усталыми своими соками. Существование в отсутствие дара высшей внятности. Отныне.

— Что тебя связывает с этим клоуном, Лиза? — спрашиваю я, оборачиваясь. — Лиза!

Но женщины нет сзади, ее нет нигде; я несколько раз озираюсь. Черт побери, была ли она вообще? Что в моей жизни — достоверное или несомненное? Впрочем, хочу ли я достоверного и несомненного? Ожидаемое сбывается, неожиданное лишь раздувает сферу случайного и сиюминутного. Не по чину безвестен. Нет и в помине. «Леди исчезает». Лиза.

22.

Мне попался по дороге какой-то шальной транспорт: автобус, причем, не муниципальный. Ехали подозрительные типы в полувоенных одеждах (но не сарацины) и несколько штатских криминального вида, они-то и согласились меня подвезти. Пытались со мной заговаривать, но я отмалчивался. Триольные пульсации. Существование свое следует составить лишь из важных слов, молчаний и обстоятельств. Смысл есть предмет первой необходимости для бессонницы. Лошадиные дозы незаметности. Встряска. Ровно через сорок минут я подходил к двери ресторана, в котором мы встречались с Альфонсом неделю назад. С другой же стороны одновременно подходил он сам. Что-то картинное и нарочитое было в нашей обоюдной пунктуальности.

— Неспалов! — завизжал он. — На ловца и зверь бежит. Тем более такой зверь, как вы! Не чудо ли — зверь вроде вас? А?

— Довольно вам, Альфонс Янович! — скривился я. — Мне надо поговорить с вами.

— Мне и самому надо с вами поговорить. И крайне, заметьте, серьезно.

Мы вторглись в помещение, здесь было три человека за разными столиками. Раствор обыденности, ионы ничтожества. Коагуляция.

Нам навстречу уже шел официант, но Худбину, должно быть, показалось, что недостаточно быстро.

— Мальш, не спи! — закричал он. — Ну-ка быстро сюда! Где ты там вообще ходишь?

Худбин плюхнулся за столик подле окна, меня жестом руки пригласил сесть напротив.

— Здравствуйте. Слушаю вас, — остановился рядом официант.

— А ты не слушай, ты делай! Давай-ка нам быстренько, заяц, четыреста кубиков водочки в графинчике. И десяток маринованных огурчиков для начала. Только не вздумай сказать, что огурцы еще на грядке растут, а водочку еще с завода не привезли. Основной заказ мы попозже сделаем.

— Огурцы и водочка найдутся, — сказал он. И переступил с ноги на ногу.

— Ты до сих пор еще здесь? — крикнул Худбин.

— Уже лечу, — отвечивал официант и медленно стал удаляться.

— Да быстрее же, черт бы тебя! — загремел мой собеседник. — Я тебя сейчас стулом огрею.

— Это излишне, — спиною отвечивал официант, но шаг не прибавил.

— Вот! — самодовольно потер руки Худбин. — Я знаю, как обращаться с этой публикой.

— Надеюсь, вы знаете, как обращаться и со мной. Поэтому я...

— Не-не-не-не! — замахал руками Худбин. — Ни слова, ни полслова до тех пор, пока дивный русский напиток под названием «Vodka» не обожжет стенки наших с вами пищеводов и пока огурчики, деликатно хрустнув пред смертью, не улягутся на доньях наших с вами желудков, Неспалов. Пока сие не случится, всякие беседы святотатственны, дорогой мой, — тут Худбин шумно посопел. — Вам хорошо, Неспалов, вы — поджарый. А я вот, сами видите: заложник ожирения. Я уж все диеты перепробовал. И рисовую, и яблочную, и огуречную... Нет, помогает, конечно.

Сбросишь эдак килограммчиков шесть. Ходишь так неделю, собою довольный, а потом — банкет какой-то или встреча (а у нас в канцелярии сии оказии нередко приключаются), глядь — а уж и новых десять набрал. Почему так? Другие вот жрут — и все им ничего, бегают живчиками.

— Худбин, давайте уже поговорим, наконец!

— Не перебивайте, Неспалов! Вы, конечно, гений, но я-то ведь ваше начальство. А начальство надо уважать! Шучу! — тут же захохотал он. — Нет для вас начальства. Один мировой дух — ваше начальство. Да, может, и он никакое не начальство. Да ну, какое он начальство! Вы сами, Неспалов, инвестор мирового духа. А он ваш заемщик, к тому же не из самых надежных. Вы — инвестор ноосферы, Неспалов. Видите, дорогой мой, как я вас ценю?!

— Вижу! — буркнул я. Я взглянул теперь на Альфонса взором, полным злого отщепенчества. Живу я в нелогичном доме и при навязчивых обстоятельствах. Мир сей миром гнета и постылости наречется. Бессердечная недостаточность. Изморось.

Появился официант, появились водка и маринованные огурцы на блюде. Худбин посматривал на все с подозрительностью и, пока официант наполнял наши стопки рукою в белой перчатке, подцепил один огурец и надкусил его.

Последовала пауза, ее почувствовали все.

— Это что такое, заяц? — с угрозой спросил Альфонс.

— М-м-м... — отвечивал официант. — Огурец.

— Это ты называешь огурцом? Эту короткую, кривую и вялую, как твой член, финтифлюшку ты называешь огурцом? Да ты знаешь вообще, каким должен быть маринованный огурец?

— Каким?

— Черт тебя побери! И если я говорю: «Черт тебя побери!», то означает именно: «Черт тебя побери!», а не: «Взгляните, какой за окном чудесный вечер!» Запоминай, заяц! Огурец должен быть мал, но не короток. Он должен быть прям, но не заносчив. Он должен хрустеть, а не приминаться. Он должен быть мускулист и упруг. Он должен вызывать радость и восхищение безграничностью божьего творения, в котором сыскалось место и ему, дарящему радость, и мне, эту радость вкушающему.

— Замечательно, — процедил молодой человек.

— Ты говоришь: «Замечательно»? — завопил Худбин.

— Может, хватит уже? — сказал я.

— Не хватит! Я и вам скажу, Неспалов, чтобы и вы тоже знали. Самое главное: маринованный огурец должен быть... тверд! — наконец железобетонно сказал мой собеседник.

— Если он будет тверд — зубы сломать можно! — вставил официант.

— А ты здесь не хамай! — прикрикнул Худбин. — Вот еще взял моду! Ты вообще знаешь, заяц, кто сидит перед тобой?

— Сразу видно, что вы оба — большие люди, — уклончиво ответил тот.

— Большие люди! — захохотал Худбин. — Нет, это замечательно! — плечи, щеки и подбородок его сотрясались. — Смотри. Вот это — Моцарт, — жест в мою сторону. — Ты видел когда-нибудь живого Моцарта? Ну, так смотри! А я... Сальери, хочешь сказать ты? Не угадал! Я не Сальери, ибо бездарен. А Сальери бездарным не был. Но кто же тогда я, ты спросишь меня? А вот кто... Ты, конечно, слышал слово «культура»? Слышал! По глазам вижу! Так вот я — самый главный начальник, над всей этой вашей чертовой культурой! И ты имеешь наглость говорить мне, что твердым огурцом я должен сломать себе зубы? Какое, черт побери, покушение на культуру!

— Я этого не говорил, — процедил напускавший на себя все более и более невозмутимости официант.

— Пшел отсюда! — отмахнулся от того Худбин.

Молодой человек удалился. С навязчивою грацией конькобежца. С сутулою тяжестью шмеля. Серебро братоубийства. Бритвенная беззаботность. Лукавые назидания.

23.

— А теперь мой черед, — решительно сказал я.

— Теперь ваш черед, Неспалов, — машинально подтвердил Альфонс Янович.

Я разлил водку по стопкам. Секунду мы оба помедлили, потом выпили молча.

— Худбин, вы — хитрец, — начал я. — И я это в вас даже уважаю. В самом деле, я помню, как вы меня провели в прошлый раз... этот ваш блистательный монолог... а уж если вспомнить вашу игру на моих слабых струнах, на самолюбии, на тщеславии, на ответственности... И вот только я сказал «да», а вы тут же: «Что ж, теперь мы пригласим нашего дорогого Георгия Васильевича» — за соседним столом, спиной к нам, оказывается, сидел ваш юрист с готовым договором и с пачками ваших чертовых денег. Осталось только поставить подписи. Сегодня его нет рядом с нами, а, Худбин? Вы секунды лишней не дали мне подумать, а может, и передумать, вы разыграли вашу партию как по нотам.

И тут случилось «явление». По проходу между столами двое официантов (среди них был и наш «заяц») везли в нашу сторону две тележки. Они могли проехать мимо, но остановились прямо подле нас. На тележке были кастрюлька с ухой, салаты со спаржей и ананасами, дивной тонкости жульен с белыми грибами и какою-то птицею, креветки в соусе и еще блюда, которых я сразу не распознал.

— Ваш заказ, господа! — провозгласил «заяц».

— Какой еще заказ? — начал было я, но мельком взглянул на Альфонса, тот ухмылялся самодовольно, и я все понял.

— Все-все, спасибо, зайчики! — нетерпеливо махнул он рукой, едва только официанты сервировали наш стол несколькими блюдами и приборами, налили уху в высокобортные мисочки, расставили кокотницы, соусницы, менажницы. — Дальше мы сами справимся.

— Ах вы — прохвост! — с насмешливою досадой пробормотал я.

— Не каждый день угощаешь Моцарта, — парировал тот. — Здесь уж можно чуть-чуть побыть и прохвостом.

Официанты удалились.

24.

— Итак, я снова слушаю вас, Неспалов, — сказал Альфонс. — Кажется, вы начали какой-то монолог.

— Да. И в нем я отдал дань уважения вашим хитрости и артистизму. Теперь о главном. Несколько дней назад мы с вами подписали некий договор.

— Подписали, — подтвердил Худбин, ковырявшийся в жульене десертною вилочкой.

— Согласно тому договору я обязался в сжатые сроки написать симфоническое произведение, параметры коего были описаны лишь весьма приблизительным образом...

— Произведение высокой идеалистической направленности, в котором средствами музыкально-драматического языка будут отражены судьбы страны и человека

в наше трагическое и величественное время, — с легкостью вдруг процитировал Худбин.

— Именно так.

— Ничего особенного, — протянул Альфонс Янович. — Обычная чиновничья формулировка.

— Речь не об этом, — отрезал я.

— Жульен попробуйте! — возразил мой собеседник. — Я люблю здесь у них один только жульен.

— А я не люблю, когда меня не слушают! — с досадою сказал я. Правила благожелательности. Взмыть над миром лебедем неуверенности. Управляемая внезапность. Азбука Морзе.

— Я вас внимательно слушаю, Неспалов, — кротко ответил Альфонс Янович. — Но мне больно видеть, что вы пренебрегаете жульеном.

Машинально я положил в рот немного жульена. Граница нерасторжимости. С-dur. Падучие мои просветления. Рот был отдельно, жульен был отдельно. Несовершенство.

— И вот теперь по причинам, которые оглашать я не вижу ни смысла, ни необходимости, я вынужден отказаться от написания заказанной мне симфонии, — твердо продолжил я. С кварцевую неоспоримостью.

Худбин, казалось, меня не расслышал, хотя не расслышать было невозможно.

— Грибы, — сказал он. — Грибы, сливы, сыр и мясо куропатки... Можно ли что-то придумать более отдаленное. Казалось бы, как им возможно сочетаться? А вот же сочетаются. И не просто сочетаются, но производят во мне ощущение счастья, Неспалов! Вы-то, впрочем, музыкант, вы умеете сочетать несочетаемое. Как это происходит? Как это вы так слышите? Не знаю! Чудо! И между нами говоря, знать не хочу. Чудо — это по вашей части, Неспалов. Вы — Моцарт, а не я. Вот говорят: гений! Что такое гений? — загремел вдруг мой собеседник.

— Потихе, пожалуйста, — попросил я.

— Я считаю вас артистом, равным Шекспиру или Моцарту, Неспалов. Хотя многие так не считают. Они говорят: нет, мол, пророка в своем отечестве! Да если в своем отечестве нет пророка, так черт побери такое отечество! Грош цена такому отечеству! Вы не согласны, что такому отечеству грош цена?

— Не согласен, — отчего-то боязливо оглянувшись, возразил я. — А впрочем, не знаю.

— Вот! — назидательно поднял палец Худбин.

— Что — вот?

— То и вот! — крикнул он.

У Альфонса Яновича всегда был громоздкий голос, и ему теперь приходилось утихомиривать его, чтобы пудовые гласные слов не раскатывались в самых отдаленных уголках помещения. Иногда Худбин спохватывался сам, иногда я просил говорить потихе, и тогда мы едва ли не шептались.

— Всякое величие, Неспалов, — бубнил Альфонс Янович, — оно лишь спускает с цепи какую-то новую, небывалую тенденцию. Какую-то изощренную стратегию. А вы-то велики, Неспалов! Поэтому и от вас исходят тенденция и стратегия, даже если вы того и не осознаете. Впрочем, это я не о том. И я нарочно *не о том*. Что, вы не хотите писать заказанную вам симфонию? Ну и не пишите себе на здоровье! Черт, да что же я такое говорю! Как это так «не пишите»?! Это совершенно невозможно, это даже не обсуждается! А знаете, Неспалов: я ведь люблю вашу симфонию! Она еще не написана, а я ее уже люблю. Потому что я знаю вас, знаю, что вы можете! Да нет же, черт побери, я не знаю, что вы можете! Всякий раз вы удивляете меня! Всякий раз вы пугаете меня! Да-да, пугаете! Со всяким новым вашим опусом вы

будто держите экзамен. И я даже временами злорадствую: ну, уж теперь-то Неспалов непременно впадет в банальность, говорю себе я, в шопеновщину! В рахманиновщину! В преувеличенный драматизм! В стравинщину! В авангард! В символизм! В публицистичность! А вы, черт вас побери, всякий раз совершенно никуда не впадаете! А это даже обидно! Это даже гнусно, ибо тлѐю я начинаю ощущать себя пред вами, Неспалов, пред вашей мыслью! Насекомым! Я много думал о вашей симфонии, я думаю о ней не переставая. Будь моя воля, знаете, как бы я ее назвал? «Великая симфония». Да-да, и совершенно не следует скромничать. Вы напишете великую симфонию, Неспалов, я не сомневаюсь в этом...

— Не напишу, — успел вставить я.

— А значит, она так и должна называться: «Великая симфония». Нам с вами этого никто не позволит, конечно. Но отчего бы не помечтать минуту! Итак, мы говорили о гениальности, — сказал он. — Всякий гений — в народе своем исключение. В народе, а потом еще и в мире. Впрочем, что это за мир такой?! — болезненно искривившись, говорил Альфонс Янович. — Черт побери, разве это мир? Теперь уж все цивилизационное исчерпано. А мало ли народу ныне истребляется в мире за какую-нибудь этимологию или пунктуацию! Я даже не говорю — религию! Религия — система ограниченный, вид сумасшествия. А культура! Нет никакой культуры! Только — манок для особей противоположного пола...

— Вы же, кажется, числитесь по ведомству культуры... — съязвил я.

— Именно потому так и говорю, — парировал тот.

— Все-таки вы не хотите меня услышать, — настаивал я.

— Вас я точно не хочу слышать, — кротко заметил Альфонс. — А вот музыку вашу до замиранья сердца жажду.

— А будет все как раз наоборот: меня вам услышать придется, а симфонию мою — нет.

— Цыплят по осени считают.

— Я с вами не про цыплят говорю.

— Я тоже.

— И что дальше?

— Неспалов, — сказал мой собеседник, — вы знаете «Поэму экстаза» Скрябина?

— Разумеется. Я дирижировал ею.

— Хорошо помните ее?

— От первой и до последней ноты. Могу пропеть, если хотите, любую оркестровую партию, — отвечал с внезапным ожесточением.

— Стало быть, любите эту вещь?

— На что вам это знать, Худбин? — крикнул я.

— Ответьте, Неспалов.

На мгновение задумался. Вдруг зазвучали во мне избегания тоники. Уклонения от устойчивостей. Духопомазание. Изредка.

— Не в том дело, что люблю, — с усилием начал я. — Меня эта вещь... как-то так примиряет с человеком. Я даже начинаю человеком гордиться, пожалуй. Его духом и изобретательностью.

— Значит, в другое время не гордитесь?

— Не горжусь.

— А «Просветленная ночь» Шёнберга?

— Этим я не дирижировал. Что за странный вы затеяли разговор?! — Ожидаящий. Подлить масла в огонь недоверчивости. Бравада. Прямохождение.

— Ничего странного! Я хорошо понимаю всю неуместность сравнений. Но представляете, вот вы сейчас пишете симфонию, и это вдруг оказывается новая «Поэма

экстаза», новая «Просветленная ночь»... А почему? А все потому, что в чьей-то сановной голове... не с таким уж большим количеством извилин, замечу я в скобках... вдруг зародилась странная и счастливая мысль: а что если одно непоименованное событие, которое еще не произошло, но которое обязательно произойдет... что если это событие сопроводить некой музыкой, симфонией, но симфонией самого великого из ныне здравствующих композиторов, вашей музыкой, Неспалов?! Не написанной пока вашей музыкой. Но которая обязательно будет написана. «Что ж, разве нельзя без музыки?» — спросите вы. Можно, конечно! Музыка вообще имеет символическое значение, она имеет значение морального светоча. Музыка укрепляет, музыка воодушевляет, музыкой можно направить и в бой, и в радость, и в тоску, и в благонаравие.

— О каком событии вы говорите, Худбин?

— Понятия не имею! Я — мелкая сошка, на мне всего лишь культура, мне тоже не говорят. Я могу строить догадки, как и вы. Мои догадки будут иметь цену ту же, что и ваши. Мы с вами не политики, Неспалов. Вернее, я политик, но лишь отчасти, вы же вовсе не политик. Вы — гений, как мы уже отметили. Но этого слишком мало, чтобы по-настоящему понять происходящее.

— Оставьте вы эту вашу ересь! — брюзгливо отозвался я.

— Черт! — сказал Худбин. — Из-за вас уха остывает.

— Плевать на уху! — буркнул я. Я сам себе показался подростком, взъерошенным и непримиримым.

— То есть как это плевать на уху! — заволновался Альфонс Янович. — На уху нельзя плевать! Ее есть надо.

— Вот и ешьте!

— Только после вас, милый Моцарт!

Я придвинул к себе поближе уху и вяло попробовал ее. Уха была хороша. Кусочки стерляди в ней перемежались еще с какой-то рыбкою; этой рыбки я не знал, я не обязан знать всех ваших рыбок. Альфонс Янович, согнувшись в три погибели над своей порцией, тут же быстро проглотил несколько ложек сего изощренного блюда.

— Кому вы еще сделали тот же самый заказ? — спросил вдруг я и вперился в моего чиновного собеседника. Я ожидал, что тот вздрогнет, почему-то я этого очень хотел. Однако же не тут-то было! Он лишь с сожалением приостановил на минуту поглощение пищи.

— Вы полагали, Неспалов, что я вздрогну? — пронизательно бросил Худбин. Тут уж я в свою очередь внутренне содрогнулся. Ассоциативный ряд. Высший пилотаж пошлости. — Что у меня станут бегать глаза? Представьте себе, не вздрогнул, и глаза не забегали.

— Сколько моих коллег получили этот заказ? Говорите же! Пять? Двадцать? Пятьдесят?

— Нисколько.

— Худбин, если это был какой-то конкурс, вы должны были уведомить меня!

— Не было никакого конкурса. К тому же вы его уже выиграли.

— Не хочу никакого вашего выигрыша.

— А это случилось помимо вашей воли. Просто в силу масштаба вашей незаурядности, милый Моцарт!

— Стало быть, я уже не свободен?

— Стало быть, не свободны.

— Вы серьезно?

— Серьезней не бывает, — сказал Худбин. F-moll. Andante sostenuto. Я смотрел на Альфонса почти с отвращением. Однако же надо было и решаться.

— Аванс я верну в течение месяца. Если что, вы знаете, где меня искать, — холодно сказал я. Сколько в мыслях моих и ощущениях было неточного, несчастного и неудовлетворительного. Не время. Не сюда. Незачем.

Собеседник мой поджал губы.

— Неспалов, — сказал тот.

— Что? — вскричал я.

— Я, знаете ли, все насчет Скрябина, — сказал он и вдруг — о ужас! — быстро и едва ли не глумливо подмигнул мне.

— При чем, черт побери, здесь Скрябин?!

— Значит, любую фразу помните?

— А вам подтверждения хочется?

— И пропеть можете?

— Разумеется, могу!

И тут произошло что-то невероятное, непостижимое. Худбин не ответил, но лишь отчетливо и точно пропел фразу из моей симфонии... той самой, которой не существует. Из главной темы. Я даже похолодел. Как он может знать? Я бы ее не спутал ни с чем, ее вообще ни с чем не возможно спутать. Подобная возгласу; с маршевой поступью, с прихотливой певучестью, бронзовозвонная, горделивая, белогрудая, сумеречно-фантастичная... и какая там еще? Она еще после должна была биться о гранит многих искушений, она должна была охрипнуть, сникнуть, изойти, расточиться, извериться, она должна была еще отравиться сернистым газом нашего подлого настоящего, многие бесы обидели бы ее своими преувеличенными сарказмами, своими пустородною пронырливостью и неистинным клокотанием, что-то прокаженное, нечистое, несчастное должно было появиться на ее плечах, в петлицах, на ветвях и отрогах. И тогда даже гибель, даже распад и истребление станут пронизаны радостью, облегчением, которых только и сможет жаждать человек, до ключиц, до предплечий, переносицы и надбровных дуг погрязший в восхитительных делах своих и намерениях. В блаженных своих замыслах и неудовлетворенностях. Таков был план, таковы избранные предназначения!

Неужто — Ольга? Могла ли она? Нет, Ольга сделать это не способна. Слишком уж она предана мне. А предана ли она мне? Или я за себя совсем уж отвечать не могу. Ольга?

Оттолкнув грузное свое сиденье, я шумно вскочил с места.

— Вы — дьявол, Худбин! — крикнул я.

— Сядьте, Неспалов! — повелительно отвечал тот.

— Я ухожу!

— Я позволю себе напомнить вам о существовании между нами некоего договора! Того самого! — выкрикнул Альфонс Янович с некоторою даже визгливостью.

— Этот договор не скреплен кровью! — бросил я через плечо.

— За кровью дело не станет! — отчетливо сказал тот.

Но я был уже подле выхода и через мгновение хлопнул дверью.

25.

Но нет же, выхода нет! Возможно лишь приблизить то, чего боишься. Впрочем, не так! Сегодня мне приснилось, что я рисовый. Вместо клеток — зерна фантастического, вычурного риса, и каждая клетка — живое существо, со своею душой, со своею историей, со своею биографией, со своими упованиями и сетованиями, со своею бедой. Все они рождаются, развиваются, производят потомства,

умирают. Каждый из нас — собрание миллиардов существ, конгломерат, консорциум, все они объединяются для решения какой-то задачи: обеспечения моего дыхания, моей мысли, моей музыки, моей тоски. Если во мне звучит новая музыка, значит, консорциум поработал именно над этой задачей. И поработал отлично.

Еще мне почудилось, будто я бегу. От кого бегу я? Бегу от вашего ура-патриотического быдла с его кургузой неопределенностью, с его генно-модифицированной причудливостью. И вместе с тем бег мой обречен, обречен на неуспех! Успех притаился в сторонке, прикинувшись сиротой, обрядившись в праведность и незаметность. Успех — забава певичек и футболистов. Неуспех же — господин мира и человека, главарь обстоятельств и всего преднамеренного. Надсмотрщик и насмешник. Сюзерен и пролаза. Восемьдесят пять. Что такое восемьдесят пять? Ничего, просто число, самое обыкновенное.

Утром проснулся с умом, выжженным напалмом сна. Меня не устраивает участь *один из*; мне отвратителен и удел *никого кроме*. Мне подозрительны и блистательность с уникальностью, меня настораживают и гармония, и непогрешимости. Неужто кто-то, помимо меня, способен еще на профессионализм бесчеловечия, на безграничность неудовлетворенности?

Впрочем, снова солгал. Я не спал вовсе. Я лишь раз забылся, сидя в кресле, я был весь скособолен, я извелся и издергался и, быть может, сам не заметил своего дремотного фиаско. Видел ли я сны? Я глотал шнапс с лимонным соком — я думал так успокоиться. А мое возвращение? Полностью ли я отошел и оттаял после встречи с Альфонсом? В любом случае я пытался. Важнейшая из задач моих — обескураживание мира и человека. И еще я положил себе трудиться трудами беспредельными и высокими, за что снискать в конце концов мои главнейшие из наград — смерть и забвение!

Пожалуй, я клокотал. Правда моя для меня была очевидной. Или — нет, она была сомнительной. Но — Худбин! Как он мог?! Я заставил себя успокоиться и даже отрешиться от всего. Это удалось только в моей Моховой. Прежде чем зайти в парадное с повапленными стенами, я заглянул под арку и во двор. Там было темно, там были ночь набожная и тьма аспидная, чернота густогривая, мрак масти сапожной, но ничего необычного я не заметил.

26.

Удивительно, но работал лифт! Дверь громыхнула, и я поехал на нем на свой четвертый этаж, бормоча про себя мотивы из струнного квартета, занозой засевшего в недрах моего прокаженного мозга. Русскому следует приходить на всемирное торжище тщеславий со своею стократной созидательной лихорадкой. Я почти не замечал резонности иного промелькнувшего. Ныне мир славен своими бесноватостями. А я еще так давно не взирал ни на какие новые смыслы неотрывно, как бы сам ни старался себя убеждать или настраивать. Обреченное — вооружающее. Пред началом улиточьей ночи. Порабощение. Урок дискомфорта. Страх — всему голова.

Лифт остановился. Дверь лязгнула открываемая. Я стал выходить, но отшатнулся. Кто-то шагнул мне навстречу, было темно, я ожидал, что меня ударят, хотел закрыться рукою; шило! — я уже не успевал, ничего не успевал, не то что защититься руками, но даже и воздух в груди переменить! ныне единственный брат мой — ужас! но этот человек не мог меня ударить, это оказался всего лишь Гольдфарб. Сей человек не из числа кровожадных цветков. Безжалостных млекопитающих.

— Неспалов, — устало сказал он.

Я, как мог, приосанился.

— Я совсем вымотался, — сказал я с натужною превентивностью. Вспышка предвидения. Урок горечи.

— Иначе и быть не могло.

— Зачем вы здесь стояли?

— Ждал вас.

— Я спать пойду.

— Всего десять минут!

— Уверены, что только десять?

— Мне бы только фокус-покус вам один показать.

— Что еще за фокус-покус? — пожал я плечами.

— Там все продолжается, — плаксиво пробормотал вдруг Гольдфарб.

— Что продолжается?

— Да все то же, что и было, — махнул он рукой неуверенно. Мишура. Миттельшпиль.

Я обреченно поплелся вслед за Гольдфарбом. Мы поднялись на один этаж. Дверь Гольдфарбовой квартиры была приоткрыта.

— А водопроводчики? — шепнул я.

— Т-с-с! — шепнул мне Гольдфарб, и мы потихоньку вошли в квартиру.

27.

Гольдфарб вел меня в гостиную. Свет не горел, но глаза уж начали привыкать к темноте. Я никогда не гордился своими глазами, они нередко подводили меня. Мы с Леонидом постояли минуты две.

— Видите? — сказал Гольдфарб.

— Что?

Леонид молча взял меня за руку и подвел ближе к дивану. Прикосновение. Я уже слышал *ничто*, слышал небытие, но все ж, принуждаемый моим собеседником, стал с болезненной неприязнью ощупывать то, что предо мною было теперь. Мертвое тело — в том уж больше не стоило сомневаться.

— А теперь? — спросил Гольдфарб.

— Леонид, — взмолился я. — Зажгите хоть свечку.

Свечка была на столе посередине зала, Гольдфарб чиркнул спичкой, и вот уж над столешницей запрыгал бойкий и неуверенный огонек.

Предо мною лежала мертвая немолодая женщина, лежала на спине, глаза ее были закрыты.

— Вот вам и фокус-покус, дорогой. А вы мне не верили!..

— Как же это? — растерянно протянул я. — Когда?

— А вот мы с вами расстались... Вы пошли по своим делам... а я постоял немного... впрочем, нет! Постоял я много, почти полчаса, все никак не мог заставить себя. Я опасался, что водопроводчики выйдут. Но они так и не вышли. Я тогда уже знал, что здесь увижу. И тогда я через черный ход, тихо, как мышка... Хотя чего, спрашивается, было таиться? Можно было хоть бы и нарочно топтать. Дело-то уж сделано!

На мгновение у меня закружилась голова, и еще сердце... Взволнованная птица-сердце... она сделалась большой и нестерпимой, она была на минуту счастливой или всего только на несколько беспорядочных и неуловимых мгновений.

— Гольдфарб, я сяду! Голова кружится, — пробормотал я, отступая.

— Садитесь! — захопотал тот, видя, должно быть, мою бледность. — Не каждый день, дорогой мой, такие фокусы-покусы...

Я упал на стул. Но был ли я теперь бессилен? Нет, я не был бессилен. Я, напротив, был дьявольски силен, хитер, осмотрителен и даже безжалостен. Мне только

немного нужно было отдохнуть, всего пятнадцать ударов сердца моего отдохнуть. Горстка причудливых мелодий копошилась в моих внутричерепных катакомбах, билась о барабанные перепонки, подбиралась к вискам и гайморовым пазухам, рвалась наружу, внезапно почувствовал я.

28.

- Она так и лежала? — спросил я.
- Нет. На полу. Я перенес.
- Зачем?
- Так... на постели лучше.
- Лучше?
- На полу, на постели! Никому до этого и дела не будет! — раздраженно проговорил Гольдфарб.
- Вы кому-нибудь уже?..
- Только вам, Неспалов.
- Хорошо, — зачем-то сказал я.
- А вы думаете, надо? — забормотал Гольдфарб.
- Я посмотрел на него удивленно.
- Наверное. Как же без этого?!
- Да-да, я понимаю.
- Как это сделали?
- Шило. Такое же шило. Сзади. Прямо в сердце, видеть. У вас есть шило, Неспалов?
- Нет, — сказал я. — Впрочем, есть. Вам показать?
- У меня тоже есть, — сказал Леонид.
- Без шила сейчас нельзя.
- Невозможно, — подтвердил Гольдфарб. — И даже опасно.
- А, — сказал я. — Почерк. Тот же самый! Почерк, говорят, невозможно подделать.
- Этот почерк подделать возможно. Нужно только вжиться в роль, и — дело в шляпе! Я бы и сам при необходимости подделал такой почерк!
- Кто это мог сделать?
- Кто мог сделать? — переспросил Гольдфарб, голос его звенел все более и чуть было даже не срывался. — Да кто угодно: вы, я, водопроводчики, маньяк, инспектор, соседи, какой-нибудь коммивояжер, врач из поликлиники, помощник депутата, социальный работник — любой мог сделать, я вам говорю!
- Успокойтесь, Гольдфарб!
- Черт побери! — забормотал тот. — Они же теперь ни перед чем не остановятся.
- Кто?
- Те, кто все это начал.
- Кто это начал?
- О чем вы, Неспалов?
- Вы знаете тех, кто все это делает?
- Знаю ли я? Да, может, это вообще не люди! А впрочем, пожалуй, и люди. Не животные же! А вы что, вы про смерти эти меня спрашиваете?
- А вы что, Гольдфарб, не про смерти разве говорите?
- Да-да, — спохватился вдруг мой собеседник. — И про них тоже.
- А еще про что?
- Про деньги, Неспалов.
- Что-о? — удивленно протянул я.

— Про очень большие деньги. Такие, что одному человеку безмерность их и вообразить невозможно. Пред такими-то деньгами и смерть какая-то там — ничто. И даже тысяча смертей — ничто! Это — миллиарды! Сотни миллиардов! Тысячи миллиардов! А маховик уже запущен!

Во мне вдруг стало что-то задыхаться. Но что же? Разве это не был я сам? Но нет же, это скрипки! В головокружительно-независимой их поступи. Нехорош был лишь источник — моя проклятая симфония! Моя ненужная симфония. Это наваждение следовало бы с себя стряхнуть. Над этой идеей следовало бы посмеяться. Душа моя велика в своей невыразительности, душа моя божественна в своей никчемности! Знал я. В этом мире всегда синонимы — абсурд и божий промысел.

— К чему теперь об этом? — с брюзгливостью сказал я.

— Но как же?! — изумился Гольдфарб. — Это самое главное.

— Деньги — главное?

— Они самые! Я только боюсь выбиться за обещанные десять минут. Сколько уже прошло? Пять? Или шесть? Вы ведь устали, Неспалов!

— Да, устал.

— Вы поймите! — хрипло говорил Гольдфарб. — Им просто нужен одновременно миллион беззаконий, им нужна настоящая смута! Им нужно, чтобы разом исторглись океаны гнева, чтобы народы с насиженных мест сдвинулись, чтоб из всех щелей хлынуло, а поскольку гнев будет ненаправляемым, то он окажется разрушительным и катастрофичным, что, собственно, и требовалось доказать! Их потом спросят: а где деньги? А они скажут: деньги были, верно, но вы ведь видели катастрофу, вот катастрофа все деньги и пожрала. После катастрофы спроса настоящего не будет.

— Черт побери, о ком вы говорите, Гольдфарб?

— Вы разве ж не понимаете?

— Может, и понимаю. Но вы все равно скажите.

— Их не так уж и много. Они считают себя мозгом и силой нации. Им плевать на остальные миллионы, они гордятся своею удачливостью и полагают оную от Бога. Они — власть и бахвальство. Они — сытость и безразличие.

— Если они — мозг и сила, то кто же тогда мы?

— Мы? — растерянно переспросил Гольдфарб. Невзирая. Обратная пропорциональная независимость. Клинопись. — Мы — нервы! Всего лишь нервы нации! Кто же еще?

Я стал взбудораженно расхаживать по комнате. Гольдфарб уселся на мой стул. Он замолчал и лишь следил за моими расхаживаниями. Звуки-заусеницы, ноты-занозы. Жизнь с ее состоявшейся недвусмысленностью.

— Но что же делать, Гольдфарб? — мне вдруг показалось, что тот крадетсЯ сзади, крадетсЯ в мою сторону и, быть может, уже совсем рядом и замахивается на меня, и в руках у него... что же в руках у него? шило? Я стремительно обернулся и отскочил в сторону. Гольдфарб сидел на стуле. Скорбно и монохромно. И вовсе он не собирался замахиваться.

— Что делать? — переспросил тот.

— Да.

— А вот вы знаете, кто вы такой?

— И кто же?

— Вы, Неспалов, — сверчок, знающий свой шесток, но этот шесток высоко в небесах, это самый высокий шесток в музыке и, может даже, в мире. А поэтому... знаете, что поэтому? Гряньте, Неспалов!

— Что грянуть?

— Просто гряньте! Вы можете! Вы умеете! Вас услышат!

— Не умею, — устало сказал я. Одиннадцатая минута. Краеугольные камни неудовлетворенности.

— Я вам говорю, Неспалов! Я — полумертвый старик, да нет же — уже практически мертвый. Из недр своей посредственности говорю. Ведь я же посредствен, Неспалов. И смиренно сознаю это! Послушайте меня! И — гряньте! На весь мир, на все тропки и переулки, на все кулуары и конференц-залы, на все кружки и сообщества! Чтобы мы все задохнулись от пронзительности. От подлинной пронзительности, которую способно доставить только высокое искусство. Гряньте так вот, Неспалов! С размахистостью сердца. Или — даже вовсе без сердца, лишь одним умом, лишь одним смыслом, одним талантом! Да, собственно, вы ведь и сами знаете — как! Я этого не услышу, конечно, но пусть оно будет! Нам бы всем теперь грянуть, конечно, ну да мы на это, пожалуй, и не способны. Одна на вас надежда, Неспалов! Слышите, дорогой мой?!

— Идите к черту, Гольдфарб! — равнодушно сказал я. Да-да, я сказал именно так. Ныне вспоминаю о том и ничуть не стыжусь. И сколько бы мне ни осталось еще часов или мгновений, все равно никогда не стану стыдиться того.

29.

Быть может, две сотни минут оставалось до полудня или чуть менее того. Я открыл дверь; там была Ольга, и за спиной у нее еще несколько человек, в том числе инспектор Шутко. Ольга казалась смущенною.

— Пойдемте, — сказал мне «этот чертов» инспектор. — Вы должны нам помочь.

— Что случилось? — спросил я.

— Нам нужен понятой. А вы здесь живете.

— Это надолго?

— Не очень.

— Мне нужно переодеться, — сказал я.

Они все шагнули в мою прихожую, там же и остались, непрошенные гости; Ольга — единственная — за мною направилась. «Давно пора покончить все счета с миром и со своеобразием», — лишь сказал себе я. Диктатура мишуры. Panem et circenses.

— Я шла к тебе, а они за мной следом, — сказала Ольга, будто оправдываясь.

— Это понятно, — отвечивал я.

— Я предложила им пойти мне вместо тебя, но они сказали, что лучше, если это будешь ты.

— Да-да, — пробормотал я. — Так будет лучше.

Ольга увидела обрывки партитуры на полу и стала их собирать. Мгновение разглядывала один клочок, лицо ее вдруг исказилось. Теневая сторона. Иные из мимик я вообще люблю до болезни.

— Зачем? — прошептала она.

— Потом, — сказал я.

Переодевание мое было отчасти символическим: я лишь переменял рубашку и накинул сверху потертую тужурку с прорехою под мышкой. Иногда я кажусь себе манерным, как кисейная барышня, и кропотливым, как чиновная сволочь. Давно прежде я положил себе с чрезвычайным достоинством носить и жизнь, и полужизнь свои, и, в особенности, предсмертие. Территория инстинктивного. Трепет.

— Что там могло случиться? — спросила Ольга.

— Симфония. Ты ее кому-то показывала?

— Никому, — ответила Ольга.

- Я видел Альфонса. Он знает тему из нее.
- Я никому не показывала, — повторила женщина.
- Хорошо, — пожал я плечами. — Тогда... — протянул я. Но не договорил.
- Может, мне пойти с тобой? — спросила Ольга.
- Звали меня одного.
- Это так, — ответила Ольга.

30.

Сей день, быть может, имел некое самомнение и даже высокое самомнение, со стороны же он был вроде цыпленка со свернутой шеей. Мы поднялись на этаж, зашли в квартиру Гольдфарба. Дверь в квартиру не была заперта, и слышалось несколько голосов из гостиной. Я знал уже, что здесь увижу. Мир тавтологией держится, одною лишь тавтологией. Тавтологичны и наши морали, и наши созвучия. Наши сообщества и созерцания. Мне очень не хотелось предстать перед новой компанией озабоченным, весьма не хотелось. Ведь бывали же и у меня когда-то триумфы, случались когда-то и у меня чествования, сказал себе я, но я теперь только не успел перестроить выражение лица своего, несчастное и непригодное его выражение.

В гостиной была небольшая толпа, человек до шести, не считая нас вошедших. Знал я только одну женщину из нашего дома, сидевшую здесь на стуле с видом вполне отрешенным. Звали ее Региной. При свете все выглядело иначе, нежели ночью при свече. Тело жены Гольдфарба лежало на диване, в застывшем и заострившемся лице ее утвердилось что-то насмешливое. Из-под стола торчали ноги. Это уж был сам Гольдфарб. Над ним склонился мужчина с какой-то подозрительной плешивостью. Несколько раз сверкнула вспышка увесистого фотоаппарата, голоса людей казались гулками и бесприютными. Гольдфарб тоже был мертв.

— Это — Неспалов, композитор и сосед снизу, — представил меня Шутко.

— Пусть сядет на стул и не мешает пока. Им позже займемся, — хмуро отвечал человек в пальто, даже не оборачиваясь.

Это было грубо, для такого не стоило меня приглашать. Вторую подобную выходку я ему не спущу. Я сел подле Регины. Она полуиспуганно взглянула на меня и отвернулась. Тот, что фотографировал, распрямился, что-то поискал глазами вокруг и методично стал снимать обстановку в гостиной. Стол, стены, диван, дверь, окна. А все же иногда следует купаться в банальности, дышать банальностью, благоговеть перед нею, — сказал себе я. Банальность — свет мира и соль почвы, основа основ и завершение завершений. Реестр уязвимостей. Симптомы спокойствия. Духовная диета.

«Следователь», — подумал я про человека в пальто.

Иногда приходилось вытягивать шею, чтобы что-то рассмотреть. Безучастность же Регины чудилась демонстративной. Я с ожесточением взирал на всех пребывавших в гостиной млекопитающих.

— Закончил снимать? — спросил следователь.

— Закончил, — сказал лысоватый.

— Тоже — шило? — шепнул я Регине, малозаметно кивнув в сторону Гольдфарба.

— Что? — встрепелась женщина.

— Задушен, — кратко ответил мне Шутко.

— Не надо разговаривать, — неприязненно бросил следователь.

Двое мужчин из свиты следователя, на корточки присев подле стола, стали осматривать Гольдфарбово тело.

- Следы борьбы есть? — буркнул патрон этих двоих.
- Пока непонятно, — ответил один.
- Стул опрокинут — вот тебе и след борьбы, — возразил другой.
- Это не след. Мог и сам уронить.
- Почему он в пальто? — спросил еще следователь.
- Может, только вернулся, — сказал кто-то.
- Или собрался уходить.
- Старуху-то он кончил — факт! — заявил один из следователевых подручных.
- Ага! А потом сам себя придушил, — возразил его товарищ.
- Кто его придушил — это отдельная тема, а старуху — наверняка он.
- Вы мне шило давайте ищите! — гаркнул следователь.
- Искали уже.
- Ищите снова!
- А может, его тот унес?
- Какой еще тот?
- Который деда придушил.
- Не было никакого третьего! Третий — лишний!
- А душил кто?
- Конь в пальто.
- Про коня надо в протокол занести.
- Болтай поменьше!
- Третий все-таки был, — вмешался Шутко. — Но картина действительно непонятная.
- Ты здесь для того и находишься, — огрызнулся следователь, — чтобы картину прояснять.
- Тогда хотя бы не мешайте работать, — ответил инспектор.
- А кто тебе мешает?
- Ему нужен кинолог с собакой, — вставил еще кто-то.
- Ты и сам за собаку сойдешь, — ответил Шутко.
- Гав! — сказал тот.

31.

Следователь подхватил стул и против нас с Региной уселся, поставив его спинкой вперед. К прежним аккордам вступления добавился вдруг какой-то новый, будто ящеричный мотив, стремительно-приземистый. Всякий мотив требует определения. Он вплетался бы в мой хорал, привнося нечто саркастическое, бесноватое и безудержное.

Секунду рассматриваем друг друга. Я не создан для вашей проклятой машинальности, каковой вы в излишестве насытили свой мир, его недра и отсеки. И еще... бездонны ли стилистические мои закрома? Нет, закрома мои не бездонны. Зато — приемисты и поместительны.

- Следователь Чанский, — сказал он. — Знаете этих двоих?
- Гольдфарбы, — сказал я.
- Леонид и Марго, — подтвердила Регина.
- Леонид Израилевич и Маргарита Владиславовна, — с некоторою запинкой уточнил я.
- Чем занимались? — спросил следователь.

- Он — композитор, — сказал я.
- Она — искусствовед, — добавила Регина.
- Бетховена знаю, — хмыкнул кто-то из следователевой свиты. — Чайковского знаю. Гольдфарба не знаю.
- Ты много чего не знаешь, — бросил тому Шутко.
- Внезапно произошло еще какое-то движение: вошли двое. Возможно, начальство; потому что Чанский вдруг отстранился от нас и устремился навстречу вошедшим — для приветствий и рукопожатий.
- Прокуратура не заставила себя ждать! — воскликнул он.
- А вы, я смотрю, прописались уже в этом доме! — отвечал главный из вошедших.
- Четвертый жмур за неделю, — развел руками Чанский.
- Их проще поджечь, чем все это распутывать.
- Так и запишем: прокуратура призывает к поджогам.
- Запиши! Ну, что у вас тут?
- Убитых двое. Семейство Гольдфарбов. Ей около пятидесяти, приколота острым предметом, типа шила, вчера днем.
- Орудие убийства найдено?
- Ищем. Он лет на десять старше, задушен.
- Чем душили?
- Руками. Следы пальцев на горле.

32.

Шило и вправду было найдено несколько минут спустя. Я этому отчего-то не удивился. Острый сей предмет с предосторожностями был водворен в прозрачный пакетик и долго после лежал на столе в числе некоторых иных предметов.

- На столе — опрокинутая бутылка коньяка и стопка, — монотонно говорил Шутко.
- Стопка одна? — спросил следователь прокуратуры.
- Одна.
- То есть пил один, или вторую стопку кто-то убрал.
- Возможно. На кухне, в раковине — гора грязной посуды.
- Отпечатки?
- Собрали, что смогли. Будем обрабатывать.
- Обрабатывайте.
- Еще — деревянная расческа, квитанции за электроэнергию, черные нитки, иголка, огрызок яблока на тарелке, грыз он, это я и без экспертизы скажу.
- Такой наблюдательный?
- Зубы приметные.
- Кто обнаружил трупы?
- Трупы обнаружил я, — твердо сказал Шутко.
- Разлет бровей. Удивление. Нынешнее чревато какой-нибудь новой пресловутостью. Appetit приходит во время беды.
- Это — сюрприз, — сказал следователь прокуратуры.
- Встреча была запланирована, — терпеливо возразил Шутко. Пробковая пакладистость. — Мы еще продолжаем заниматься недельной давности убийством их дочери. Опрос жильцов закончили, но возникли дополнительные соображения...
- Мы потом это обсудим, — был ответ.
- Можно и потом, — согласился Шутко.

33.

Все возможное и мыслимое лишь брошено в эту беспредельную прорву существования.

Взгляд начальственного типа из прокуратуры задержался на нас с Региною.

— Соседи? — спросил он то ли у окружающих, то ли у самого воздуха.

— Регина Злобина и Мирослав Неспалов, — отмахнулся Шутко.

— Тот самый? — спросил следователь прокуратуры.

— Что значит — «тот самый»? — удивленно покосился на него Чанский.

— Именно тот! — кивнул головою Шутко.

Все было как раз так! Но мне не поверят, если я объявлю что-то подобное. Я знаю, что не поверят. Я бы и сам себе не поверил. Как могло столько разнородного и противоречивого сгрудиться в одной точке? И чета Гольдфарбов, и эти их загадочные смерти, и я с моей постылой музыкой, чужая квартира, и сама атмосфера нелепости, все эти инспекторы и следователи, и этот прокурорский чин, отчего-то знающий меня. Меломана в нем предположить я не мог. Известность же моя... Да полно! Какой смысл себя обманывать! Что проку — себя надувать!

Тот подхватил стул и подсел ко мне близко-близко. Склонился предо мною и зашептал мне в ухо заговорщически:

— Дорогой Неспалов, могу себе представить, как вас все это мучает. Вы — человек тончайшей организации, талант! — и вдруг посреди этой грязи, посреди этой боли, этой нелепости. Вы — и какие-то там трупы! В голове не уместится!

— Ну, так и избавьте меня от этого! — вставил лишь я.

— А ведь даже я, представляете? Я — казенная душа, а и то знаю вашу музыку. Не в должном объеме, разумеется. Но все-таки знаю!

— Спасибо, — хмуро ответил я. — В последнее время слышу это все реже.

— Неудивительно! — воскликнул мой собеседник. — Мир сошел с ума. Вместо того чтобы слушать музыку, они убивают. Вместо этюдов и мазурок засовывают шило в карман и выходят на улицу. Творить свои безобразия. И после этого мы станем называть себя цивилизованным сообществом!

— Знаете, что-то мне теперь не слишком хочется философствовать, — сказал я.

— Да уж какая может быть философия над двумя едва остывшими трупами?!

— Не в том дело. Философия над трупами как раз очень даже может быть. Трупы — отличный стимул для философии. Просто у меня именно теперь нет для этого настроения.

Собеседник мой застыл на мгновение.

— Великолепно сказано! — воскликнул наконец он.

Восклицание его произвело во мне что-то вроде оскомины.

— Послушайте... — пробормотал я.

— Понимаю! — подхватил он. — Неверный тон! Фальшивая нота!

— Именно.

— Да, ну и как же два композитора — Неспалов и Гольдфарб — уживались в одном доме и на одной лестнице? Непросто было?

— Мы почти не общались!

— И стало быть, видели его в последний раз, — взгляд в сторону лежащего Гольдфарба, — давно?

— Вчера.

— Где?

— Днем на лестнице и вечером здесь, — сказал я.

— Вы были в квартире? — осторожно спросил следователь прокуратуры.

— Он позвал меня, когда я возвращался домой.

Все в гостиной замерли и уставились на меня. Моя дуда все же слишком безжалоствна, чтобы я мог дудеть в нее с покорностью в сердце. *In vitro veritas*. С анилиновой бесцветностью.

— И когда же это было?

— Около половины одиннадцатого, — сказал я.

Все переглянулись. Или мне только показалось, будто переглянулись, я же словно летел с горы и не мог остановиться.

— Вот вам и третий, — присвистнул кто-то.

— Очень хороший третий!

— Просто замечательный третий!

— Лучше и не придумаешь!

Они обсуждали меня, это я был третьим. Хотел ли я, жаждал ли я такого внимания? Нет, такого внимания я не жаждал.

— Стало быть, вечером, около половины одиннадцатого, вы по приглашению вашего знакомого Леонида Гольдфарба были в этой квартире? — говорил следователь прокуратуры. — И видели труп его жены, не правда ли?

— Да. Он позвал меня, чтобы показать все это.

— Где вы встретились с Гольдфарбом?

— На моем этаже возле лифта.

— Он дожидался вас специально?

— Да.

— Но почему он позвал именно вас, если, как вы сами сказали, прежде вы почти не общались?

— Возможно, потому, что это было логическим продолжением нашей дневной встречи.

— На лестнице?

— На лестнице и еще на улице.

— И о чем же вы говорили?

— Черт побери, о чем? О жизни и о смерти.

— Это не конкретно.

— Еще мы говорили о деньгах и о беззаконии, о гневе и о катастрофе. О власти, о нервах, о сверчках, о громогласности! Этого довольно?

— Боюсь, вам придется подробно описать на бумаге эти оба ваших разговора, — сказал мой собеседник. — И чем скорее, тем лучше. Я дам вам свою визитку. Закончите — позвоните!

— Хорошо, — сказал я.

— Одних разговоров мало, — возразил Чанский.

— Да, мало, — подтвердил следователь прокуратуры. — Опишите ваши последние дни во всех подробностях.

— Самых мельчайших, — сказал Чанский.

— Я готов, — сказал я.

— И еще нам понадобятся ваши отпечатки пальцев, — сказал Шутко.

— Извольте.

— Ну и протокольчик бы подписать, как водится! — ухмыльнулся Чанский.

— Давайте!

Давно уж за собою не помнил я такой вот покладистости. Публичное животное в фазе отщепенчества. Быть может, впрочем, эта жизнь не стоит того, чтобы против нее даже серьезно бороться. Филигранная чрезмерность. Жар-птичье смирение. Лобная доля.

34.

Ольга дожидалась меня под дверью. Быть может, давно дожидалась и не решалась зайти. Рабыня и послушница Ольга. Или ослушница Ольга? Я ведь и сам из рода ослушников, я и сам из племени безрассудствующих, понурого племени, беспредельного племени. Боль-безнадежность. Настороженность. Неисполнение. Бессмертный приговор. <...>

Мы стали спускаться по лестнице.

— Что там было? — спросила Ольга.

— Убиты Гольдфарб и его жена.

— О, боже!

— Она заколота, он задушен, — с каким-то даже сладострастием добавил я. — Его я видел поздно вечером. Может, даже был последним, кто с ним говорил. При чем у него в квартире. Он сам затасил меня к себе.

— Но они же не могут думать на тебя?

— Не знаю, — снова пожал я плечами. — Пока мне велено записать все наши разговоры с Гольдфарбом и прочее, — я извлек из кармана визитку, сощурившись, всмотрелся в нее. — Следователь прокуратуры Игорь Скарбез.

— Скарбез, — повторила Ольга. — А кто там вообще был?

— Целая толпа! Какая-то непонятная помпа. Или, как у них называется, резонанс.

— Убийства повторяются. Их стало много — вот и помпа!

— А будет еще больше.

— Откуда ты знаешь?

— Так думал Гольдфарб.

— Его уже нет.

— Он предвидел, что его не будет.

— Может, это было обычное карканье, обыкновенный пессимизм!

Мы остановились перед дверью в мою квартиру. <...>

35—36.

<...>

37.

<...>

— Ольга! — крикнул я.

Что мне нужно было от Ольги, я и сам не знал. <...> И все-таки я звал на помощь ее. Она уже шла, я слышал ее шаги, но я слышал так же и другое. На улице, под моими окнами. Там были крики, там была ярость. Там были голоса, там было возмущение. И вдруг на мгновение все стихло, отчего я даже вздрогнул, поскольку не поверил. И правильно сделал, что не поверил: тут же зазвенело стекло. На пол, прямо подле моих ног, меж осколков стекла, упал тяжелый стальной болт.

38.

Ольга появилась на пороге. <...> Дохнуло холодом. Я тоже застыл, но потом бросился к окну и выглянул вниз. Там собралась небольшая толпа — человек двенадцать.

Верховодил ими... Сотников. Нынешний муж моей бывшей жены. Что-то нелепее этого и вообразить себе было невозможно. Толпа казалась озлобленной, взбуряженной. Сотников, конечно, не мог швырнуть этот болт, он бы не попал, не столь уж он ловок! Значит, кидал кто-то из его подручных. Но откуда у него вообще какие-то подручные?

— Что там? — слабо воскликнула Ольга. <...>

— Вот! — воздев палец кверху, крикнул Сотников. — Видели лицемера? Подлеца? Смотрите! Неспалов! — он погрозил кулаком в сторону моего окна.

— Сотников! — пробормотал я, отшатнувшись. <...>

Я подхватил с пола болт, и, зажатый у меня в кулаке, он выглядел теперь вроде свинчатки.

— Вот! Вот! — размахивал руками Сотников. Маленький, обиженный, назойливый. Я этого уже не видел, только — слышал.<...>

Я взмахнул тяжелым стальным болтом в руке, совершенно произвольно, но, быть может, со стороны это выглядело угрожающе.

Я бросился бежать. Ольга посторонилась, когда я пронесся мимо нее. <...> В прихожей я схватил что-то из одежды, но не стал надевать, сделать это можно будет и на лестнице! на лестнице, где утверждается, где находит себя все одинокое, отчужденное и неукоренившееся. Где и я, быть может, когда-то найду себя, увижу себя, но уже не узнаю.

39.

День сей заключал в себе, кажется, что-то особенное. Все нелепое, все невозможное и неудобоваримое собралось в этом дне для угнетения человек, для их обескураживания. Будто все эпохи и все времена нарочно делегировали в день сей самое свое немислимое и безобразное, с миру по нитке, по щепотке, по крохе.

Стремглав я выбежал на Моховую. Она теперь была, против обыкновения, жалка и привязчива. Гадкая сотниковская дюжина не претерпела никаких изменений. Двое молодцов тут же пошли на меня. И здесь... снова вдруг во мне вспыхнула моя симфония, тысячею адских фальшфейеров вспыхнула, некоторые из ее надсадных и пронзительных мотивов — нот вереница, звуки зловещие и нестерпимые. Звуки отчаянные и ликующие. Толчея немислимого. Подспудная заваруха.

Оглушенный, напуганный, я отступил на пару шагов. Кажется, Ольга выглянула сверху на меня из окна, но в этом я не был уверен. Я скорчил гримасу презрительную, и молодцы могли меня вполне убивать, я бы не стал сопротивляться. Но тут вступил Сотников.

— Вот он! — почти даже ласково забормотал тот. — Блажененький наш! Теплый да приветливый! Видели вы такого?

— Виталья, что нам с ним?.. — заговорил кто-то из сотниковской свиты.

— Ты только скажи, — подтвердил другой.

— Мы не побоимся!

Тут я посмотрел на свою ладонь. В ней был зажат болт. Как я мог одеться и не выронить болта? Я совершенно не помнил, что было на лестнице.

При нынешнем невозможном устройстве жизни и мира до удивления немного в обликах двуногих видимой обреченности. И в них, в мучителях моих, также не было видимой обреченности. Оттого подобрался. Я всегда старался, чтобы чудо было от человек не далее чем на расстоянии вытянутой руки. Вытянутая же рука — вполне допустимо.

— Смотрите, что у него! — крикнул кто-то.
 — Он угрожать нам решил!
 — Да, ты не вздумай нам угрожать!
 — Жену и дочь выбросил на улицу! — сказал Сотников. — А сам содержит любовниц.
 — Содержит! — поддакнул кто-то. — И еще угрожает.
 — Что ты несешь? — тихо сказал я. Ему одному сказал. С сотниковскими прихлебателями я говорить не хотел. Когда-то мир делается суммой суверенности и прихлебательства, сказал себе я. Прочие основания его истратятся, станут неуловимы.

Двое, пожалуй, были ученики Сотникова, но кто были остальные? Поручусь, что с музыкой у них нет ничего общего. Впрочем, к музыке и к прочим искусствам ныне прибилося немало всяческой сволочи. Нагорная отповедь.

— С любовницами-то приятнее и никаких обязанностей! — продолжилось, глумливое крещендо Сотникова. — А то, что жена и дочь без средств существования, его совершенно не беспокоит! Он ведь мировая знаменитость! Можно людей вообще не замечать!

Я отбросил болт в сторону. К чему он мне? Разве я могу запустить им кому-нибудь в голову? Или все-таки могу? А шило? Было ли со мной шило? Я старался нащупать его в кармане.

— Ты пьян! — крикнул я.

Но он не был пьян, и я знал, что он не пьян.

Наша возня привлекала внимание. К нам подходили случайные прохожие, пара старух, какой-то бородавчатый юнец, а от конца улицы шли в нашу сторону двое сарацин, и вид их не обещал ничего хорошего. И еще я поблизости увидел в толпе лицо... Ермакова... Этот-то здесь откуда?

— Вы-то про симфонию слышали! Он всеми правдами и неправдами добивался, чтобы договор заключили с ним. Ну вот заключили — а он отказывается! Для него — забава, для других — средство существования. Он теперь, видите ли, грянуть собрался!

— Я отдал деньги, — сказал я.

— Подачки! Отделаться хочет! — крикнул Сотников.

— Издевается! — крикнул один из «апостолов».

Тут меня толкнули, я полетел на кого-то. Я был в ловушке, отсюда ни бежать нельзя, ни высвободиться. Но я и не хотел ни бежать, ни высвободиться. И тут сердце... сердце...

— Врежь ему! — крикнул кто-то. И действительно врезали. Нет, пока только толкнули.

Сарацины прибавили шаг. Ермаков ухмыльнулся. Но точно ли Ермаков ухмылялся? С чего бы ему ухмыляться? А Сотников? Этот-то не ухмылялся? Я снова полетел куда-то. Из последних сил стараясь удержаться на ногах, я уж выхватывал из кармана шило. Удар в скулу и вспышка в глазах! Тут и мне наконец удалось размахнуться. Значит, это — конец? Видел я, как передергивали затвор, один из сарацин. Пепелящий и яростный взгляд. Исполнить, исполнить блистательную свою безвестность! — крикнул себе я. И тут вдруг воздух ни с того ни с сего с шумом стал проноситься мимо меня, всюю своей недвусмысленной массой, всюю своей неизмеримою плотностью, я попытался хватать его ртом, но мне не удавалось.

— Сотников! — шепнул я.

В глазах его гнездились тоска и озлобленность, и тут — выстрел, раскатистый выстрел: будто треснуло полотно. За ним другой, над нашими головами, в створе Моховой улицы, между крыш ее, проводов, окон, карнизов, между холодного воздуха, туч в небе, светомаскировки и взбесившихся на минуту желтоглазых пернатых. Нота си бессмысленно саднила в моей крови, одна только нота си, ненавистная

нота! Признаться, раньше я ее недооценивал. Сарацины, сотниковские адепты и прихлебатели схлестнулись вокруг меня, будто домочадцы у изголовья умирающего, я хотел было прикрыться рукою, но уже не успел и лишь, визжа гортанью, грудью, лодыжкой и мозжечком один гласный звук, не то «и-и-и!», не то «э-э-э!», а всего вероятнее — нечто среднее между теми, такое среднее, какое только возможно или даже и невозможно, упал навзничь.

40.

...Все же не быть *за*,
а также не быть *против*,
не быть небывалым,
тем более не быть обыденным,
но лишь избавляться,
от странной и глупой причуды,
от безобразной и вредной,
привычки —
играть слогами,
и окончаниями,
мыслить в рифму...

— Гришка, не знаю, откуда ты взялся, но если это правда, ты — слабо сказал я, — то я тебя умоляю не читать мне свои письма!

После попробовал встать, но рухнул на спину. Как я здесь оказался? Окрест меня — гостиная моя и диван мой, я на диване, заботливо накрытый пледом, но будто переменились все очертания, все направления, все пропорции, все предопределения.

А еще, быть может, сейчас встану или пошевелюсь, и стена набросится на меня, злобно, безжалостно и смертоносно, подумал я. Всего можно ждать от стены! Григорий, подлый Григорий, смехотворный Григорий сидел подле стола, прихлебывал чай и хрустел сухарем. И вот сквозь чай и сухарь, сквозь хруст и причмокивание пробивались его куцые, малахольные стишочки.

— Очнулся? — сказал Ермаков.

— Я сам дошел? — спросил я. Я бы вообще, может, чуть более любил человека, если бы не возникающие непременно вокруг него обязанности взаимодействий. Приговор безнадежности. Четверть такта. *Rara avis*.

— Был взнесен на руках почитателями твоего бессмертного таланта, — с усмешкою возражал мне Григорий.

— Что-то не очень их разглядел там, на улице.

— Лежи-лежи, тебе пока не стоит вставать.

— Долго это было?

— «Скорая» приезжала. Ты под капельницей лежал.

— А где все?

— Кто это «все»?

— Ольга, — сказал я.

— Вернется твоя барышня! — усмехнулся Григорий. — Она у тебя — хлопотунья. Чаю, кстати, хочешь? Я всех выпроводил и вот позволил себе угоститься в награду за мое радение. Могу и тебе налить.

— Налей, — согласился я. Я был в испарине. Я все же решил представиться перед миром совершенно изможденным и измученным. Обессиленным и обесцвеченным. Засурдиненная совесть. Тишина и трепет. Противоречия.

Григорий сходил на кухню и через минуту принес мне стакан чая в подстаканнике. Быстро же он здесь освоился. Я кое-как сел на диване.

— Я нашел у тебя на кухне джин и позволил себе угоститься, — сказал он.

— Пускай, — сказал я.

— И шнапс тоже. Но совсем чуть-чуть. Хорошо у тебя здесь, — сказал Григорий. — Только холодно.

— Да.

— Ну и пусто как-то!

— Меня били? — спросил я.

— Били? — удивился Григорий. — Помилуй! Да кто бы на тебя посмел посягнуть?! Даже мизинец поднять на этакое-то достояние...

— Ты был там... Ты все видел?

— Ну, так в толпе-то всего не усмотришь, — уклонился Ердаков и захрустел сухарем пуще прежнего.

— А как ты вообще здесь оказался?

— Где это — здесь?

— На Моховой.

— Почему бы мне здесь не быть?

— Второй раз за два дня... — настаивал я. — Где ты вообще живешь, Гришка?

— Ну-ну-ну! Это у тебя болезненная реакция.

— Где ты живешь? — крикнул я.

— До твоих хором мне далеко, конечно, — усмехнулся тот. — У меня небольшая развалюшка за Исаакиевской площадью.

Почему-то я теперь посмотрел на него с отвращением. Я угрюмо склонился над стаканом с чаем. Чай был горяч.

— Знаешь, пока ты был... ха-ха! — при смерти, я обследовал твои хоромы и остался удовлетворен оными, — с прицепившеюся улыбочкой на лице бубнил Григорий. — А ты, кстати, обдумал мое предложение?

— Какое?

— Написать партию труб Страшного суда.

— Ты готов заказать у меня такую музыку?

— Бог готов у тебя ее заказать.

— А ты здесь каким боком втянулся? Ты — посредник меж нами?

— Пора писать такую музыку! Приближение самого ужасного я чувствую кожей. Бог раздражен, Бог нервничает, Он в ярости! А ты смеешься!

— Не смеюсь. Но если бы смеялся, так только над тобой!

— А ты ведь и впрямь мерзавец, Неспалов! Ты, что, думаешь: все вокруг твоей симфонии вертится?

— Что? Какой симфонии?

— Той самой! О которой все говорят!

— Ердаков, ты ведь не композитор! Ты-то откуда?..

— А крутится все отнюдь не вокруг твоей симфонии.

— Вокруг чего же?

— Вокруг смертей. Всех убиенных и убивающих. А больше так, пожалуй, убивающих.

— Ага! — ожесточенно сказал я. — Ты чай-то себе наливаешь еще!

— А ты знаешь, что меня больше всего в тебе бесит?

— Что? — сказал я.

— Что ты продолжаешь жить полноценной жизнью.

— Это как это?

— Жены, любовницы, заказы, симфонии, звонки из-за границы, ангажементы...

- Главное — все во множественном числе, — язвительно говорил я.
- А хочешь знать, что сказал доктор из «скорой»?
- Не хочу.
- Он сказал: «Этот человек не так болен, как просто устал. Но вы следите за ним. Когда он проснется, он будет много опаснее».
- Ты сам эту чушь выдумал, Гришка! — вскричал я.
- Да, конечно, — качнул головой тот. — Сам.
- Ладно, Григорий, — тихо сказал я. — Ты иди.
- А ты что делать будешь?
- Мне писать надо, — сказал я.

41.

Я хотел исхлестать свой мозг, исхлестать бойкою плеткой. Он слишком часто стал меня предавать, я теперь не могу на него положиться. Вознамерился помыслить — прежде навостри свое негодование! Осторожно я сделал несколько шагов. Григорий наблюдал за мною недоверчиво. Мир как неволя и наблюдение. Берущее за бездушие. Четыре четвертых.

- Ты еще слишком слаб, — сказал он.
- Тебе-то что?! — бросил я.
- Ну, если ты так хочешь, я уйду, конечно. Вот сейчас только пописаю у тебя да пойду, — сказал Ердаков.
- Да.

Григорий со вздохом взял свой пустой стакан и начал вставать. *Sator Arepo tenet opera rotas*. Воздействие. Милитаризм.

- Посуду можешь не мыть, — сказал я.

Григорий вышел. Я настороженно прислушивался ко всем его перемещениям. Первым делом следовало осмотреть шило. Но где мое шило? На старом месте: в кармане куртки, не правда ли? Куртка моя валялась на стуле, неподалеку.

Почему — шило? Шило — мое выздоровление, мой утвердившийся разум, моя воспрянувшая суверенность или, наоборот, сумасшествие? Наш век не пригоден ни для чуда, ни для рассудка.

Я достал шило из кармана куртки, и первое, что я понял, засунув руку в карман: «ножны» разломаны. Значит ли это, что шило использовалось по назначению? Но разве я убийца, разве ж я маньяк? Я мог просто упасть и придавить эту хрупкую пластмасску.

Григорий мочился в уборной, я слышал это. Я же ошарашенно разглядывал свое несчастное орудие. Рукоятка подле иглы показалась мне бурой. Но точно ли то кровь? Не должна ли быть запекшаяся кровь еще более бурой и вещественной?

Музыкант-маньяк... маньяк-музыкант... и то и другое звучало одинаково забавно. Неужто же это я? А хотел бы я быть этим самым убийцей с расщепившимся сознанием, с двойственностью мира и смысла, с фальшивостью созерцания? Что ж, возможно, было бы даже любопытно! Маленькая тайна!

Стал возвращаться Григорий, я тут же засунул шило в карман куртки, а ее саму бросил на стул. О такой ли жизни я грезил в самом начале ее? О таком ли самоощущении? Нет, такие жизнь и самоощущение я себе даже не воображал, и тем труднее мне теперь примириться с ними. Тем гаже и недоуверней кажутся мне мизерные мои успехи, тем более жалкая слава моя представляется анекдотцем и насмешкою. Тем более мнится мне требухой и отходами.

— Надо все же отчетливо осознавать, — сказал Григорий, входя, — что этот Бог — подлец! И при всяком прогнозировании, во всякой футурологии следует всегда принимать во внимание коэффициент подлости Бога.

— Что это ты вдруг? — неприязненно говорил я.

— И вовсе не вдруг, — возразил тот. — Просто... подумай: по трудам твоим, Неспалов, ты можешь еще произойти в главные люди мира и существования!

— Ага, — хладно сказал я.

— Надо, чтоб ты всегда о том помнил. Чтоб не затирал, не затапывал свое предназначение.

— Ага, — снова сказал я.

— Чтобы никакая оглядка на Бога, на совесть, даже на само существование не ставляла тебя о нем забывать.

— Григорий, ты все-таки иди, — сказал я. Пиццикато рваной струны. Думаю о шиле. Мозг-эксцентрик. *Молитвствую.*

Григорий молча вышел в прихожую и вернулся со своим черным пуховиком. Пока одевался, поглядывал на меня исподлобья. Я вознамерился выставить его, не смотря ни на что. Я и прежде не выносил никаких вмешательств в мою мистическую и заскорузлую жизнь, в мое сверхъестественное бодрствование.

Я, быть может, милостью божью музыкант, демиург звуков, суверенный собира- тель, ныне вынужден предаваться моему до костей продирающему безразличию!

42.

Лязг ключа в замочной скважине входной двери в двадцати шагах от моих встре- воженных нервов. Дверь открывается, шаги в коридоре, теплые и телесные, Ольга, приязненно говорю себе я, через мгновение в гостиную и впрямь входит Ольга.

Она головою поводит, что-то особенное есть в этом движении, что-то нестер- пимое и что-то трогательное. Мастер неуязвимости. Не вдаваясь в подробности.

— Как? — беззвучно спрашивает она у меня и у Григория.

— Передаю тебе его, если не в здравии, то хотя бы в неповрежденности, — захо- дится тот в шутовском поклоне.

— Григорий уже уходит, — говорю я.

— Он чай пил? — еще спросила Ольга.

— Именно с его чая и началось мое возрождение к жизни, — сказал я.

— Мерзавцы, — молвил Григорий.

— А мы тебе и не обещали быть кем-то другими, — сказала Ольга.

Григорий давно одет, но все стоит и стоит, будто ожидая, чтобы мы пригласи- ли его остаться. Собственно, он не так плох, или он даже вовсе не плох и иной раз может для чего-то и пригодиться, говорю себе я.

— Неспалов, что, по-твоему, есть писательство? — вдруг спрашивает он.

— Ответь ему что-нибудь, — прошу я Ольгу.

— Способность быть миру добрым собеседником, — почти не раздумывая, отве- чает та.

— Ты так считаешь? — говорит Ердаков.

— Почему ты спросил? — спрашивает Ольга.

Внезапно что-то происходит, я знаю уж, что Григорий не успеет ответить, по- тому что будет звонок, я хочу сказать ему, чтобы он не старался отвечать, не стоит даже раскрывать рот или вдыхать воздух, но тоже не успеваю сказать этого. Потому что мы слышим звонок в дверь.

— Лиза, — говорю я.

— Мне открыть? — спрашивает Ольга.

Я еще слаб, но иду открывать сам. Русский смысл ныне следует собирать по крупицам. Немного, вовсе немного теперь осталось его, и тот даже, что есть, пребывает в умалении и рассеянии. Красота не нужна человекам, говорю себе я! Решено: отныне начинаю портить свой стиль.

Боже, яви мне чудо, настоящее чудо, чтобы я поверил, что Тебя нет!

За дверью стоит Лиза. Она звонит еще два раза, пока я иду. Почему-то ничему не удивляюсь, но почему-то и ничему не безразличен. Какая-то тонкая средняя линия. Мир — сонмище изнурительных даров и нелогичных обстоятельств.

— Я войду? — спрашивает она, едва меня не отталкивая.

— Я не один, — отвечаю на то. Лиза устремляется в гостиную, я плетусь за ней следом, и когда дохожу до порога, Лиза уж стоит посреди оной и попеременно разглядывает то Ольгу, то Григория.

— Уйти? — спокойно говорит Ольга.

— Остаться, — успеваю сказать я.

Лиза тут же говорит: «Разумеется». Одному из нас двоих говорит это.

Ольга делает движение уходить, но я останавливаю ее взглядом. Григорий застыл подле окна, он ленив и любопытен, он, кажется, несколько рад, что про него будто бы даже забыли.

Открывая рот, Лиза еще дергает плечом в каком-то картинном возмущении, с какою-то графической яростью. Подпочвенное.

— Ты не должен! — восклицает она. — Слышишь? Не должен!

— Что?

— Не должен этому верить!

— Чему верить?

— Ничему!

— Я и так ничему и не верю.

— Хватит острить! — это уже крик. — Я про Сотникова!

— Про...

— Прекрати сейчас же! У тебя нет никаких оснований! Ты не имеешь права! Зачем бы ему брать эти чертовы деньги?! Он получил аванс! Ты думаешь, тебя одного ценят? Нет, есть и другие! А ты только и можешь изображать уникальность перед своими легковверными приятелями и доступными девками! Сотников же — добрее, простодушнее! Наивнее! Да, наивнее! Но его тоже оценили, его тоже приняли! Ольга, — крикнула Лиза, — Неспалов тебе показывал свою симфонию? Ты помнишь ее?

— Нет, — тихо сказала Ольга.

— Ты врешь, тварь! Он все тебе показывает! Сотников мне тоже показывал. Фрагменты! Он мучился, у него не получалось! Вернее, получалось! В какие-то особенные минуты озарений. Это было достойно! Это было убедительно! Это была уже почти готовая симфония! В черновиках. Я гордилась, я восхищалась им. Но вот он вдруг исчез...

— Виталик исчез? — всунулся Ермаков.

— Да, исчез! — загремела Лиза. — Я тут же хватилась денег, сама не знаю, почему я про них подумала. Денег тоже не было. Всех денег не стало! Он не мог! Для чего бы ему?! В сущности, к деньгам он всегда был равнодушен. К деньгам, к почестям, к аплодисментам...

— Не совсем понимаю, что значит исчез, — сказал Гришка. — Он еще днем был здесь, на Моховой, под этими самыми окнами.

— А я говорю, что исчез! — крикнула Лиза. — Где он? Куда делся? Что вообще происходит в этом чертовом городе?!

— Здесь много всякого происходит, — кротко сказал я.

— Это ты! — закричала Лиза. — Это из-за тебя! А вы все!.. Неужто меж вас нет мужчин, людей достойных, чтобы его избить, высечь, задушить, запугать?!

— Кого? — испуганно спросил Григорий.

— Не-спа-ло-ва! — громко говорила Лиза. — Неужто никто из вас не может заставить его написать наконец эту его проклятую симфонию, чтобы остановить все это?! Чтобы прекратить! Чтобы спастись нам всем! Еще раз тебя спрашиваю, — сказала Лиза, — он показывал тебе наброски? Ты помнишь их? Ты все помнишь?

— Да, — тихо сказала Ольга.

— Ты должна записать их!

— Нет, — тихо сказала Ольга.

— Ты должна употребить все свое влияние на него, чтобы он дописал начатое. Незамедлительно! — отчетливо проговорила Лиза.

— У меня нет никакого влияния на него, — сказала Ольга.

— Можно мне умереть спокойно? — тихо сказал я.

— Нельзя! — крикнула Лиза.

— Идите сюда, — сказал вдруг Григорий, стоявший все это время подле окна. — Вам стоит на это взглянуть.

Мы все устремились к окну. Вернее, к окнам: Ольга и Лиза, будто две давние подруги, отогнув одеяло, которым завешено было окно слева, выглядывали на улицу. Мы с Григорием выглядывали в правое, что сегодня разбили болтом.

43.

Моховая не широка. Даже я, с моим не слишком отчетливым зрением, могу разглядеть, что делается на другой ее стороне. Возможно, за то следовало бы отринуть слабейший из моих глаз. На улице стемнело, день ныне короток. Хлопья снега кружились в лучах одинокого уличного фонаря. В доме напротив горело не так уж много окон, но окно в точности как раз против моего было освещено. У окна стоял человек и смотрел на меня. Смотрел с какою-то, кажется, печальной укоризной. По-другому не обозначить.

Я сразу его узнал. Это был Альфонс Янович Худбин. Кто из моих нынешних пришельцев — Ольга, Лиза, Григорий — знал Худбина, я о том не задумывался. Его знал я. Мой смысл не для всяких племен, мой язык не для всяких народов. Напалмовая насмешливость.

Сколько мы разглядывали друг друга? Минуты три, никак не менее. Худбин вдруг медленно погрозил мне пальцем. Я едва не расхохотался. Но все же не расхохотался, а застрял лишь на одной из ступеней недоумения. Недоумение же мое было особенное, будто бы даже на грани тоски. Я бытие свое не меняю, я не способен его изменить, я и дотронуться-то до него не могу, мне даже коснуться его невозможно, я лишь могу взирать на него с ужасом и отвращением.

— Что это? — с брюзгливостью говорила Лиза.

— Лучше спросить, что он здесь делает, — сказала Ольга.

Ольга и Лиза — они стояли, едва не обнявшись. Обе держали отогнутое одеяло, промозглое и пыльное одеяло.

— Ну и как вам картинка? — усмехнулся Григорий.

Сзади к Худбину кто-то приблизился, но этого человека я разглядеть уж не мог. Была только одна его рука. Она тронула Альфонса Яновича за плечо, тот не шелохнулся и все глядел на меня укоризненно.

— Это возмутительно! — отрезала Лиза. Впрочем, не сдвинувшись с места. — Не понимаю, зачем мы на это смотрим.

— Действительно, ужасно, — согласилась с ней Ольга.

— Как будто подглядываем.

— И он за нами как будто подглядывает, — сказала Ольга.

— Надо просто отойти от окна, — сказала Лиза.

— Да, — сказала Ольга.

Тут за спиной у Худбина появились вдруг двое человечков, они словно пытались что-то объяснить Альфонсу. Потом человечки, кажется, потеряв терпение, схватили его за плечи и потащили в глубь комнаты. Кто они были? Два напористых и заскорузлых человечка, с петушьими повадками, какая-то казенная сволоочь... Человечки утащили упиравшегося Худбина, потом там погас свет.

— Ну, больше здесь ничего показывать не станут? — сказал Григорий.

— Вы его знаете? — спросил я.

— Да, — сказала Ольга.

— Да, — сказала Лиза.

— В последнее время твои обстоятельства делаются известными всему городу, — сказал Ермаков.

В это мгновение в дверь позвонили, резко, требовательно, сразу несколькими звонками, и еще через мгновение заколотили, забарабанили кулаками. Все посмотрели на меня. Отчего-то я стал надевать куртку, будто бы собиравшись на улицу; Ольга хотела было идти открывать, но я помотал головой, и она остановилась. Шило, мое проклятое шило, было спрятано в кармане, но с незащищенным острием. Это меня беспокоило.

— Ты кого-то ждешь? — нетерпеливо спросила Лиза.

Я не отвечал, но лишь медленно поплелся по коридору открывать дверь. Трое пришельцев моих потянулись за мной.

Звонок, он был каким-то необычным, так никто из «своих» не звонит. Да и есть ли у меня эти самые — «свои»? Я и себя-то ныне все более числю по разряду посторонних. Отчаянных, инородных...

Итак, это чужой, но в его звонках мне чудилось некое знание о происходящем в этой квартире, в этой (то есть — моей) жизни. Знание отчасти должностное, отчасти по душевной склонности. Стало быть, это чужой, старающийся прибиться к клану своих, чужой, втирающийся в приязнь, чужой, грезящий о свойскости...

— Водопроводчик, — сказал я, берясь за дверную ручку.

Подтвердилось.

За дверью и вправду стоял один из двух вчерашних «водопроводчиков». Я стал понимать слова Гольдфарба, я почти готов был согласиться с его правотой. «Водопроводчик» же казался встревоженным, мы все, вчетвером сгрудившиеся подле двери, разглядывали его.

— Что? — спросил я.

— Там кое-что произошло, — сказал гость. — Пойдемте.

Мне уж не надо было одеваться, прочие поспешно оделись. Я же топтался у порога. Острие шила могло проткнуть куртку и высунуться наружу, меня это немного беспокоило, я засунул руку в карман, ссутулился и все время, пока мы шли, придерживал мое оружие.

— Вы хоть можете сказать, что там стряслось? — раздраженно говорила Лиза, когда мы очутились на Моховой и потянулись в сторону Пантелеймоновской.

— Мне велели только позвать вас, — отмахнулся «водопроводчик». — Сами увидите.

— Да, — сказал я.

- Вам не следует удивляться, что послали именно меня.
- Я не удивляюсь, — сказал я.
- А некоторые сомневаются... — говорил еще тот.
- В чем? — спросил я.
- В том, что мы — водопроводчики...
- Я тоже сомневаюсь, — сказал я.
- Но вода в доме течет? — спросил тот.
- Пожалуй, да. Впрочем, не все время.
- А не будь нас, могла бы и совсем не течь, — говорил наш провожатый.

Я не нашел, что возразить на такое.

Ольга молчала, а Григорий будто бы даже что-то напевал по дороге. Что-то бессмысленное, нераспознаваемое, тихое.

44.

В Пантелеймоновской давно нет никакого движения; здесь разрушены два дома. Кирпичными грудями завалена проезжая часть. К одной из таких груд нас и вел наш «водопроводчик», подле нее стояла небольшая толпа. Моя недавняя немощь рассеялась, и я теперь шагал впереди всех своею походкой ехидны. Прожектор освещал битый кирпич, дымился поодаль небольшой костерок, вся картинка выходила фантастическою.

Толпу мы стали обходить стороной, на кирпичах навзничь лежал человек с лицом, залитым кровью, — Сотников. Примириться, примириться вдруг с миром какою-нибудь из внезапных безболезненностей, сказал себе я. Мозг полон приблизительности, всякий мозг, сказал себе я.

Лиза вдруг коротко вскрикнула, вырвалась вперед, оттолкнула меня и бросилась на труп. На грудь его бросилась, каковая тоже была в крови. Что-то картинное, звонкое, сценическое было в этом внезапном движении. Будто неверный тон. Кафедра безутешности. *Allegretto furioso*. Мимоходом.

Толпа взбудоражилась. Это падение Лизы, похоже, не понравилось никому. Время наше таково, что ныне легко впасть в кумирство или в беззастенчивость. Пафос же не безопасен. Шесть четвертых. *La Chute*. Натянутые сравнения.

— Нельзя, слезьте с трупа! — воскликнул кто-то.

— Ишь ты! Пришла и — сразу бросается!

— Жена небось!

— Или любовница!

— Такого защищать!

— Совсем стыд потеряли!

— Сволочная интеллигенция!

— Нет, это здесь ни при чем!

— Очень даже при чем!

— Сволочей везде хватает...

— Хватает, да не таких!

Лиза некрасиво вздрагивала, одними плечами, по-видимому, это следовало принимать за рыдания. Как бы я теперь вел себя, будь я Лизою? — сказал я себе. Наверное, все-таки не так. Впрочем, Лизой я быть не могу.

— Встаньте! — говорили еще Лизе.

— Оставьте ее! — глухо говорил я.

— А это еще что за защитник?! — сказал кто-то.

— Пакость защищают!

— Какую еще пакость?

— Это Неспалов, — сказал кто-то.

— Неспа-а-алов? — тут же протянули с удивлением. Или, быть может, с издевкой.

Удивление и издевка пребывают в ближайшем родстве.

— Ему тоже бы врезать! — сказали еще.

— Это лишнее...

— Врезать — лишним не бывает!

Ольга стала поднимать Лизу, и — удивительно! — та подчинилась. Обе они застыли, обнявшись. Лиза и Ольга стояли, перемазанные одной кровью, одною штукатуркой и кирпичною пылью. Они словно соединились, сплотились этою нечистотой.

— А это что еще за девица? — спросил кто-то.

— У них много девиц.

— А некоторые еще мальчиков любят...

— Это не имеет отношения...

Кто-то подошел сзади. Воробьиная настороженность. Затакт.

— Знаете его? — спросили меня.

— Да, это — Сотников, — подавленно отвечал я.

Я подумал о том, кто меня спрашивал. Лицо я узнал не сразу (оно не было освещено), сразу узнал голос.

— Чанский, — сказал я.

— К вашим услугам, — отвечал тот.

— Нет, знаете! — запротестовал вдруг Григорий. — В последние два часа мы с Неспаловым были неразлучны. К тому же он был болен. Он и сейчас болен. Так что какие могут быть *услуги*?!

— Ну, на сей раз в подозреваемых я как раз не нуждаюсь, — возразил Чанский. — Сейчас-то все вполне очевидно.

— Да? — глуповато переспросил Ердаков.

У Чанского, я заметил, беспрестанно оттопыривалась нижняя губа, будто бы у буро-рого медведя. Вот и теперь она была оттопыренною. Тут вдруг и наш «водопроводчик» с фразочкой подвернулся.

— Расходиться бы лучше, — обеспокоенно сказал он. — Здесь стоять — так только сарацин приманивать.

— Мы при исполнении, Саша, — возразил Чанский.

Тот согласно кивнул головой и исчез.

Луч прожектора сновал туда-сюда. Вот он выхватил группку людей в стороне от толпы. Взбудораженных, среди которых был человек вида пролетарского, заурядного, незапоминающегося. Немного нетрезвый, с разбитою скулой и в пальто, затертом здешнею штукатуркой. Двое повели этого человечка к нам.

— Ну, давай, — сказал человечку Чанский, — давай, Тимофеич, рассказывай!

— Мальчика... моего... — промедлив, начал тот, — «скорая» увезла. Весь в крови, и глаза в крови, но, доктор сказал, жить будет... Рука у *того* дрогнула! Это уж потом ребята мои сказали... мол, доктор сказал...

— Ты давай тут не про доктора! — прикрикнул Чанский.

— Старуха-то моя велела Димочке нашему за хлебом сходить. Другой бы спорил, а он у нас безответный: велели — оделся да и пошел. Десять минут его нет, пятнадцать — нет. Мать переполошилась и мне говорит: иди сыночка встречай. Я и пошел. По дороге ребят встретил, они пиво несли. Пригласили, значит. Ну, мы на лестнице сели да по пиву, так сказать... И только по второму разу пригубили, вдруг внизу дверь хлопнула. Я тут же: «Димка, ты, что ли?» И тут... визг! Такой... от него кровь стынет! Мы вскочили с ребятами, да вниз! Смотрим, там

Димочка лежит, весь скрючился, за грудь держится да головой об стену бьется. Судорожно так. Мы на улицу — а там этот бежит! Назад озирается. Один из ребят за старухой моей побежал. А мы за этим! Он так бежит себе и кричит: «Что? Что?» Раньше надо было думать: «Что?» Гаденыш! Он за угол, и мы за угол! Он бы, может, и убежал, да об кирпич запнулся, упал да, видать, ногу подвернул. С подвернутой ногой далеко не убежишь!

— Кирпичи! Кровь! — глухо повторяла Лиза.

— Он так вскочил, ощерился и давай на нас шилом махать! Я в него кирпич бросил, и ребята тоже по кирпичу, так мы его кирпичами и забили!

— А ребята-то где? — спрашивал Чанский.

— Убегли ребята мои! Ты, говорят, отец, тебе ничего не будет! А мы — люди посторонние! Нас привлечь могут! Тут уж и старуха моя прибежала, хотела со «скорой» вместе ехать, да только ее не взяли! Места, мол, нет!

— Ты опять про докторов начал?! — озлился Чанский.

— Я так просто! — смутился Тимофеич.

— И то, что ты — отец, тебя никак не оправдывает!

— Я понимаю! Я и ребятам сказал то же...

— Ты уж ребятами своими забодал, понял?! — огрызнулся следователь.

— Не мог! Не мог! — повторяла Лиза.

— Что? — тихо спросила Ольга.

— Не мог этого Сотников! Не мог! Он ничего не мог такого! Он вообще ничего не мог!

— Хорошо-хорошо! — сказала Ольга. Сестра снисходительности. Статуарные. Зерна и плевелы.

— Очень даже мог! — решительно отрезал Чанский. — Все могут!

Толпа тут стала немного напирать на нас. Я думал, я сегодня буду один, я думал, я буду сумерничать, я думал, я буду таинствовать. А вместо того погряз в стадной жизни, вместо того окунулся в постылое, угодил в сиюминутное и бесцельное.

— Ну-ка разошлись, разошлись! — громко говорил Чанский. — Здесь вам не бардак, здесь — расследование!

— Знаем мы такие расследования, — сказал кто-то.

— Самого бы сейчас за шварник да проверить, кто таков есть!

Чанский на то лишь усмехнулся, он был спокоен. Но губа его теперь оттопырилась сызнова, как-то так даже до неприличия. Меня знобило. Что-то в рассказе Тимофеича не сходилось, что-то не склеивалось, будто бы в плохом спектакле. Но я потерял нить. И вовсе не собирался ее искать. Пес бродячий, с мерзкою драною шерстью, пробежал близ человеческой толпы по одной из своих заурядных надобностей. Григорий под нос себе шептал что-то, быть может, новые вирши, этого я разобрать не мог. Григорий часто шепчет свои несуразные, нелегитимные вирши. Я смотрел и на пса, и на Григория, и на мелькающие световые следы прожектора, и на стены домов, и на Лизу с Ольгой, на Чанского же я смотреть избегал.

— Меня, что, посадят? — хмуро говорил Тимофеич.

— Нет, орден дадут, — отмахнулся Чанский.

— Им, значит, убивать можно, а нам обороняться нельзя?!

— Да, ты уж здесь наоборонялся! Дальше ехать некуда! — говорил следователь.

Все это должно теперь перемениться, сказал себе я, я не знал, как именно оно могло перемениться, но уж далее так продолжаться не могло ни минуты. Я бы, возможно, завыл, заорал, если бы все было в прежнем духе, упал в обморок или сошел с ума, я ожесточился теперь буквально до бешенства. Жемчуг сознательности. Простая природа.

— Я должен еще оставаться здесь? — едва разжимая зубы, спросил я у Чанского.

— Должны.

Со стороны Литейного подъехал санитарный фургон, почти без окон, с широкими колесами и низкой посадкой; в народе такой транспорт называют «труповозками». Лязгнула дверь, из фургона вышли трое в синих халатах. Гадливо и настороженно озираясь, они приблизились к нам. Кривоногие, как черепахи. Постояли немного, труп они не разглядывали, разглядывали толпу. Что им за дело было до трупа?! Трупом их не удивишь!

— Можно забирать? — спросил один из них у Чанского.

— А что на него смотреть? — отвечивал тот. — Уже не оживет.

— Я с ним поеду! — сказала Лиза.

— Вот еще! — возразил один из «синих халатов». — Живых на других машинах возят.

— Пусть она едет тоже, — тихо сказал я, стоя с головою полуопущенной. Я думал, меня оборвут, одернут, но меня никто не одернул, лишь переглянулись между собой; бесцеремонная троица. Группа задержки.

— Куда вы его? — спросил Чанский.

— В Большой драматический, — сказал «синий халат».

— У вас и морг там?

— Морг рядом — в типографии.

— Ладно, — сказал Чанский. — Вдову возьмите с собой.

Почему-то слова его возымели действие. Давно я не слышал слов, имеющих действие; обычно слова не такие.

— Так и быть, мадам, — усмехнулся старший из санитаров. — Поедте. В приятнейшей, можно сказать, компании.

— Может, мне с тобой поехать? — тихо предложила Ольга.

— Я сама, — ответила Лиза. — Это — мое.

— Трубы, — бормотал Григорий. — Я говорил... Трубы Страшного суда... Все в них, все в трубах! Неспалов, ты дашь мне на пиво?

— И не подумаю, — сказал я.

— Черт тебя возьми, мне нужно пиво! — сказал еще Ермаков. — Я вовсе не алкоголик, но пиво мне теперь нужно.

Сотникова уж возложили на носилки, накрыли какую-то вздорною тряпкой, вроде брезента, Лиза все подтыкала ее в ногах Сотникова, и понесли, понесли. К машине, оставленной за кирпичною кучей. И Лиза — сзади; от ее одинокой фигуры у меня заныло в груди, но это было лишь мгновение. И мгновение это было нелепым, недвижимым и будто заплывшим жиром. Давно уж не ставлю пред собою задач триумфальных, и, в сущности, ныне важнейшая из забот моих — достойная утилизация жизни. Воля-к-содроганию. Хор расстроенных нервов. Ад — это человек. Исключительность.

— А где Саша? — спросил у кого-то Чанский, ему не ответили, и он ответил себе сам: — Нет Саши.

— Ты домой? — спросила меня Ольга.

Я взглянул на нее с недоумением.

— Домой? — повторила Ольга.

Я хотел спросить у нее, что такое дом, слово не было длинным или сложным, но сейчас я не мог осознать его смысла. Губы Ольги стали размыкаться, чтобы задать тот же вопрос в третий раз, но тут уж ко мне подходили сзади... человек, которого я почти успел угадать спиной...

— Вы уже написали, Неспалов? — спросил тот.

— Что написал? — сказал я, вмиг повернувшись на пятках.

Предо мною стоял инспектор Шутко и руку держал козырьком подле глаз, прикрывая те от света прожектора.

— Вас сегодня просили написать кое-что, — укоризненно покачал он головой. — Забыли?

На мгновение я подумал о симфонии, но подумал ошибочно. Что-то стало всплывать, я уж почти вспомнил. Да, отчет; я обещал кому-то изложить все произошедшее со мной на бумаге, я только не мог вспомнить — кому. Шутко смотрел на меня и будто читал мои мысли.

Ныне меня никто не собирается пускать в свою жизнь, так, чтобы нам с ним срастись нашими корнями, духом, нервами, созерцаниями, смыслами, лихорадками, неуверенностями. Так же и я не пускаю никого в свою жизнь, на сходных основаниях. Быть может, это и называется миром. Мир — тотальная разрозненность, мир — всеобщая подозрительность, мир — великое небытие и неудовлетворенность.

— Да-да... — осторожно сказал я. — Этот... как его... Скарбез...

— Но только обязательно очень подробно, — сказал мне Шутко. — Где, когда, с кем, о чем... ну, и так далее!

— Я сделаю это, — сказал я.

— Хорошо, — ответил инспектор.

Я смотрел на него почти с отвращением и старался не думать про шило. В кармане моем лежавшее. Прямо под мою рукой.

45.

И снова был шнапс и сок лимона. Я сидел в кресле на кухне; надел на себя кофту грубой вязки, набросил на плечи плед, но все равно толком не мог согреться. И спиртное не помогало; я опьянел, но не согрелся. Идея сна должна созреть; моя же теперь даже не успела проклюнуться. Лингвистический променад. Сартрово пустословие. Держаться ли мне теперь за тихий алкоголизм мой? За робкую мою мизантропию? Стоит ли писать какую-то музыку в надежде, что мир окажется добр или снисходителен к моим несчастным каракулькам?! Я не люблю человека, и вот уж изрядно их вокруг меня пало по причине единственной моей нелюбви. Стоит ли перечислять?

Я уж почти убил свой ум, осталось совсем немного: расправиться так же с талантом. Это немного сложнее, но у меня должно получиться. Следовало бы, пожалуй, попробовать прямо теперь. Я стал пробовать это разлетом бровей, трепетом ресниц, игрою скул и желваков на них.

Вот я вздрогнул и голову поднял во внезапном и бесребренном своем полузабвении. Ныне возможная гибель моя уж никак не будет безвременной, при том количестве мысли и звуков, что породил я мгновенными своими изобретательностью и причудливым духом. Теперь уж я превзошел и отверг все скоропостижности и оборванные биографии. Мир мой — погост и изгнанничество. Стерто. Осмеяно.

В кухню вошла Ольга, и я снова вздрогнул. На душе моей была лишь тоска цвета электричества. Предо мною стоял включенный складной компьютер, я что-то собирался писать... что я собирался писать? — об этом должна меня спросить Ольга. Я знал, что она спросит, я многое о ней знаю.

Я старался с постели встать так, чтобы ее не разбудить, я ее и не разбудил. Она встала сама.

— Холодно, — сказала она.

— Да.

Она подошла ближе, прислонилась к моему плечу, я это выдержал, я это принял, я с этим согласился.

- Ты давно встал? — спросила она.
- Давно, — терпеливо сказал я.
- Все то же? — спросила она.
- Все то же, — сказал я.

Про «все то же» я пытался когда-то ей объяснить, сбивчиво, бестолково, невразумительно; «все то же» описано и в литературе, поминается во многих дневниках знаменитостей. В сущности, здесь нет ничего оригинального, это переживают миллионы. Но когда именно тебе не хватает воздуха, именно ты не можешь найти себе положения, именно твоя грудь страдает невозможностью ее дальнейшего расширения, тут уж нужны какие-то особые методы, какое-то чрезвычайное презрение к своей жизни, вот я и старался отыскивать такое презрение, я и старался строить его, укладывать его основания, возводить его стены, громоздить его стропила, водружать его кровли, коньки и купола. Но получалось отнюдь не всегда. Ночь — предательница! Следует вообще опасаться ночи! День, конечно, тоже себе на уме, но ночь лжива и беззастенчива, ночь сразу берет за горло и выматывает душу, ночь ввергает в исступления и отчаяния. У ночи особый состав, особенное предназначение и чрезвычайный градус. Она губит и топчет, она богатыря превращает в мразь, в слизь, в слякоть, в отходы. Что уж тогда говорить о простых индивидуумах! Впрочем, простым, быть может, как всегда проще. Простых есть царствие небесное, простых есть юдоль земная, повседневная, обыденная. Я тоже всегда стремился сделаться простым, но у меня никогда не выходило.

- А ты что? — спросил я.
- Воды хочу.

Я исторг из себя какое-то междометие, Ольга отстранилась, налила из чайника воду, стала пить. Я наблюдал за этим утолением жажды. Я наблюдал с обратной пристальностью. Бесцветное действие. Женщина и вода. Миротворство. Упорядоченность.

- Что ты пишешь? — наконец-то спросила она.
- Только собираюсь, — сказал я. — Отчет.
- Это то, что тебя попросили сделать вчера? — еще спросила Ольга.
- Разве это было вчера? — удивился я.
- Ты придешь?
- Позже, — сказал я. — Не знаю. Писать стану.
- Приходи, — сказала Ольга.
- Да.

Ольга вышла. Я посмотрел на голубые огни конфорок, газ сгорал, ворча и подрагивая. Я придвинул компьютер поближе, размял пальцы, хрустнул суставами, будто бы собирался на рояле играть что-то виртуозное, невообразимое и величественное, подумал мгновение и начал писать.

46.

Я обречен на то, чтобы жизнь моя не состоялась, чтобы судьба моя замерла. Я обречен на самую обреченность. Только так, никак иначе; что-то меньшее будет не просто недостаточным, оно будет лживым, оно будет лукавым. Значит ли это, что я не лукавлю теперь, да и всегда? Нет-нет, лукавство гордо гнездится в моем арсенале, оно, быть может, и вообще — господин души моей, акустической души моей; но если теперь, взирая с высоты прожитых лет и превзойденных обстоятельств,

я думаю о своей обреченности, значит, по-видимому, это и есть едва ли не единственное из позитивных моих достояний. Sic!

Что ж, мне теперь следует понять, как оказался я в нынешнем моем положении. И писать мне следует именно о том, ничего не скрывая, нимало не лукавя, ни пред собой, ни пред бумагой, ни пред казенными моими попечителями. Впрочем, истребители они, а никак не попечители, истребители духа моего, смысла, сознания и благополучного тонуca. В сердце моем есть темный угол, где лишь — брань, негодование, дух недобрый да кровь порченная.

Итак, два происшествия, одновременно обрушившихся на меня, не дававших мне опомниться. Во-первых, симфония, заказанная у меня при обстоятельствах странных. Худбин. И, во-вторых, еще эти загадочные убийства, уголовный розыск, острые предметы, шило в кармане моей куртки (я не стану утаивать и его), новые люди: Шутко, Чанский с оттопыренной его губой, Скарбез. И еще «водопроводчики», и Григорий с Сотниковым...

Меньше рассуждай, больше записывай!..

Возвращаясь к пункту один... Что же важного в симфонии? Мало ли написано музыки, в том числе и великой?! Предположим, я бы все же стал писать, и вышло что-то грандиозное. Причина ль это для трупов, для убийств? Для волнений Худбина, для истерик Сотникова, для странных осведомленностей Лазаря Бета (то бишь — Григория), Гольдфарба и всех прочих. Нет, здесь дело в чем-то другом. И что все-таки мне делать с этим: «...судьбы страны и человека, отраженные средствами музыкально-драматического языка в наше трагическое и величественное время». Какие судьбы страны? Какие судьбы человека? Что здесь за интрига? Интрига, в которую замешано и само государство, и его первые лица, никак не меньше, если верить намекам Альфонса. А я вовсе не склонен ему не доверять. Альфонс!

Быть может, я должен угадать даже не то, что от меня ожидают, но — некоторое странное и немыслимое событие, что, в свою очередь, должно еще произойти, и моя музыка тогда могла бы быть обрамлением оногo. Она могла бы быть основанием его, вдруг подумал я. Возможно, я и призван для того, чтобы дать такое основание. Возможно, нашим сильным мира сего необходимы такая поддержка, такое подкрепление.

Ныне же мне нужно, да, мне нужно испещрить буквами никак не менее двадцати бумажных листов. Дабы соблюсти должную меру подробности, как я понимаю теперь оную.

Черт знает в чем я, к примеру, подозреваю Шутко. Хотя в целом он мил, по-своему обаятелен, и ему, наверное, во многом можно довериться. А водопроводчики? Нет, здесь пока больше вопросов, чем выводов.

Из моего положения не существует никакого разумного выхода, обыденное же для меня слишком нестерпимо.

Человек есть симулякр. И жизнь есть симулякр. И все божественное есть череда симулякров, вереницы обманок, пугал и жупелов. Миру и поделом! Следует поразборчивей быть в поиске костылей, протезов, подпорок, арматур, молитв и иных заклинаний.

Немного спутали мои карты Гольдфарбы, муж с женою, нет, не они сами, а только их внезапные смерти. Черт побери, они не имели права погибать так внезапно! Столь внезапно, что в смертях их не успело образоваться ничего поучительного. Ничего назидательного. Ненавистничество бодрит, еще сказал себе я. Лучшее средство от меланхолии — мизантропия.

И все ж особый предмет моих рассуждений — шило. На этом пункте, пожалуй, возможно и сломаться. Стало быть — оный следует отложить. Само же оружие —

непрерывно держать под руками. Без гордости, без фанаберии и чистоплюйства, все время — в кармане, и разговор кончен! <...>

Ольга... Что-то и в ней скрывается необъяснимое. Но разгадка оного меня, пожалуй, пугает более всего. Более даже, чем... Лиза! Черт побери, Лиза!

47.

Я обречен также и на неумение высказать себя. А вы умеете высказывать себя? Если так, значит, вам и нечего высказывать, вы слишком поверхностны и бессодержательны, что бы при том вы ни воображали о себе. Подлинное человеческое невысказываемо, язык человека слаб и недостаточен. И все-таки ночью я забыл кое о чем. Старался не забыть, но все же забыл.

Я стал собираться, когда еще не рассветало, в восьмом часу. Ольга еще не вставала, хотя обычно просыпается рано. У нее уроки, ученики, упражнения, сольфеджио, пассажи, мелкая техника; я удивляюсь ее усидчивости.

Я умылся теплой водой, которую согрел в кастрюле.

Ночью я исписал десяток страниц. Было ли написанное корявым и бестолковым, или оно было величественным — этого я теперь не знал и знать не хотел. В любом случае я ничего не объяснил, а скорее всего, так даже запутал.

С чрезвычайными предосторожностями я вышел из квартиры и дверь за собою затворить постарался бесшумно. После минуту стоял на площадке, силясь уловить чьи-либо дыхания на других этажах. Я не услышал никого и ничего, кроме собственного дыхания, и на цыпочках стал сходить по пустынной лестнице.

Этажом ниже я снова застыл и прислушался. И тут вдруг дверь в метре от меня стала приоткрываться. Я отшатнулся и ошетинился. С бьющимся сердцем. С осиновою бесцельностью. Во избежание. Лицо Регины Злобиной показалось в дверном проеме.

— Неспалов, — хриплым просоночным шепотом говорила она.

— Доброе утро, — прошептал я.

— Вы что, уходите?

Я помолчал мгновение.

— Да, — говорил, — имею такое намерение...

Дверной проем расширился.

— Ой, что вы! — всплеснула руками Регина.

— А что, собственно?

— А вы написали уже? — сказала женщина.

— Что написал?

— Ну, этот... — сказала женщина, — ваш отчет.

— Начал его писать.

— Мне тоже велели написать. Я тоже только начала...

— Ну и на здоровье! — недовольно говорил я.

— Нет-нет, не на здоровье! Мне тут сказали вчера: увидите Неспалова, так передайте, что ему лучше бы вовсе со двора не выходить, пока он не напишет отчета.

— Кто вам сказал такое? — вскричал я.

— Да вы не обижайтесь, Мирослав, — примирительно говорила Регина. — Здесь нет ничего особенного. Да вы видели этих людей.

— Каких людей?

— Водопроводчиков...

— Так это они вам сказали по поводу отчета?

- Это неважно... Один из них... — в смущении сказала женщина.
- Наверное, Саша?
- Нет! Саша — хороший человек, но он еще молод и потому несколько легкомыслен. Его товарищ даже специально считается у них за старшего. Его зовут Аскольд...
- Аскольд?
- Он сказал мне, что им очень нужно, чтобы в нашем доме у них были надежные люди. На нашей лестнице.
- Надежные? — с аспидною насмешливостью вымолвил я.
- Ну да, надежные, — простодушно подтвердила Регина. — Аскольд мне сказал: «Я уверен, дорогая, что мы можем всегда на тебя положиться».
- Ну, а я уверен, — сказал я, — что вы не обманете его доверия.
- Не смейтесь, Неспалов! Все это очень важно! Они ведь защищают нас. Они всегда рядом. Они видят нас и готовы прийти к нам на помощь. Но они будут бессильны, если и мы не поможем им, если будем иронизировать, если будем отказывать в самых простых просьбах. Мне объяснили, и я хорошо поняла это.
- Так что ж, я теперь под домашним арестом... у этих ваших «водопроводчиков»?
- Ну что вы?! Кто же может вас арестовать? Хотя бы и по-домашнему?
- Стало быть, я пошел?
- То есть как это пошли? Как вы можете, Неспалов?! — укоризненно говорила Регина.
- А если у меня дела?! — черт побери, я, кажется, перед нею оправдывался.
- Важные дела, Неспалов?
- Важные.
- Но ведь и отчет тоже важен! — задумалась женщина. — Настоятельно просили написать его как можно скорее. Настоятельно! Что же это будет, если мы... сознательные жильцы нашего дома... будем безответственны?
- Я сейчас пойду по своим делам, а потом вернусь и сразу все напишу, — сказал я. — Вернее, допишу.
- Да вас... — протянула Регина.
- Что — меня?
- И не выпустят, должно быть...
- Кто не выпустит? Водопроводчики?
- Ну... может, и не сами. Там, внизу... раз вы не написали отчета, так могут и не выпустить. Прямо морока с вами какая-то, Неспалов! Симфонию вам заказали — вы ее не пишете! Теперь и с отчетом то же самое! Вы как ребенок, честное слово!
- Отчет я пишу! — крикнул я.
- И где же он? — хладнокровно спросила Регина.
- Будет, — твердо сказал я.
- Когда? — спросила женщина. И, плотно сжав губы, пристально взглянула на меня.
- Сегодня, — сказал я.
- Хорошо! — строго сказала Регина. — Идите и пишите!
- Да, — сказал я.

48.

Разумеется, я лгал. Я и сам знал, что лгал. Отчет я, раз уж пообещал, конечно, напишу, но, во всяком случае, не теперь. Я лишь категорически против того, чтобы считали, что с симфонией и с отчетом у меня «то же самое». И потом, черт побери, я вовсе не доверял водопроводчикам, я совершенно не обязан им доверять. И тем более я не обязан их слушаться.

Я поднялся на свой этаж и открыл дверь. Ольга уже встала, я встретил ее в коридоре. Если уж жизнь дана невозможною и неудобоваримою, так необходимо до исхода ее с нею по квитаться как следует, сказал себе я. Силою смысла своего по квитаться, энергией своих негодования и нетерпимости. Пока отложить и обдумать. Вчерне. Наобум.

— Уходишь? — спросила Ольга.

— Да, мне надо.

Я собирался на кухню и не хотел, чтобы Ольга пошла за мною. Я мельком глянул на нее и сразу отвел глаза. Ольга, кажется, поняла и ускользнула в гостиную. Вздернутый на дыбе дней. *Сызновствую*. Да ведь и впрямь: что есть день сей? Совокупление *вчера* и *завтра*, мерзкое совокупление. Триумф безволия и бесхребетности. Шило в новых его «ножках» покоилось в правом моем кармане. Ночью я не бездействовал.

В кухне я намочил платок водой, отжал его и прямо мокрым засунул в левый карман. И еще взял ключ от чердака (правый карман!); Ольге лучше бы не видеть ни того, ни другого. Ей бы лучше не ведать жуткой моей предусмотрительности.

— Закрой, — после попросил я Ольгу.

— Ты надолго?

— Не знаю, — кротко сказал я.

Никто не имеет права на мою жизнь. Даже Бог. Особенно — Бог. Про Его заурядных подчиненных ныне я даже и не вспоминаю. Дух декоративный. Музыкальные метастазы. Довольно!

Я знал уже, что наверху, на этаже Гольдфарба никого нет, Регину же я не боялся. С Региною одно лишь досадное, досадного же не следует бояться, бояться следует губительного. Взглянув на опечатанную дверь Гольдфарбов, я стал взбираться по железной лесенке, пока не уперся головою в прямоугольный люк с крышечкой, запертой на ключ.

Три поворота ключа, и тут я почувствовал запах. Он был ужасен, он был омерзительен, меня едва не вытошнило.

Набросив на лицо прохладный мокрый платок, я вступил в чердачную полутьму. В стороне с шумом метнулась пара тощих, злых голубей, я вздрогнул и, весь скрючившись и пригнув голову, поспешно зашагал прочь от люка и от нестерпимой вони. Дом наш велик, в три двора, и, если знать верное направление, по чердаку можно уйти до Литейного.

В одно из мгновений мне вдруг показалось, что я вижу тело девочки десяти лет, лицом вниз лежавшей возле трубы отопления, ныне холодной. Будто бы свет, рассеянный и промозглый, исходил от этого места, от щуплого тела в пальтишке, свет или какая-то иная из неуловимых энергий. Магнетизм места. Я встряхнул головой и содрогнулся. Видение исчезло.

Слишком много недоразумений и нелепостей восходит на русской земле, сказал себе я. Быть может, вообще все возможные в мире недоразумения и нелепости восходят на ней. Судьба такая, что ли, ее — быть рассадником ничтожного и недостоверного, всего такого, от чего душа лишь отшатнется и возмутится, от чего разум лишь покоробится, придет в негодование, погрязнет в скорби и неудовлетворенности?

Я был нелеп, я был вдохновенно нелеп, пробиравшийся по этому гадкому чердаку, в отрочестве я нередко залезал сюда и что-то здесь еще помнил. И пыль помнил, и духоту помнил, и замысловатые сплетения труб, и хруст керамзита под подошвами, и слабый свет мутных слуховых оконцев.

Пропать, вдруг пропать без вести в недрах жалкого народа своего, сказал себе я. Скудного и безжалостного народа своего. В недрах наречий его и недогово-

ренностей. В недрах недомыслий его и насмешливостей. Что может быть лучше? Что может быть великолепней? Впрочем, мне соединиться с прочими людьми ничуть не проще, чем ртути с водой, я всегда это знал.

Через пару минут я и обнаружил незапертый люк на лестницу и слегка подивился своей догадливости. Сколько сюрпризов и неожиданностей в моем доме! Жизни не хватит, чтобы узнать и осмыслить их все. А сами вы не в таких ли домах живете? Все ли вы знаете о домах своих, об их замысловатых насельниках, квартир-осъемщиках и постояльцах? Мир сей — дом грандиозности, и двуногие и иные млекопитающие изрядно испещрили его неудобоваримостью.

Холодный воздух Литейного опалил меня. Я поежился и поднял воротник. Я подумал, что лучше выйти на Кировую или на Бассейную, чтобы поймать там машину, но неожиданно мне повезло. Сомнительного вида драндулетец остановился сам собой на пути моем, когда я собирался переходить проспект. Я не раздумывал. Денег у меня с собой было немного, но водитель не слишком-то и запрашивал. Потому я тут же примостился на переднем сиденье, засунул руки в карманы куртки и стал медленно согреваться.

Когда же тонкие да пронизательные придут вслушиваться во всякий мой записанный (или только замысленный) звук? Сколько смогут услышать, сколько смогут прозреть они! Как много они смогут удивиться, восхититься, ужаснуться, возрадоваться пред лицом моих неумных мотивов, пред строгою поступью моих звенящих хоралов, пред лихорадкой моих скерцо, пред пряною терпкостью вальсов! Впрочем, есть ли вообще в мире такие? Боже, есть ли еще в Твоем мире чуткие и взыскающие? Не извелись ли, не истратились ли? Не зарылись ли в свои обывательские норы? Не погрязли ли в своих простодушных трясилах, не умалились ли в своих скудных логовах? Чье сердце ныне способно к боли и изумлению? Чья грудь способна к восторгу и трепету?

На заднем сиденье вдруг стало что-то шуршать, скрестись, и через мгновение я ощутил, как некое животное поставило лапки подле моих плеч, и еще тихое, поспешное дыхание я ощутил на своей шее. Я быстро обернулся. Подвижная, любопытная мордочка крупного хорька была прямо около моего лица. Хорек спрыгнул обратно и беспорядочно заметался по заднему сиденью.

— Он не кусается, — сказал мой водитель.

— Ага, — сказал я.

— Вася, сиди тихо! — прикрикнул мужчина на ручного своего грызуна. Но Вася не послушался хозяина и заметался лишь еще беспорядочнее.

49.

За Балтийским вокзалом мы долго пробирались неизвестными мне улочками. Старопетергофским проспектом лучше не ехать, объяснил мне водитель — небезопасно. Хорек утихомирился и, кажется, даже стал придремывать. Иной раз ни с того ни с сего расхристанная душа моя полнится чем-то торжественным, псалмопевческим. Быть может, это следовало бы посчитать даже каким-то синдромом, перечень описанных синдромов ныне далеко не полон. Что ни человек — то особенный, отдельный синдром, а возможно, даже и не один. Патология — знамя двуногого во всяком заурядном его обиходе, сказал себе я.

Дом Лизы стоит в двух шагах от Екатерингофского парка и от грязноватого канальца, именуемого Бумажным. Место жуткое, разночинное, не без следов прежнего полублагородства, ныне давно утраченного. И полубосячества, давно накоплен-

ного. Я поднялся во второй этаж и прислушался, замерев подле двери. Я вдруг угадал, что Лизы нет дома. Странно, куда бы ей деться в такое время? — подумал я, нажимая кнопку звонка. После я снова прислушивался. За дверью было тихо, но я что-то угадывал — человеческое тепло или дыхание, никакой тишине меня было не провести.

— Соня, — тихо сказал я.

За дверью застыли, замерли, притаились более прежнего.

— Соня, открой, — еще тише говорил я. — Ты же знаешь, кто это. У тебя тоже хороший слух, и ты узнала мой голос, не правда ли? — я помолчал. — Ну, хорошо, давай сначала. Соня, ведь это же я, твой отец. Я — Неспалов, и ты тоже Неспалова. Я, признаться, не ожидал, что мамы не будет дома. Ведь ее нет, так? Да я и сам это слышу. Соня, черт, почему мне приходится тебя уговаривать?! Открой!

— Не могу...

— Почему? Я — твой отец, я хочу видеть тебя.

— Ты не отец...

— А кто же?

— Ты... только прикидываешься... А так ты... волк серый, ты съесть меня хочешь! — наконец говорила Соня.

— Это ты сказок начиталась! Серые волки не ходят по домам и не едят девочек. Ты знаешь мой голос, не так ли?

— Ты — волк, ты подделал голос отца, ты отца съел, и вот его голос подделался.

— Соня, открой мне, пожалуйста, я хочу рассказать тебе... про волков... и про симфонию. Меня попросили ее написать — такую, что если ее раз сыграть... то все серые волки сгинут... или, наоборот, расплодятся и на волю выйдут... не знаю... в общем, что-то должно было произойти... и все маньяки тоже... есть такое слово... Я начал писать, но потом... остановился. Я понял, что страшное произойдет, если я ее напишу. А если не напишу — тоже. Иногда музыка непосредственно связана с воплощением. А вчера вечером я видел твою маму, и еще... Сотников... дядя Виталий... с ним случилось нечто ужасное. Он писал ту же самую симфонию. И многие еще писали! Ты не знаешь, он писал симфонию?

— Писал, — шепнула Соня из-за двери.

— Ну вот, теперь ты понимаешь, что я — отец. Серый волк не может знать про симфонию? Он может только про мясо, про козлов, ягнят и барашков... А еще я сейчас на машине ехал, и там хорек был на заднем сиденье. Ты видела когда-нибудь настоящего хорька?

— Ты как мама: ты зубы заговариваешь.

— Нет, я просто не знаю, что делать, и поэтому плету бог знает что, — потерянно сказал я.

Что это вообще было? Казалось, Соня — маленькая нечеловеческая машинка, зомби, механическое существо, запрограммированное на отрицание. Откуда в ней такое железобетонное упрямство?!

— Ты не хочешь меня видеть? — сказал я.

— Волка видеть не хочу!

— Мама вчера поздно вернулась? — перевел я разговор на другое.

— Нет...

— Не поздно?

— Не вернулась...

— Что?! — вскричал я. — Ты всю ночь была здесь одна?

— Не одна: волки приходили — в дверь скреблись...

— Соня, кто приходил ночью?

— Я сидела и боялась.

— Почему ты мне не позвонила? Я бы сразу приехал.

— Потому что тебя нет.

— Ну, хорошо, я сяду сейчас на пол, — я действительно опустился на пол, — и буду сидеть долго-долго, — сказал я. — Если я тебе буду нужен, ты откроешь. Если нет, мы можем говорить с тобой через дверь. И еще я буду защищать тебя от всех. И от волков тоже.

— Ты сам — волк-отец.

— Боже... — прошептал я.

Внезапно этажом ниже хлопнула дверь. Я прислушался к медленным, тяжелым шагам вниз.

— Лиза, — сказал я. И потом повторил: — Слышишь, Соня? Мама идет.

Через минуту и впрямь появилась Лиза, она взглянула на меня отрешенно.

— Зачем ты здесь? — сказала она.

— Соня всю ночь оставалась одна, она боялась, — с упреком говорил я.

— Я тоже одна. Я тоже боялась. И боюсь.

Лизу нельзя было назвать пьяной, но ночью она пила, это точно. Да и утром, видеть, тоже.

— Где ты была? — сказал я.

— Там... — сказала Лиза.

— Где — «там»?

— Должна же я была с ним проститься! Должен же был с ним проститься хоть кто-нибудь! Вы умеете только убивать! А вот чтобы хоть кому-нибудь из вас научиться прощаться, — Лиза махнула рукой и полезла в карман за ключом.

— Соня так и не открыла мне.

— Я так велела.

Ключ в скважине застыл, Лиза молча смотрела на меня.

— Могу я зайти? — спросил я.

— Разумеется, нет.

— Соня... она была одна. Может, что-то надо сделать для вас.

— Надо! Уйти, — сказала Лиза.

— Черт побери! — сказал я.

— Черт здесь ни при чем! — сказала Лиза.

Я молча повернулся и пошел прочь.

50.

На улице я все еще клокотал и потому почти не заметил холода. Но тут же не обошлось и без некоторой нелепости. Я будто причастился нелепостью. *Allegro scherzando*. Я шел в сторону площади, как вдруг поодаль краем глаза углядел человечка, шагавшего мне навстречу. Тот как-то так заметался и вдруг шмыгнул под арку дома. Злоба охватила меня, хоть я пока и не понял отчего. Я метнулся за ним и тоже заскочил во двор. Человек стоял, отвернувшись к стене. Одет он был в богемное пальто кремового тона, с малиновым шарфом вокруг куриной шеи, и еще — неопишутые, залихватские штiblеты, похожие на парусники.

— Григорий! — заорал я, хватая его за плечо и с силой разворачивая к себе лицом. — Ты теперь скажешь, что и это случайность?!

— Что ты шумишь? — смущенно говорил тот, отводя мою руку. — Никакая не случайность. Я, конечно, не ожидал тебя здесь встретить. Вдова сама просила меня помочь, поддержать, успокоить. Ты-то ведь не способен поддержать и успокоить,

а я могу. Черта такая во мне имеется. Сочувственная! Опять же, как не посодействовать такой аппетитной женщине! Ты-то — чурбан бесчувственный и не замечаешь, а ведь твоя жена... бывшая... весьма аппетитна! Ну, ты не будешь ведь собакой на сене, не правда ли, дорогой мой?

Я помолчал немного.

— Сама, значит, просила?

— Сама! Женщины чувствуют, когда кто-то к ним, так сказать, с сочувствием. Ну, так что, Неспалов? Благословляешь на подвиги? По обоюдному согласию, разумеется.

Что-то гадкое, ожесточенное, возмутительное взросло на моей душе, я смотрел на Григория и старался не подать о том вида, он же улыбался жалко, заискивающе.

— Иди! — наконец сказал я Григорию.

— Слушаюсь, мой генерал! — с шутовскою мелкостью говорил он. Повернулся и стал уходить. Но потом воротился вдруг и сказал:

— Сотникова сегодня хоронят. Ровно в четырнадцать автобус от Дома композиторов пойдет. Ты будешь?

— Почему сегодня? — сказал я. — Отчего такая спешка?

— Вечером привезли, ночью вскрыли, днем закопают — все нормально. Нет, ты прав, конечно. Странная спешка! Будто избавиться поскорее хотят. Покойников теперь много, иные по неделям очереди дожидаются.

— А Лиза мне ничего не сказала, — протянул я.

— Может, расстроена была да забыла. Впрочем, разве поймешь этих вдов? Этих женщин? Так ты будешь?

— Не знаю! — сказал я.

— Решай! — с некоторой даже торжественностью говорил Григорий. — *Au revoir!*

Взмахнув своим малиновым шарфом, Григорий стал удаляться. Из двора я вышел за ним следом, и мы тут же разошлись в разные стороны.

51.

Чертов Григорий! После него я мог только о том и думать. Ехать ли мне на похороны Сотникова? Или все-таки нет? Коротко говоря, альтернатива следующая: и ехать нельзя, но нельзя и не ехать. Идеально, чтобы решение за меня приняла Лиза (вдова), но я не мог просить ее, чтобы она сделала это. С Сотниковым меня связывало многолетнее приятельство, в последнее время, впрочем, сошедшее на нет. Когда-то он дирижировал моими «Струнными рабелепствами» и «Маленьким музыкальным магнетизмом» и еще несколько раз исполнял мои «Крамольные квартеты», у него тогда был свой камерный оркестр. И была Варшава, и четыре города в Германии. С тех пор много лет минуло, мы изменились, мир изменился, меж нами бывали охлаждения и рецидивы приязни, он сошелся с Лизой после нашего с ней развода, но отчего-то вдруг сбрендил в последние дни.

Но все это никак не объясняет вчерашнего. Вчерашнее — загадка. Может, в Сотникове и раньше таилось сумасшествие и теперь только вырвалось наружу?

Я расположился в баре на Вознесенском проспекте, здесь можно было немного согреться, да и до Дома композиторов, в случае чего, не так далеко. Автобус пойдет через три часа, но вот буду ли я в этом автобусе — еще вопрос. У меня с собой была распечатка моих ночных записей и еще несколько чистых листов.

Я быстро просмотрел последние страницы. Черт, пожалуй, все это было скверно и не слишком убедительно. Даже себя самого я бы не мог убедить своей писаниной. В том числе и пресловутая моя обреченность, которую я принял за точку отсчета, она как-то ускользала, расплзалась, теряла форму под пристальностью моей ис-

пытующей иронии. И еще этот Шутко... с него, если не ошибаюсь, все и начиналось... да нет же, что — Шутко?! Я изначально не сумел оценить глубину взаимосвязи всех людей и событий.

А если попробовать зайти с другой стороны? Маньяк. Шило. Убийства. Он ходит где-то рядом с моим домом, иногда вторгается в мой дом и, свершив свои ужасные злодеяния, исчезает бесследно. Но исчезает *вне* или *внутри*? Он один или у него есть сообщники? Что движет им — расчет или обыкновенная умалишенность, помраченные извилины? Но разве могу я что-то в том угадать? Да и мое ли это вообще дело? Мое дело — сочинять звуки, сплетающиеся в мозгу моем, в груди моей, причудливо и удивительно, незаконно и бриллиантово. Мое дело — населить мир музыки новыми молниями и кунштюками, новыми раскаленными опусами, новыми необъяснимыми формами и альянсами, метаниями и неистовостями. А между тем в последние несколько дней я не написал ни строчки. Три дня — точно! Хотя в уме моем бьется и лихорадствует многое. Половина моего беспокойства имеет причину неисторгнутые мелодии. Другая же половина мне пока не понятна, ее следует еще изыскать в недрах моего бесноватого, чрезвычайного мозга.

Я весьма мало смыслю в мире и в современности. Кто-то с кем-то воюет, какие-то там сарацины, муниципалы, альтернативщики; говорят о новых инициативах, ультиматумах, окриках и угрозах ничтожного спесивого Запада — все для меня пустые звуки. Бог не дал мне практической жилки, зато возбудил во мне метафизический нерв, возбудил до боли и воспаления. Иногда надмирное для меня обыкновенней обыденного. Странное же я существо; так мало во мне буквальной и объяснимой пригодности к жизни.

Я заказал чай и, пока тот несли, быстро строчил свои каракульки. Письмена мои, похоже, были вполне бессвязными, я ничуть не беспокоился о том и даже радовался тому, я положил себе по возможности насмеяться над своими мучителями, а таковыми были, кажется, все. (Включая и меня самого, разумеется.)

Но вот только еще — деньги! Они на меня навевали угрюмость. Если здраво рассчитать, то их могло бы хватить дней на пять-шесть, в самом лучшем случае — на десять. Аванс, полученный за симфонию, был отдан Лизе и потом пропал таинственным и нелепым образом. Должно быть, по вине Сотникова. Больше никаких денежных поступлений в ближайшее время я ниоткуда не ожидал. Черт возьми, еще бы тут не быть угрюмости! Занять денег мне практически не у кого: отношения мои с коллегами оставляют желать лучшего, к тому же я слишком уж горд и не занимаю деньги никогда. В последние год-другой я сам оборвал немало контактов, которые могли бы теперь принести мне какие-нибудь гастроли, какие-нибудь поездки и ангажементы. И еще... странная какая-то история с этими авансами, розданными налево и направо Худбиным за одну и ту же симфонию! Это, если разобратся, вообще ни в какие ворота!

Интересно, сможет ли Скарбез извлечь что-то полезное из моих записок? Постараюсь, чтобы это оказалось невозможным. Принесли чай в стеклянном чайнике. Про чай непременно следует написать. Чай — хороший противовес моей едкости. Моей деструктивности. Отныне я стану покладистее, оставлю на время свои жаропонижающие ехидства, говорю себе я, свои легированные негодования. За окном, в сторону Садовой, едут тяжелые военные грузовики — зловещая вереница. Мы смирились, свыклись с присутствием этой ежедневной опасности, мы обрели безразличия к нашим участям; впрочем, не все и не всегда.

Итак, еду ли я? Да, возможно. И даже — наверное. Я буду непроницаем и высоковольтен, сказал себе я, но в оставшееся время я, пожалуй, могу еще привести в порядок некоторые мои мессиджи.

Я спросил еще водки и стал пить ее вперемешку с чаем. Русский коктейль. До моего испытания человеками, посторонними человеками, оставалось какое-то время, и я надеялся распорядиться им с толком.

Первая стопка водки показалась мне непримиримою. Гортань моя даже возмутилась от прикосновения этой прохладной, задиристой жидкости. Все наши тенденции требует особенно настойчивых поруганий, сказал себе я. Но вместе с тем я противился постороннему проникновению горделивого духа, искажению обыденного состава привычного естества моего. Двунogie вообще подмяли под себя весь мир, все пространства, все смыслы, все территории; птица в полете, в ее звонком полете, прозябает в стремительности, задыхается от взрывчатых мгновений своих, и все же она летит с оглядкой на происки хозяина мира — двуногого, который разделяет и расточает, синтезирует и совокупляет — и все равно властвует. Всякий вздох его — вздох власти, неистовой, безобразной власти. Всякий шаг его — шаг бессилия и обескураженности, шаг безнадежности и громогласного фиаско. Поверженности. Опустошенности. Агент бездействия. Глорификация. Страна инея и измороси.

Сотников! Сотников!

52.

Было уж двадцать минут третьего, когда я подошел к хорошо известному мне помпезному особняку на Большой Морской. Я нарочно опоздал; если автобус уйдет, я не слишком стану от того переживать, решил я. Но автобус все еще стоял. Подле раскрытой его двери озабоченно топтался пожилой одышливый толстяк С., директор Дома композиторов, с серою повязкою распорядителя похорон на руке пальто.

— Неспалов! — всплеснул руками С.

Я смотрел на него и сквозь него, коротко кивнул головой, чуть правее стояли еще двое оперных теноров, один — какой-то саврасый, а другой — весь из себя мышастый, оба они поклонились мне, с некоторым даже заискиванием, кивок же мой был ни в сторону С. и ни в сторону саврасого с мышастым, но в пространство меж теми. Нет, я никого из них не презирал, конечно. Если вдуматься, я вообще никого из людей не презираю, но, скорее, напротив: робею, тушуюсь пред их определенностью, пред их обыденным самосознанием, пред обыкновенною их уверенностью в своем неотъемлемом праве топтать почву, праве жить, дышать, получать всевозможные блага, занимать место в социуме — для меня же все эти права неочевидны. По мне, так их надо еще и доказывать. Вот такая-то неочевидность прав и отличает меня от всех человеков. Но неочевидность неочевидностью, а все же я весьма многое и не спускаю двуногим. Не спускаю себе, но им — в особенности!

— Вот ведь как, значит! — будто бы цесаркою захопотал директор. — Что творится вокруг! В какое время встречаемся... и по какому поводу... А Лиза... Елизавета Модестовна... вдова то есть? Где же вдова? Будет вообще? Не знаете, дорогой мой? — спохватился вдруг С. — Ее одну и ожидаем. А то уж темнеть скоро будет!

Я в это время пробирался бочком между директором и двоими внезапно подступившими тенорами, делать это было не слишком удобно и, быть может, оттого ответил с изрядною холодностью:

— Если бы это была моя вдова, я бы, наверное, знал определенно.

Худший ответ и вообразить, наверное, невозможно. А я как раз входил в автобус; увидев меня, все замолкли на мгновение, и фразу мою, уверен, слышали все. Десятки глаз впились в меня.<...> Я разобрал хомячий профиль какого-то молодого че-

ловечишки. Профиль показался мне знакомым, хотя самого человечешку я не знал, в последнее время я все меньше знаю ваших человечешек. Через мгновение я вспомнил, что видел его на Моховой, у себя под окнами, в сотниковской своре. Стало быть, это тоже музыкант, я тогда не ошибся. Ему бы пошел собачий ошейник, быстро думаю я. Чуть далее я увидел еще одного из той своры. В другом ряду были знаменитости, дирижеры оркестров, среди них даже сам Г., солисты, директор консерватории, профессура, наш брат-композитор; чьи-то руки тянулись ко мне, едва ли для рукопожатий, а впрочем, может, и для таковых. Но я все шел и шел по проходу, будто не замечая ничьих рук, в глазах у меня вдруг стало темнеть, я судорожно схватил ртом воздух, будто в последнюю минуту жизни моей, и прояснилось немного, поправилось что-то в недрах моего мозга, ухватистого и необычайного моего мозга, далее оставалось еще несколько свободных мест, вот я и стремился теперь к оним. И наконец, обессиленный, плюхнулся в кресло в хвосте автобуса.

Еще полминуты длилась тишина, вызванная моим появлением, потом снова стали просачиваться отдельные звуки, обрывки фраз, даже смешочки, завязывались светские беседы. Один филармонический дурак отпустил какую-то шутку, легковесную и скоротечную, наподобие пунша. Смысла шутки я не понял.<...>

В автобус зашли и С., и саврасый с мышастым, С. для чего-то стал пересчитывать всех по головам. Я сидел подле концертмейстера из Мариинского театра, тот потел, сопел, раздувал щеки и всячески волновался.

— Сотников... — бормотал он. — Кто бы мог подумать? Эх, Сотников!

— Что — Сотников? — спрашивал я тихо, но неприязненно.

— Говорят, Мирослав, он пил в последнее время.

— Я тоже пью, что с того?! — возражал я.

— Вы — другое дело! — сказал тот. — Он как-то... ну, знаете...

— А я как-то встретил его на улице, так он меня не узнал, — вставил кто-то из сидящих сзади.

— Может, не увидел?

— При чем здесь не увидел? Говорю же, не узнал.

— Нарочно. Сделал вид.

Чуть далее по проходу шушукались, и я несколько раз четко услышал свое имя. Поминали и Лизу, и, уж что самое удивительное, Худбина. Я насторожился, как-то так раздраженно насторожился. Кстати же, где теперь мог быть Альфонс? Уехал ли он, вернулся ли в свою столичную неразбериху? Улеглись ли его беспокойства и вообще сама ситуация с не написанной мною симфонией? Разрешилось ли как-то все это? Вчерашнее видение на Моховой я уже почти приписывал своим расстроенным нервам, почти объяснял своей болезненной фантазией, ничего не могло этого случиться, говорил себе я.

Что же до Сотникова, так он просто рехнулся, обезумел самым натуральным образом в последние несколько дней. Как-то он связан со всеми убийствами, может, даже он и есть тот самый маньяк, о котором говорят. Интересно, известно ли здесь кому-нибудь о произошедшем под моими окнами вчера? Почему-то я думал, что об этом уже известно всему автобусу и едва ли не половине города. Ах да, человечешка с хомячьим профилем и этот еще... его сообщник... А остальное? А гибель Сотникова? В последнее время, в сии трагические будни происходило уже столько странного, так что не удивлюсь, если и это известно всем.

— Кирпич... обломком кирпича, — шептал кто-то сзади меня.

— Какой ужас!

— Да, ужас!

— Такого таланта, умницу, композитора!

- И грязным кирпичом.
- По голове.
- Забили!
- Как зверя загнанного...
- Невероятно!

Я повернул голову, пытаюсь разглядеть шепчущих, но увидел только потупленные головы, бегающие глаза, лица, полные деланной невозмутимости.

- Обернулся... посмотрел... — шепнули еще.

Я отстранился от всех, упрямые желваки блуждали по скулам моим, я на миг вперился взглядом в пространство подле себя, в спину пианиста Егорова. Я никому ничего не должен! Было время, когда я тянулся к этому миру, когда я цеплялся за этот мир. Но теперь с прежним покончено, теперь со мною покончено. Теперь я оттолкну всякую протянутую ко мне руку, теперь никакая боль не будет для меня чрезмерной. Я дышу болью, я всегда буду дышать болью, боль — лучший мой воздух, лучшая моя пища, лучшие соблазн или деликатес.

Внезапно в мозгу моем, в гортани, в височной кости, в гайморовых пазухах и в адамовом яблоке загремела музыка, моя музыка, симфония, я отчетливо слышал ее. Начиная с двадцать четвертого такта. Казалось, музыка выплескивается из меня, я даже подумал, что сам звучу, что сам резонирую, будто я сам — инструмент, будто я — оркестр; я поспешно обернулся, стараясь понять, слышат ли мою музыку. Иные взоры были потуплены; черт побери, практически все избегали смотреть на меня прямо. Значит, и вправду они слышат! Новая напасть: я сделался инструментом! Одно обнадеживало: я звучал чисто и точно!

Все верно! Меня подслушивали. Нельзя думать о шиле, о Сотникове, о крови, приказал себе я, раз уж мысли и децибелы мои сделались известны. И я не стал думать ни о чем таком, а лишь слушал звучащую музыку. Она была величественна, она была необыкновенна, при других обстоятельствах ею бы даже возможно было гордиться. Но теперь же ее услышат все и разнесут, перепугался я, разболтают, распоят, растащат на куплетцы, на сонатцы, на лейтмотивцы, на квартетишки и концертишки. Теперь, оказывается, даже думать нельзя без опаски.

- Симфонию... поручили симфонию... — шептал кто-то, склонившись к самому уху Г. и прикрывая рот ладонью, — правительственный заказ, сжатые сроки, строжайшая конфиденциальность... любой бы за честь посчитал... а он давай кочевряжиться!

- Я бы продирижировал такой симфонией, — меланхолически протянул Г. — Я всегда относился с интересом к его музыке.

- Все интересуются его музыкой...

Говорили ли обо мне или нет, я не знал, отчего-то казалось, что все же обо мне, и ожесточение поднималось, заполняя собою все пустоты и зазоры звучащей симфонии, между хора тромбонов и струнными, между пробежкой английского рожка и тихим тремоло литавр, хотелось завывать, закричать, чтобы смолкли все и чтобы в том числе унялась и эта запретная музыка. Я легко мог бы записать эту музыку на бумагу, превратить в мириады закорючек, в сонмища загогулин. Мне лишь мешали глаза, мне всегда мешали они, при первой же возможности непременно постараюсь от них избавиться. Я начал привставать, еще не зная, что стану делать. Мой сосед удивленно покосился на меня, и другие тоже стали на меня коситься.

- А он стал отказываться, говорить: недостойн, мол, и все такое прочее... — шептали еще там, возле Г.

- Ну да, он — мастер, — согласился прославленный дирижер.
- Это не то слово...
- Да и что значит — недостойн?

- Просто смешно!
- А кто тогда достоин?
- Вдова! — вдруг вымолвил кто-то с бестактной и неожиданной звонкостью.

Все прильнули к окнам. И вправду шла Лиза, шла нетвердою походкою, но как-то так преувеличенно прямо, одна шла, без Сони. Сзади, метрах в пятнадцати, будто собака побитая, плелся Григорий. Будто больной, неуклюжий барсук. И тут во мне все умолкло, все звуки, все смыслы и сарказмы, все сумеречные волхования медных, вкрадчивость альтов, насада гобоев, уныние флейт, и даже само молчание умолкло, сама тишина съежилась и стушеввалась.

Лиза стала заходить в автобус.

- А-а... — сказала она, окинув взглядом собравшихся.
- Елизавета Модестовна! — подскочил со своего места С.
- Все здесь... чтоб выразить... чтоб почтить... это хорошо... — говорила она.

Лиза была пьяна, все видели это, но деликатно старались того как бы не замечать. Григорий остался на улице, он, кажется, не собирался ехать.

- Елизавета Модестовна, вот сюда! Садитесь, пожалуйста, — хлопотал С.

Лиза пошла по проходу, ее сзади поддерживал мышастый, я напрягся, но Лиза не смотрела на меня. Наконец она уселась сзади, мышастый же вернулся на свое место, рядом с саврасым.

- Отправляемся! — громко сказал С.
 - Это так все его любят? — громко спросила Лиза.
- К ней повернулись несколько голов.
- Я спрашиваю, так все любят Сотникова? Да? — сказала Лиза.
 - Да-да! Конечно, — отвечали ей.
 - Любят... — повторила она.
 - Любят-любят...

- А полоумный? Что здесь делает полоумный? — спросила Лиза. — Этот убийца?
- Что? — с ужасом переспросил ее кто-то.
- Где убийца? Какой убийца?
- Здесь, в автобусе — убийца?
- Что вы такое говорите, Елизавета Модестовна?!
- Этого не может быть!
- Неспалов! — сказала Лиза.

Я подскочил на месте, как будто был распрямившеюся пружиною. На Лизу я не смотрел, я не смотрел вообще ни на кого. Губы мои дрожали, сердце колотилось стремительно. Прежде я так долго закадычествовал с тоской, что та поневоле подорвала мое сердце.

- Ты выбрала очень удачное время для спектакля, Лиза, — тихо сказал я.
- Прости, дорогой, — отчетливо сказала Лиза. — Каждый пользуется тем оружием, которое у него есть.

Ни слова более не говоря, я пошел к выходу.

— Мирослав, куда же вы? — заголосил вдруг С. Он стал на моем пути с растопыренными руками, будто собираясь удержать меня таким образом. — Мы уже отъезжаем!

Были еще возгласы, недоумевающие, сочувственные.

- Мирослав! — сказал и Г.

— Пускай идет! — вдруг звонко выкрикнул человечиска с хомячьим профилем. — Видали мы таких музыкальных экклезиастов!

- Молодой человек! — одернул того Г.

— А чего «молодой человек»-то?! — отмахнулся «хомячий профиль». — Имейте к вдове уважение! Да вы карманы у него выверните! На руки его посмотрите!

— Ну, выворачивать карманы я ни у кого не собираюсь! И смотреть на руки! И надеюсь, при мне никто себе этого не позволит! — гневно отвечивал Г. и вдруг умолк. Будто окаменел.

— А может, там кровь?! О крови вы не подумали?! — выкрикнул еще этот неугомонный. — Не слишком ли много вы позволяете ему *мессийствовать*!

Дверь захлопнулась у меня прямо перед носом.

— Мирослав! — восклицал С. — Да прекратите же вы чушь молоть! — одернул он моего хулителя. — Елизавета Модестовна, да скажите же вы, наконец! — в отчаянии воскликнул С.

Но Лиза если и что-то хотела сказать, то не успела. Она начала вставать, она хотела речь свою произнести стоя и с пафосом.

— Откройте дверь! — прорычал я.

Дверь распахнулась, я выскочил из автобуса. Неприкосновенный запас неуверенности. Я не предназначен для этого мира, я попал в него по ошибке, — крикнул себе я. Я был под прицелом десятков пар глаз сидевших в автобусе, все смотрели на меня, первые три шага я сделал спокойно, даже преувеличенно спокойно, но потом не выдержал, сбился, дернулся, отпрянул в сторону, голову затряс; все события, странности и навязчивости последних дней будто набросились на бедную душу мою, на мою обезображенную и обездоленную душу, и тогда я, смутившись от собственной нелепости и с ужасом обхватив голову руками, бросился бежать, гадко, судорожно и затравленно.

53.

Я многим мешаю дышать, приходится со всем смирением признать это, сказал себе я, подходя к своему дому на Моховой улице. Я и себе тоже мешаю. Теперь так трудно быть человеком, так стыдно и невыносимо быть человеком! Я всегда знаю, когда меня не хотят, ни духа моего, ни смысла моего не приемлют, ни голоса моего не жаждут, ни звука дыхания, ни очертаний лица, ни блеска глаз, ни рисунка кожи, ни шуршания одежд, ни шарканья подошв. А тут вдруг так не угадал! При том, что слишком, слишком много признаков указывало на неизбежность конфуза. Не объяснимо! Непростительно!

Однако же черт сподобил меня вляпаться да влезть в тот автобус! Другой пищи теперь не будет, другой темы — все станут обсуждать скверное мое присутствие и жалкий мой побег. Черт! Правду говорят, что я — большой ребенок, что я вовсе не смыслю в обыденном. Мне ничего не стоит тридцать два голоса сплести в одно восхитительное целое, в одно небесно-прекрасное, в одно торжественно-сокрушительное, но это совершенно другое. Вообще же жить надо тихо-тихо, давно уже говорил себе я. Так, чтобы даже и Бог не замечал. Жить шепотом.

Гольдфарб. Я замедлил шаги подле парадного оттого, что подумал о нем. Но, может, я ожидал еще чего-то, не правда ли? Да, это возможно. Чуткость к несуществующему. Мимолетное. Стало сбываться. Из-под арки в мою сторону шагнули двое, я вздрогнул и отстранился. Водопроводчики. Младшего, Сашу, я имел возможность разглядеть и вчера. Но в нем гнездились что-то простовато-обыкновенное, плоско-размеренное, даже взгляду зацепиться было там не за что. В облике же другого я обнаружил что-то будто бы лисье, сама физиономия была как-то устремлена вперед и сгрудилась к его острому носу, рот был мал, зол и двусмыслен, жесты же — взрывчаты и неожиданны.

— Неспалов, — сказал Саша из-за плеча товарища своего.

— На минуточку, — проговорил и старший.

— Что? — спросил я.

— Давайте зайдем сюда на минуту, — повторил тот и поманил за собою.

Втроем мы шагнули под арку.

— Что случилось? — спросил я.

— Ничего, — сказал Саша. — А что должно случиться?

— Не знаю, — сказал я. — Тогда зачем мы сюда идем?

— Ну... — сказал Саша, — разве так уж трудно пройти? Всего-то — два шага.

— Два шага пройти не трудно, — сказал я.

— Кстати, — сказал еще Саша. — Это — Аскольд.

Мы, разумеется, прошли не два шага — все двадцать. В замкнутом этом дворе было некоторое движение, дверь в подвальное помещение оказалась открытою, в подвальном полумраке же копошились всяческие людишки вида непрезентабельного. Бродяжка, одетый в лохмотья, как и мы, шедший с улицы, обогнал нас и, окинув взглядом, едва ли доброжелательным, тоже спустился в подвал. Мы остановились.

— Вот, — сказал Аскольд. — В двадцать часов... ровно в двадцать...

— Что? — спросил я.

— У вас точные часы?

— Точные.

— Нужно быть здесь.

— Где?

— Здесь, — повторил он. — Но обязательно в двадцать. Не в девятом часу и не в без четверти...

— Значит, в двадцать? — спросил я.

— Вы сможете?

— Да.

— Это очень важно, — сказал Аскольд.

— Очень, — подтвердил Саша.

— Я понял.

— Вы сейчас домой? — спросил Аскольд.

— Домой.

— Идите, — сказал Аскольд.

Не знаю, отчего я выслушивал все безропотно и исполнял беспрекословно, но я молча развернулся и пошел со двора. Водопроводчики же остались на месте, затеяв, кажется, раскурить там по сигаретке.

Лифт не работал. Я стал медленно подниматься по лестнице, мне вдруг показалось, что я стар, что баснословно стар <...> Тревога. Ощущение присутствия. Еще более замедлил шаг и насторожился. Ad libitum. А если на лестнице кто-нибудь есть, затаился и ожидает меня?! Смогу ли я защититься, отбить его нападение? Когда-то это все же должно было случиться!

На втором этаже они могут только поставить своего наблюдателя, решил я. Основная опасность в таком случае будет ожидать меня выше. Может, крикнуть Ольгу? Если она дома, она либо встретит меня, либо спугнет притаившихся. Но нет — малодушие! Мне не следует вовлекать в это Ольгу, какие бы опасности меня ни подстерегали. Шестнадцать шагов, площадка третьего этажа.

Там стояла Регина. Негодующе так стояла, яростно. Я хотел было кивнуть ей или поздороваться.

— Какой же вы подлец, Неспалов! — бросила она мне.

Почему она сказала такое, я не знал, теперь мне это было уже все равно. Я посмотрел на женщину молча, передернул плечами и, будто бы пришибленный, стал подниматься по лестнице далее.

54.

Это вы все убили меня, вы все! У вас меж собою было даже состязание за право, за честь быть душегубцами моими, быть гонителями моими! Боже, неужели я даже не успею выкрикнуть список ваших имен?! Неужели поперхнусь я или запнется гортань моя, когда подступят к ней тяжелые гнев мой и недвусмысленность?! Хорошо вам, мучителям моим, хорошо быть безразличными, быть равнодушными, хорошо замалчивать мои оголтелые песни, мои редкоземельные шепоты, мои щетинистые сарказмы и сердечные содрогания! Я изнемог, я обессилел пред этой стеною, пред этим сбродом, пред этими раздавшимися насекомыми, пред этою тлём в законе! Боже, не успеваю, ничего уж не успеваю! Хотя стóбите вы все, стóбите, чтобы быть названными поименно, со всеми делами, со всеми подлыми пренебрежениями вашими, со всеми обыденными свинствами, со всеми кургузыми безобразиями!

Ольга была дома, как я и предполагал. Она встретила меня в прихожей, я обнял ее и отстранился.

- Мне надо сейчас уехать, — сказала она.
- А что?
- Матери плохо. С ней побыть некому.
- Ты в Гатчину?
- В Гатчину, — сказала Ольга.
- Осторожней, — сказал я. — Гатчина опасна.
- Я знаю, — сказала Ольга.
- Действительно опасна.
- Я действительно знаю.
- Ты будешь собираться?
- Уже собираюсь.
- Я тебя провожу.
- Нет.
- Как же... — пробормотал я.
- Ты решил не ехать на похороны? — сказала Ольга.
- Я решил ехать, но потом все-таки не поехал.
- Бедный, — сказала она. — Что же тебе пришлось вынести!
- Ты уже знаешь?
- Кое-что.

Я не стал спрашивать у нее — откуда она знает, при желании я и сам мог бы это угадать, но почему-то не желал ничего угадывать. Я бы скорее удивился, если бы о моем конфузе еще не знал весь город. Он следит за потаенным, он видит мысли и прозревает намерения, он подслушивает невысказанное. И если я хочу его обмануть, этого монстра, этот чудовищный сброд и скопление особняков и пешеходов, заборов и лимузинов, хаоса развалин и неистребленного рекламного неона, трехкопеечных забегаловок и пустопорожнего переулочного ветра, так уж делать это следует отнюдь не скрытностью и не затаенным духом, но — напротив — громогласностью и разнузданною новизною созвучий.

- Когда вернешься? — спросил я Ольгу.
- Утром буду. После обеда у меня ученики.
- А, — бесцветно сказал я.
- А ты что станешь делать? — спросила та.

— На мне этот отчет чертов висит. Да и вообще... — я замаялся на мгновение, но потом все же продолжил: — Я сейчас внизу встретил «водопроводчиков»...

- И что?
- Потом расскажу, — пообещал я.
- Хорошо, — сказала Ольга.
- Сегодня занятный денек!
- Кто там был?
- В автобусе? Все. В том числе Г.
- И значит...
- Все всё слышали, и все всё видели, — сказал я.
- И Г. тоже?
- И Г., разумеется.
- Кошмар, — сказала Ольга.

55.

Я закрыл за Ольгой дверь. И потом... да-да, разумеется, я стал рассматривать свое шило. Это важно. Здесь не должно быть ошибки. Рукоятка подле основания иглы буквально пропиталась кровью, я теперь это видел отчетливо. Рукоятка была даже еще влажна. Откуда? Какой из новых самообманов мне следовало бы придумать, чтобы объяснить появление этой крови?!

Каждому по делам его воздастся забвением. Миру по делам его воздастся забвением. Я обещаю вовсе не помнить о мире за свою гробовую доской. Ныне же задачей своей полагаю — легализацию небытия. Превентивную легализацию. И довольно об этом, сказал себе я. Стоящий спиной к бездне искушает ее (бездны) бесов, сказал я. Бедный Неспалов, сказал я, честное слово, зря ты избрал для себя такое положение тела и, уж разумеется, такое состояние духа, сказал я.

Следует осмотреться и не думать более ни о какой крови. Безграничное презрение к собственной жизни вдыхает в нее столь же безграничное терпение. И все-таки кое-что меня смущало по-прежнему. Но что же? Да-да, в мире ныне огня недостаточно! Дайте же больше огня, огня и непримиримости! Пусть небо будет в искрах и сполохах, земля — в раскаленных угольях! Пусть воздух делается едким и невыносимым дымом, чтобы грудь от него изнемогала, трепетала и бесчинствовала. Лишь тогда, быть может, я согреюсь, лишь тогда, быть может, душа моя отойдет и оттает. Дайте же больше огня, пусть глаза мои наслаждаются пламенем, уши — треском, пальцы — копотью, горло — угаром и ресницы — пеплом.

Телефон. Нужно позвонить. Я дошел до аппарата, стараясь держаться спиной в сторону бездны. Мне слышались возгласы и перешептывания бесчисленных тамошних существ, смыслами своими и содержаниями весьма далеких от людей. Потом снял трубку и набрал номер. Тихое дыхание в трубке.

- Соня, — сказал я.
- Я не она, — сказала Соня.
- А кто же ты?
- На что тебе имя? — рассудительно сказала мне дочь. — Ты меня за имя вытацишь.
- А кто я такой, знаешь? — сказал я.
- Соня промолчала.
- Утром ты меня назвала волком. Я приходил... А теперь?
- Раньше ты был волком, и тебе было хорошо. А теперь ты не волк и не знаешь, кто ты такой.

— Соня, ты сочиняешь сказку? Ты вообще у меня сочинительница, я знаю, — сказал я.

— Не очень.

— Мама вернулась? — спросил я.

— Нет.

— Вернется.

— Наверное.

— Чем ты теперь занимаешься?

— Жизнью.

— У вас еда есть?

— Немножко.

— Соня, — сказал я, — хочешь, я приеду завтра? Ты откроешь мне?

— Завтра ты снова станешь волком.

— Что мне сказать, чтобы ты поверила, что я — это я?

— Ты зарычи!

— Будь по-твоему, — коротко рыкнул я то ли волком, то ли собакой, то ли гие-ной напуганной и положил трубку. Замечательный день для фиаско, великолепный день для отчаяния! Так и запишем!

Потом я раскрыл компьютер, подождал, пока тот настроится, хрустнул пальцами. С чего начать? Мне даже не справиться с одной моей обреченностью. Едва я пытаюсь потянуться в ее сторону, как та проворно ускользает от всего моего испытующего. Соня... И все-таки я должен быть честен. В той же самой, разумеется, мере, в какой и лукав. Плевать! Бумага всякого меня стерпит. Мир всякого меня отторгнет. А уж терпение бумаги я стану испытывать до конца. Злой славянин. Сглатывая слюну. Неразборчиво.

56.

Весь последний час до восьми я только и делал, что следил за временем. Оттого почти не писал; впрочем, не страшно: написано уже немало. Ночью посижу еще чуть-чуть и закончу свою писанину.

Будет ли Скарбез доволен моим отчетом? Уверен, он будет в бешенстве. По-видимому, он возлагает на мои записи надежды. Взгляд на наш дом, на происходящее в доме глазами изнутри. Но он явно не ожидает, что взгляд будет слишком уж внутренним. Такой взгляд не дает объективной картины, такой взгляд действительную картину как раз затушевывает.

Я сидел и замерзал. Я бы теперь с легкостью убил кого-нибудь всего только за несколько минут тепла. Я думал, выгадывал и тщился сообразить что-то особенное. И еще я заключил, что мне впредь следует сочинять имена тишины. Всякой тишины, что будет ниспослана мне в обращение. В моих записях немало наберется гроздьев издевки; не сомневаюсь, Скарбез не сможет этого не заметить. Он не сможет этого и не оценить, он не сможет от того не возмутиться.

Миру следует стать декоративным, вычурным, изощренным, тогда, чего доброго, и все несчастья в нем сделаются ненастоящими.

Без пяти минут восемь я быстро оделся, напялил сизую личину удрученности, оглядел свое оскверненное шило. В таком виде класть его в карман не хотелось. Может ли оно мне теперь понадобиться? Да, но ведь я буду там под эгидою водопроводчиков, под сенью юношей в цвету, сказал себе я. Я вдруг застыл в затруднении: взять или не взять?

После отбросил шило и шагнул за дверь. Было тихо. За дверью Регины стояла тишина, будто бы мертвая. Значит, ни ее самой, ни кого более в квартире не было.

Площадка первого этажа часто приносит сюрпризы, на ней следует быть осторожным, сказал себе я. Но мне повезло, ничего опасного там не оказалось.

Под аркой меня ожидал водопроводчик Саша.

57.

— А я уж собирался идти за вами, — сказал он.

— Кажется, я не опоздал.

— Не опоздали.

Мы с Сашей зашли во двор, дверь в подвальное помещение была распахнута, оттуда снопами вырывался свет. Подле двери толпились две грязные нищенки, мужичок-оборванец весь в слюнях, рядом стоял Аскольд, с острою и подвижною его физиономией.

Увидев нас, люди почтительно расступились.

— Проходите, Неспалов, — тихо сказал Аскольд. — Вас только и ждут.

«Кто меня ждет? — хотел было спросить я. — Все эти бродяжки? Все калеки и простолюдины?»

Последних я видел в глубине подвала.

— Ничего, что вы немного побудете среди черни? — спросил меня Саша.

— Ничего.

Я шагнул по ступенькам и оказался внутри помещения. За мной спустились Саша и Аскольд, нищенки и мужичонка робко застряли на ступенях.

В подвале было душно, накурено и надымлено, в разных местах стояли несколько фонарей, какие используются в театрах. Здесь было собрание уродов, калек, бомжей и, быть может, бесноватых. Вот молодой парень с опухшим от пьянства лицом, на деревянной культяпке. Еще старуха с изъязвленными скулами, бровями, вздувшимися мочками ушей, чему причиной, возможно, были *Mycobacterium lepromatosis*. Мужичок с огромной багровою опухолью на лице, похожей на хобот. Были безногие, безрукие, были с выгнившими челюстями, со сплюснутыми черепами, гидроцефалы. Кто-то трясся и содрогался, кто-то стонал и сопел, кто-то всхлипывал и похохатывал — сброд, скопище безобразных, отталкивающих человеческих обликов, истощившихся и изнуренных людских душ. Все эти человеки стояли к нам спинами и чего-то напряженно ожидали. Лица, все лица, жуткие и невыносимые. Как в «Капричос» Гойи.

— Что это? — шепнул я стоявшему рядом Аскольду.

Но он лишь прижал палец к губам.

Всякий двуногий в сем муторном мире исполняет свою местечковую миссию, сколь заурядную, столь и неосознаваемую, сказал себе я.

Вдруг по толпе пронеслось некоторое движение.

— Болезного ведут! — взвизгнул кто-то.

— Болезный! — подхватили все стоявшие уродцы. Замелькали платочки (или просто грязные тряпки), которыми утирали слезы. Кто-то (явно не в себе) захихикал, но на него зашикали, прикрикнули, и тот ступешался.

58.

Из глубины подвала в сторону толпы двигалась странная процессия. Несколько мужичонок, одетых в одно исподнее, не весьма чистое, вели пред собою безобразно

тучного человека в широкой набедренной обвязке и с мешком на голове. Тучный шел сам, его не приходилось тащить, он словно бы добровольно принимал участие в этом спектакле (или в мистерии?).

Процессия дошла до середины подвала. «Болезный» заволновался и застонал. Тихо, глухо, тревожно. Это вызвало общее ликование, но один из процессии погрозил толпе кулаком, и людишки умолкли. Тучного подвели к стене, на которой был приколочен огромный дощатый щит. На щите выделялось что-то подобное вертикальному брусу и дощатая же, горизонтальная перекладина на уровне чуть выше плеч «болезного».

Все происходящее мне было не слишком хорошо видно из-за голов сих убогих человечков.

— Ближе подойдите! — шепнул мне Аскольд. — Вам можно.

Человечки действительно расступились передо мной.

И тут вдруг люди запели. Волосы стали дыбом у меня на голове от возмущения и какого-то внутреннего содрогания.

Пьяненькая старуха в драной шубейке и в столь же драном шерстяном платке на беспутной голове ее выступила вперед, приосанилась, и вдруг высокий, сильный и неожиданно молодой голос ее поплыл под сводами подвала.

— Да исправится молитва моя, яко кадило, пред Тобою...

— ...Воздеяние руку мою — жертва вечерняя, — вдруг в терцию подхватила это скорбно-сосредоточенное песнопение беззубая моложавая шлюшка с подбитым глазом и переломанным носом.

Тихо-тихо откликались басы. Органный пункт. Что угодно готов был услышать я, но только не Чеснокова, не сто сороковой псалом Давида. Это было невозможно, это было противоестественно и недопустимо, и все же я слышал это пение, это торжественное и строгое многоголосие. Да, был вечер, была жертва, но разве об этом псалом? Нет, нет и еще раз нет! Тучного держали с двух сторон за руки, в позе распятого, и вдруг у одного из процессии в руках появились огромный молоток и гвозди. Ужас охватил меня. Что они задумали? Кто-то сдернул мешок с головы тучного, и ужас мой удвоился, удесятерился. Тучным был Альфонс Янович Худбин. Лицо его было изможденным, исстрадавшимся и отчаявшимся.

Еще раз прозвучали те же строки на другой мотив. Теноры и баритоны — покачиваясь. И потом еще выше, еще чище и пронзительнее грянули голоса, канонически распевая фразу.

— Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: вонми гласу моления моего, вегда воззвати ми к Тебе...

— Худбин! — крикнул я.

Поющие вздрогнули и стали оглядываться на меня. Они еще больше раздались передо мною. Саша легонько толкнул меня кулаком в бок, призывая к порядку.

Вдруг мелькнул молоток, и худбинский палач с размаха стал вгонять гвоздь в предплечье Альфонса Яновича. Проступила кровь. Худбин завыл, страшно, глухо, подземно, безнадежно. Может, это все-таки был какой-то трюк, убеждал я себя, как в кино: может, работают иллюзионисты, и кровь не настоящая, и гвоздь вовсе не входит в человеческую конечность.

— Худбин! — еще раз крикнул я.

Тот, ослепляемый фонарями, поводил головой в поисках меня. Наконец он замер, смотря приблизительно в мою сторону. Какое-то удовлетворение и даже торжество напоздали на его лицо, будто он собирался обнять внезапного вернувшегося к нему блудного сына.

— Неспалов, — глухо говорил он.

- Что происходит? — закричал я.
- Вы здесь... — бормотал еще Альфонс Янович.
- Перестаньте! — прошипел мне Аскольд. — Так надо! Слышите?!

И вновь зазвучал стих про молитву, которая должна была исправиться, яко кадило, пред Господом. Рефрен. Нарастающая звучность басов и баритонов. Дым волновался в лучах света, отчего само пространство будто искажалось и трепетало.

- Неспалов, — еще раз повторил Худбин.
- Прекратите! — кричал я.
- Болезный! — взвизгнула косматая, цыганистого вида старуха.
- Вы знаете, кто это? — бормотал я. — Что вы делаете!
- Больно болезному-у-у! — еще раз завизжала старуха.

Снова мелькнул молоток, и гвоздь вошел в другую руку Худбина. Я будто завороченный следил за искажившимся от боли лицом Альфонса Яновича. Я хотел было броситься ему на выручку, но ноги мои подкашивались, и тело мое не слушалось меня, и еще сердце... оно вдруг сделалось небывалым, фантастическим, несгораемым, оно озарилось восторгом и неуверенностью, оно вспыхнуло волнением и безрассудством. Я сделался наблюдателем, все существо мое было существом наблюдателя, созерцателя, парализованного свершающимся. Я теперь не мог вымолвить ни слова...

— Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устах моих, — медленно и торжественно раскатывался следующий стих.

- Ничего, Неспалов, — бормотал Альфонс Янович. — Я выдержу!
- Худбин... — беззвучно шептал я.

Я ненароком взглянул на водопроводчиков. О, ужас! Саша ухмылялся, Аскольд же... одобрительно кивал головой, глядя на экзекуцию.

— Я вас только очень прошу, Неспалов... — тяжело говорил Альфонс Янович. — Слышите меня?

Я хотел было сказать, что слышу прекрасно, несмотря на то, что хор уродов и полоумных уже твердо выводил слова рефрена про молитву и про кадило, но ничего не сказал. И вот уж зазвучал заключительный стих песнопения:

— Не уклони сердце мое в словесе лукавствия, непщевати... непщевати вины о гресех...

И Худбин, собравшись с духом и с силами своими, говорил изможденно:

- Вы должны написать... Неспалов... симфонию...
- Симфонию! — заверещала старуха, та, что все поминала «болезного». — Он напишет!

Она стала приплясывать и размахивать сухими и костлявыми руками. Она похатывала и приплясывала прямо передо мною, другие тоже оборотились на меня, да и хор тоже оборотился, они теперь пели уж мне одному и про сердце, и про лукавствия, и про вину, и про грехи, и про кадило, и про молитву, и про Господа, и про жертву вечернюю. Я с ужасом смотрел на этот бедлам, на это светопреставление.

- Хорошо! — весело шепнул Саша товарищу своему Аскольду.
- Да, — коротко отвечал тот.

Что именно было «хорошо», я не знал, да и вряд ли здесь могло быть вообще что-то хорошее. Я повернулся к выходу, на дороге у меня были те самые нищенки и оборванец, я оттолкнул кого-то из них и стал выбираться из подвала на воздух.

— Симфонию... — вослед мне шептал Альфонс Янович. Угасающие басы. Трепет. Двухголосие.

Возле входа в подвал я вдруг пошатнулся, меня швырнуло на стену, я осел, сполз по стене, стараясь уцепиться за что-то руками, но уцепиться не получалось, потом

с силою вобрал в себя воздух несколько раз, до боли в груди, до ломоты за ключицами, до искр в глазах, встал, выпрямился и тут взглянул на свои руки.

Они были в крови. Эти чертовы руки были в крови. Теперь уж в этом сомневаться не приходилось.

59.

Сумасшествие могло бы быть даже спасением. Отчего невозможно отключить рассудок свой усилием воли, как свет в комнате — щелчком выключателя? Отчего рассудок так цепок, так привязчив, так неискореним? Отчего когда он нужен, его как раз и недостает, но когда жаждешь от него избавиться, когда стремишься его истребить, изжить, опровергнуть, оказываешься бессильным пред его независимым существованием. Человек иногда — раб своего рассудка, иногда — пасынок и приживала, совсем уж редко — добрый товарищ и никогда не господин над оным.

Я боялся, я только и делал, что боялся, я боялся самой боязни, страх садился мне на плечи поверх пледа. Разве страх — птица? Нет, он не птица, но крылья у него есть. Я погряз в жемчужном и межеумочном, я истратился в велеречивом и величественном. Ольга. Я хотел было позвать ее. Но точно ли она дома? Нет, ее нет дома, никакой Ольги, ни даже тени ее. Ольга в опасном городе Гатчине, этого я пока не забыл. Откуда она знает мою музыку? Но ты же сам играл ей. Или не помнишь? Хорошо, тогда откуда мою музыку знают другие? Они просто подслушали. Это не ответ. Они и теперь подслушивают, они притаились за дверью и мелководушием своим наострились на подозрительность и соглядатайство. Григорий. Следует ли бояться Григория? Молчи, не отвечай!

Кресло, одеяло, подушка, плед, газ, ночь, ужас, косые следы света на полу. А судья Страшного суда на поверку оказался слишком меланхоличен, преступно меланхоличен, и мы даже решили этим воспользоваться. Кто это мы? Потеря сигнала. С орудиями жалоб к нему не стоило даже и подходить — их он видит насквозь. И мы подходили с оружием веселости, с инструментом самонаплевательства. И вдруг сей судия показался нам человеческим, будто бы рубахой-парнем. Разумеется, оказалось, что он подлавливал нас, проводил на мякине простодушия, на толокне самолюбия. Он из племени хитрецов и прохвостов. Бог подобен стоп-крану с вечною угрозою срыва. Снова Григорий. Собственно, квартетом тромбонов здесь не обойтись, потребуются еще какие-нибудь ухищрения, не инструменты, а именно ухищрения, и Бог будет доволен даже более Григория. Самый скверный Бог, создавший этот самый скверный из миров. Партия труб. Зазор. Промозглость. Отдушина.

Газ, сгорая, сердито урчал, он будто бы со мной разговаривал. По коридору кто-то прошел, я слышал шаги. Ольга? Крадучись. Нет, шаги не были женские. Возможно, водопроводчики. Холодный пот прошиб шею. «Саша», — позвал я, но сам не услышал своего голоса. «Аскольд», — сказал я, и опять неудача. Хуже всего, что я сидел спиной ко входу, значит, на меня могли бы наброситься неожиданно. А где мое оружие, где мое шило? Черт, оно осталось там, где сейчас ходят. Возможно, они уже вооружились моим шилом. Со следами чьей-то крови на рукоятке. Заметят ли они кровь? В темноте, возможно, и нет. Следует все же позвать Ольгу. Но ее нет. Почему ее не было, когда меня принесли домой без сознания? А ты был тогда без сознания? Или ты сам втайне хотел ничего не помнить? Почему Григорий был тогда моею сиделкой? Разве он гуманен, разве он заботлив? Подозреваю, что в Ольге сокрыто что-то ужасное, что-то необъяснимое, что-то полное заусениц и червоточин. Впервые. Осознание. Гипноз незаметности.

Итак, водопроводчики проникли в мой дом и ходят по коридору. Я все слышу, меня невозможно провести. Они что-то ищут? Они на кого-то охотятся? Они от кого-то скрываются? Что привело их ко мне? Нет ответа. Иные игры слов диктует отчаяние, иногда отчаяние и не способно надиктовывать ничего, кроме игры слов. Вы можете заходить! Водопроводчики, вы можете не таиться!

И вот же незримо возник в сердце стены светильник самовозжигающийся, и лампою назвать его было нельзя. Ибо дух света, самый дух света, был в нем несметен, неисчислим и неопишуем. Вот еще просунулись руки пешеходов, бывших всадников, оставивших коней своих на дразнящих пастбищах, именуемых нами райскими, на соблазнительных туманных лугах. Я был черен смыслом и недоговоренностями, я был верноподдан душою и обстоятельствами. Одичание и догадки, сарказмы и колыбельные — полнили каталоги (инвентарные книги) одушевления и вочеловечения. Sic!

Ольга! Я был беспомощен. Я снова хотел позвать ее. Для чего я хотел сделать это? Быть может, пойму позже. Понимание не должно никогда само даваться в руки, но немного дразнить нас, немного запутывать. Если бы Ольга была здесь, она смогла бы спугнуть водопроводчиков, как ласточек с забора, призвать их к порядку, вывести на чистую воду отзывчивости!

Шаги, шаги! И вот уж они — птицы! Они вспыхивали на лету и огненными комьями падали на иссушенную землю. После они были камнями, и мы сами застывали глыбами подле тех. Не смысл свой исполняя, но лишь обособленные и предписанные дисфункции. Внемя ветрам и векам, диффузиям и метаморфозам. Нарастая. Преломляясь. Воистину.

На что же они еще способны, кроме производства шагов? Кто — они? Водопроводчики? Мои мучители? Предположим, на производство отчаяний... Я очень долго писал, целый вечер и еще ночь, это-то меня и сломало. Мир, мир! Похоже, ныне и на нем пора ставить крест! Он несет мне одно лишь гибельное. Правда, и я ему едва ли — животворящее. И быть может, он лишь стоит сочувствия за выслугу бед.

Ничего нет, ничего и не нужно, Бога нет, любви не существует, второй жизни тоже не будет. Стоит ли тогда предаваться этой навязчивой каторге сочинительства? — говорю себе я. Умереть, умереть в нищете и забвении, будучи незаметнее ветра, будучи рассеянее света, говорю себе я. Со всею силою смысла говорю себе я. Ответа я не жду и не успеваю услышать тот, не успеваю понять тот, ибо сразу же... вздрагиваю и просыпаюсь.

60.

Я слышу, что происходит во всем доме, во всяком его уголке. Хотя всего сразу и не перечислишь. Я слышу даже некоторые мысли тех, кто засел в своих квартирах, забился в своих норах, и уж тем более слышу всякие их разговоры. Музыка есть нечто из набора ангельских инстинктов. Я призван в исключительные солнечные аборигены, невысказанные земные уроженцы; въяве же столкнулся с сумятицею бесцельного, со столпотворением бессодержательного, с ордами абсурдов, с легионами негодяйств. Музыка приучила мой слух к сверхъестественному; а уж ежели это так, то всего лишь укромное или потаенное не стоят даже серьезного обсуждения. Иногда я слышу даже ультразвук. В такие минуты я отчего-то пугаюсь себя гораздо более, чем обычно пугаюсь мира.

В квартире Регины теперь настоящий блокпост. Лестничного значения. Выходя за порог, я уже слышу, что у нее не заперта дверь и что сама она засела в дверном

проеме, высматривая проходящих. Я, значит, буду одним из уловленных ее зверей, говорю себе я, но меня это теперь несколько не беспокоит. И проходя мимо нее, лишь гордо потрясаю перед лицом ее своей распечаткой, как пропуском.

- Написал! — восклицаю я. — Вот, а вы переживали!
- Написали... — тянет она. — А я сегодня тоже закончу. Хотя мне почти нечего писать. Я никуда не выхожу, только смотрю, кто у нас ходит и куда. Вот об этом я и напишу.
- Напишите!
- Непременно напишу! А вы ему позвонили?
- Следователю? Позвонил, — и это правда: действительно позвонил.
- А он?
- Сказал: «Давно жду. Приносите», — опять правда.
- Вот видите! Значит, он и мой отчет дожидается.
- Непременно дожидается.
- Да-да, прямо сейчас стану дописывать.
- Обязательно!
- Как хорошо чувствовать, что честно выполнил долг.
- Да.
- Пошла, — говорит Регина.
- Идите, — говорю я.

61.

«Ну и каких еще встреч ожидать мне сегодня? — спрашиваю себя, продолжая движение. — Может, с Сашей или с Аскольдом? Я бы тому не удивился».

Но встречаю я не Сашу и не Аскольда, только — Шутко, и не в подъезде, а на улице: он что-то делал под аркой, а быть может, попросту ожидал меня. Он тут же увязался за мной.

- Неспалов, — говорил, догоняя меня.
- Я снова пускаю в ход распечатку:
- Несу вашему высокому начальству.
- Я провожу вас немного, — отмахивается тот.
- Я дорогу знаю.
- Проведу вас мимо сарацин, а там уж вы сами.
- Хочу спросить вас, что за оргия была вчера в подвале? — спрашиваю его. — Вы к ней причастны?
- Какая оргия? — удивляется Шутко. — У нас здесь давно уж нет никаких оргий.
- У нас?
- У нас, у вас — какая разница?!
- И вчера вечером ничего не было?
- А чем этот вечер отличается от других?
- А Худбин? Вы же знаете Худбина? Что с ним? — настаиваю я.
- Жив-здоров, полагаю.
- Жив-здоров? А гвозди в руки? А распятие? А хорал?
- Гвозди в руки? Распятие? — недоуменно глядит на меня инспектор. — Да ну, ерунда какая-то! Гвозди, распятия, иконы, животные на задних сиденьях...
- Какие еще животные?! — застыл я.
- Откуда я знаю?! Еноты или хорьки!

- Откуда вы знаете про животных? Про животное?
- Да я ничего не знаю. Это я к слову.
- Что вы еще скажете к слову?
- Не понимаю.
- А о чем вы хотели со мной поговорить?
- Я? — удивился инспектор. — Да это вы хотели со мной...
- Я хотел с вами... — тяну я. — И о чем я хотел с вами поговорить?
- Понятия не имею, — пожимает плечами Шутко. — А что это там у вас такая за симфония, которую вы то ли пишете, то ли не пишете?
- Не пишу, — твердо говорю я.
- Почему?
- С каких пор уголовный розыск интересуется симфониями?
- С тех пор, как за них стали убивать.
- За них?
- Ну... или из-за них.
- Разве убивают из-за симфонии?
- Не знаю, — замялся инспектор. — Разные есть версии...
- Какие версии?
- Разные...
- Что-то вы стали еще *размазаннее* меня, как я погляжу.
- Да уж какой есть.
- О чем мы там?
- О симфонии... Может, вы все-таки напишете ее?
- А вам-то на что?
- Ну... — мнется Шутко, — может, что-то будет тогда попроще...
- Что может быть попроще? — вдруг вскрикиваю я.
- Может, вам станет попроще... может, вы станете поопределенней... Не так, как теперь.
- Что вы знаете про меня?
- Ничего.
- Про меня, наверное, что-то узнает тот, кто прочтет это, — опять помахиваю я распечаткой. — Но, может, и наоборот. А вдруг я — страшный хитрец, не подумали об этом? — усмехаюсь я. — А вдруг там вообще про меня ничего нет!
- Это возможно, — серьезно кивнул головой Шутко. — Но хорошо ли это? Так бы мы вместе могли попробовать обуздать все это. Но если нет, ведь вам одному придется... обуздывать.
- Черт побери! Да вы — просто фантаст! У вас в голове какая-то странная картина, а вы ее считаете реальной.
- Я огляделся с тревогою. Мы стояли на том самом месте, где вечность назад стояли вдвоем с Гольдфарбом и говорили тогда... о чем же мы тогда говорили? Говорили о странном (в том числе и об этом инспекторе), тоже было непонимание, тоже было смешение языков и смыслов, и вот Гольдфарба уже нет, а есть Шутко. Или и Шутко тоже нет, вдруг говорю себе я.
- Шутко, — тихо сказал я. — Вы есть?
- Есть, — так же тихо ответил он. — А вы?
- Возможно, — сказал я.
- Он не удивился. Больше всего меня удивило, что он не удивился.
- Не хотелось утратить этой тишины. Этого умиротворения. Оттого я даже немного склонился к инспектору. Будто к приятелю. И сказал вполголоса:
- А какая плата с меня причтется, если я напишу эту симфонию, вам хоть известно?

— С вас? — почти шепотом, в тон мне удивился инспектор. — Да ведь не с вас, а вам причтется.

— Значит, вы все-таки ничего не знаете, — махнул рукой я. Повернулся и пошел.

— Неспалов, я провожу, — сказал он, меня нагоняя.

Чуть далее виднелся сарацинский пост, а обходить его стороной сегодня было мне вовсе не с руки. Я бы все равно пошел теперь направо. Из киоска высунулись двое бородачей. Шутко пошел прямо на барбудосов, ничуть пред ними не тусуясь и даже все более разводя руки в стороны, будто бы для объятий. Барбудосский десятиначальник вдруг тоже заулыбался и тоже развел руки. Они обнялись с Шутко. Я застыл и взирал на всю картину, едва не разинув рот.

62.

— Друг, — сказал десятиначальник.

— Здравствуй, друг, — в тон ему говорил и Шутко.

— Здравствуй.

— И ты здравствуй, друг мой.

— Какая встреча, — говорил еще бородач.

— Удивительная, — согласился Шутко.

— Да, — сказал десятиначальник.

— Значит, работаете? За порядком следите?

— Следим.

— Хорошо, — говорил Шутко.

— А ты, значит, тоже? Службу несешь?

— Куда ж деваться! — согласился Шутко.

— Твоя служба необходима, друг.

— А твоя, друг, еще и поболее моей необходима.

— Да, — говорил чернородый, — но не все это понимают.

— Не все, — вздохнул инспектор.

— Глупый народ! — говорил барбудос.

— Просто безмозглый, — снова вздохнул Шутко.

— Ужас!

— Это не то слово.

— Даже противно.

— Да, противно, — согласился Шутко, — что у нас такой народ!

— Так!

Я топтался за спиной у Шутко, инспектор будто забыл обо мне. Бородачи, стоявшие подле киоска, поглядывали то на меня, то на своего патрона, беседовавшего с инспектором. Я уж собирался было идти своею дорогой, а там уж будь что будет — не ждать же мне здесь до бесконечности, но тут Шутко словно опомнился.

— А ты знаешь этого человека, друг? — сказал он чернородому.

Тот внимательно посмотрел на меня.

— Это — большой человек, — сказал Шутко. — Очень большой! Как Исаакиевский собор. Ты же видел Исаакиевский собор? Да? А вот это — Неспалов.

— Неспалов? — переспросил десятиначальник.

— Да-да, трудно поверить, но это — сам Неспалов.

— Ну, если это — Неспалов...

— Ты уж, друг, относись к нему помягше, очень тебя прошу. Во имя нашей дружбы.

— Ради тебя, друг, я на все готов!

- Спасибо, друг, — говорил инспектор.
- И тебе спасибо, друг!
- Я горжусь знакомством с тобой, друг.
- И я тоже очень-очень горжусь.
- Хорошо, — сказал инспектор.
- Замечательно, — согласился десятиначальник.

Они вдруг обнялись, и Шутко поцеловал того в губы, бородач же поцеловал Шутко сначала в одну скулу, затем в другую, затем они расступились на два шага и посмотрели друг на друга с трогательностью. Бородач козырнул мне, и подчиненные его тоже козырнули, я неловко поклонился, и мы с Шутко двинулись в сторону моста. Чинизеллиев шатер громоздился на другом берегу реки. На мосту мы остановились.

- Вот теперь вы можете идти один, — сказал вдруг Шутко, глядя мне куда-то в сторону горла.
- Сдается мне, что вы — плут, инспектор, — отчего-то весело сказала я.
- Не сомневался, что вы это заметите, — парировал он.
- То есть вы собираетесь положить его в пещере и рассчитываете, что на другой день оживет, не правда ли? — сказал я.
- Кто? — серьезно переспросил меня Шутко.
- Худбин, разумеется.
- Это очень даже вероятно, — сказал Шутко.
- Вот в том-то все и дело.
- В чем? — спросил инспектор.
- В ваших ожиданиях, — сказал я.
- Ну... — сказал Шутко, — разве что только в них...

63.

Да, я сделался карикатурой: сгорбленный, шагающий, эксцентричный, бормочущий себе под нос тему из недописанного моего восьмого квартета. И с чего я вдруг заключил, что Шутко как-то причастен к Альфонсу? Мне там вдруг вообразился чрезвычайно любопытный контрапункт — ничего подобного еще не бывало. Не могу сказать, что я люблю небывалое, но я, пожалуй, пребываю в зависимости от него, сижу у него на игле. В контрапункте моем есть что-то ромашковое, перепелиное, домовитое, сатирическое, а еще там слышны грохот разгоняющегося локомотива и рассыпающейся каленой дроби. Сегодня же непременно запишу это. И там будут братоубийственные полутона, перистые пассажи, мизантропические диссонансы, морозные модуляции.

Когда я таков, и походка моя и ужимки делаются замысловатыми, виртуозно вымученными, причудливо-безудержными. Следует себя опровергнуть, чтобы обрести хотя бы видимость достоинства. И все же это слишком слабые средства, еще бормочу я, но фраза долго топчется на месте, так и не сыскав себе завершения.

Возле Русского музея стояли два танка, я взглянул на них искоса и без любопытства. И когда проходил по скверу, позади величественного бронзового истукана, те вдруг разом взревели двигателями, выпустили сизые снопы дыма и заскрежетали по развороченной брусчатке, ринувшись в сторону Садовой улицы.

Ничего особенного. То ли дело мелодии квартета! Мир можно окрасить этими мелодиями, хотя бы некоторыми из них. И еще... Сколько бы ни было перлов, заусениц, темных мест и невысказанностей, но вот наконец рукопись моя окончена.

Назовем ее все-таки отчетом. Отчет мой — дело моего оскуделого мозга. Он теперь обжигает меня. Никогда не думал, что так может обжигать литература. Квартет мой также промелькнул в манускрипте, скорее как идея, скорее как намерение. Отчет будет пуст, неполон без квартета с его причудливыми контрапунктами. Ртутное негодование. Метафизический поверженный. Быть по сему.

Иногда я с холодным любопытством взирал на прохожих. Их было немного. Они — слагаемые мира, мира сего — суррогата, бытия сего — фальсификации. Мы теперь не заглядываем друг другу в лица, тем более — в глаза, мы опасаемся человеческого. Человеческое угнетает и обескураживает, и вместе с тем оно наше неизбежное звание, оно наше неотъемлемое предназначение. Хочешь оболгать, ополщить человеческое — водрузись над почвою в ранге прохожего, в должности простолюдина.

Без приключений я прошмыгнул мимо Мойки и чуть далее — арки Главного штаба; квартет мой меня по-прежнему не разочаровывал. В нем все еще не убывала изобретательность, но если бы даже стала и убывать, я бы добавил... как это сказать... *amorgoso* и *cantabile*... в нижнем регистре, и, как знать... вдруг тогда гортань моя и сердце захлебнутся красотой, небывалою и необъяснимою! Красотою нужно захлебываться, смыслом нужно изнемогать. Пустотою — тяготиться, сомнениями — обогащаться. Идейка сия — причудливая, веселящая, будто закись азота. Впрочем, с другой стороны, что — красота? Красота — это слишком легко. Красота — моя профессия.

64.

Зато мне теперь не нравились пешеходы. В них я подозревал разнообразную сволочь. Я не подразделял их на всевозможные типы, но — напротив — они были сволочью всем скопом. Дух сволочи пополняет достояние духа мира, слово сволочи приумножает лексиконы человеков, своды их миромыслия. Сволочь — богатство городов и держав, сволочь — безусловное богатство, великое чудо, лучшее из явлений природы, источник силы и бессилия, божественный кладезь; все виды, породы и популяции пресмыкаются пред закосневшею, пред водрузившейся над почвою и над историей, над площадями и парламентами, над заносчивыми главами и суетливыми щиколотками, возвышенной и великолепной человеческой сволочью. Конец гимна!

Вот уж Исаакиевский собор оказался по одну мою руку, я стал его обходить, стараясь поменьше посматривать на него. Да нет же, я его почти не замечал. Собор... он старался меня угнетать, а угнетающим меня я плачу тою же монетой. Кто сказал, что меня можно угнетать вашими соборами?! Сами пред ними пластайтесь и раболепствуйте, сами пресмыкайтесь пред их понурым, свечным и ладанным духом. Сами молебствуйте, сами падайте ниц, сами воскуряйте и священнодействуйте! Вы нищи, наги и микроскопичны пред вашими соборами, а я же, хоть и не выше тех, хоть и не вровень с теми, назначение свое вижу в инаковости, в постороннем и отчужденном духе. Духу собора не смешаться с моим духом и уж тем более над ним не восторжествовать! В инаковости, в одной лишь инаковости — собор мой, отчизна моя, отдушина моя, правда моя, совесть моя, смысл мой и созерцание. Мученик инаковости.

Квартет мой возносил меня над человеками. Он сорвался с привязи, моя музыка нередко срывается с привязи и тогда многое сокрушает на своем пути — рутинное и обыденное. Я достал из кармана визитку Скарбеа и сверился с адресом: я шел правильно. Я подышал на ладони, согреваясь; я очень не хотел прийти к тому человеку озябшим и съезжившимся. Я не мог себе позволить такой роскоши.

А вот и снова Мойка невдалеке, и мост, здесь десятка два прохожих и автомобилей, все в каком-то графическом беспорядке, идущие идут, едущие едут, лишь я озираюсь на месте, оглушенный пронзительностью моего квартета.

Вчера уж я был почти в этом месте. Здесь пара шагов до Дома композиторов. Нет, не пара — восемьдесят пять! Территория позора. Ген одиночества. Гуталиновое чистосердечие. Асфальт здесь сплошь покрыт растоптанными чуингами.

Я подхожу к зданию, возле которого стоит пара машин прокуратуры. У одной разбито лобовое стекло. Я на минуту задерживаюсь: распечатка моя при мне, зато шила я с собою не брал — мало ли что! Так и оставил его валяться в прихожей. Черт! Ольга! Что если она вернется раньше меня. Но нет же, ничего страшного, это всего лишь шило. А если она заметит кровь? Разве на моем шиле есть кровь? Не привиделась ли? Может привидеться кровь? Раздумываю о крови, когда за дверную ручку берусь.

— Неспалов, — вдруг слышу недалеко от себя в стороне.

Это Скарбез, он помахал мне рукой. Разглядываю его, сощурившись.

— Я здесь! — восклицает еще.

Он приветлив, замечаю я, но — странную приветливостью. Что-то сделаное, осинное в этой приветливости. Я теперь больше предпочел бы неприязненность и нахмуренный тон. Я сделал десяток шагов в его сторону, он же не шелохнулся. Готовность, но без угодливости.

— Давайте туда не пойдем, — почти не разжимая рта, сказал он, когда я приблизился.

— Я принес свой отчет.

— Я знаю.

— Куда мы пойдем?

— В одно место. Здесь совсем рядом. Там можно поговорить.

— Поговорить? — переспросил я.

— Да, — сказал следователь.

65.

Мы были в Почтамтской улице. Шли очень медленно, я — по левую руку Скарбеза, плечи наши иногда соприкасались. Мы молчали минуту, прежде чем он не заговорил сызнава.

— Сарацин сидит в моем кабинете. Прислали недавно. Воссел напротив меня и взирает совиным взором. Вроде он — власть! И ничего не попишешь!

— Да? — коротко вставил я.

— Представьте себе. Сидит и ощущает себя превосходно. Ощущает себя хозяином положения. Это нормально, скажите?

— Нет, наверное.

— А у меня, между прочим, за плечами девятнадцать лет службы! — воскликнул Скарбез.

— Куда мы идем?

— Почти пришли, не беспокойтесь! — захопотал следователь.

Я промолчал.

— Иногда, знаете, не хочется заходить в свой кабинет. Нет, он — нормальный человек, высшее образование, специалист, наверное, неплохой. Вежливый, отзывчивый, не курит... но речь его, выговор... Бежать хочется! Ну, да вам это не интересно! А что интересно? А знаете, кстати, сколько сейчас всякого происходит. Необя-

зательно криминального! Происходит странное, необъяснимое. Обычные люди узнают что-то из телевизора, да и то — сотую часть, а мы здесь — из первых рук! Может, нас захватывают инопланетяне? Как вы думаете?

— Никак не думаю.

— Вам хорошо. Вы можете себе позволить *никак не думать*.

— Да.

— Вот мы и пришли, — сказал Скарбез, заводя меня во двор, глухой, тесный и разветвленный.

Мы остановились пред железною дверью парадного.

— А как вам такая история, Неспалов? — неожиданно усмехнулся следователь. — Обычный телефонист... работал, тянул свои кабели... залезал в люки, все как положено... и вдруг пропал. Почему пропал телефонист? Почему не пропал булочник или монтировщик декораций? Или менеджер по рекламе? Или композитор? Может, его съели — того телефониста? Или он сам истребил себя? Спросите, почему он был один? Обычно телефонисты работают небольшими бригадами. Нет, он тоже работал в бригаде. И пропал почти что на глазах у бригады. Залез в люк — и вдруг нет его. Вот в чем странность. Вот в чем метафизика и иносказание.

— Черт! — с досадой воскликнул я.

Железная дверь отворилась со скрежетом. Мы со Скарбезом шагнули в темноту. Он полез в карман за фонарем, но тут же налетел носком на первую ступеньку лестницы и выругался. Потом узкий сноп света все же заскакал по ступеням, и мы стали подниматься. Лестница была гадкой. Кривой, узкой, с разломанными перилами, с разбитою штукатуркой на стенах и грибком да паутиной на потолках. Третий этаж, куда мы поднялись со следователем, был этажом последним.

— А что, Неспалов, — вдруг ухмыльнулся Скарбез, — правда соблазнительно — взять вот так да и пропасть? Или взять да и поломать свою судьбу? Безжалостно. Безвозвратно. Правда красиво?

Я с ужасом посмотрел на своего провожатого. Не рискую ли я, входя вслед за ним в эту странную квартиру, которую он только что открыл своим ключом? Но раздумывать было поздно. Мы вошли.

— Наша конспиративная квартира, — сказал тот.

66.

Квартира была ужасной, запущенной. Чрезвычайно тесная прихожая со скрипучим дощатым полом; такой же тесный коридорчик вел в кухню, за поворотом оно-го виднелась дверь в туалет, еще из прихожей можно было попасть в комнатенку метров восьми, а также в другую — метров двадцати. На полу прихожей валялись тряпки, пивные бутылки были набросаны горой. Скарбез завел меня в двадцатиметровую комнату, здесь тоже были бутылки, на столе, застеленном прожженной клеенкой, валялись объедки, засохший хлеб, пустые консервные банки, глубокая суповая тарелка, кружка с засохшим чаем, постель была разложена, вместо простыни использовалось старое покрывало, одеяло с пододеяльником сгрудились здесь же вперемежку, две подушки — одна на другой — образовали горный хребет с седловиной, обои в разных местах отслаивались от стен пластами. Впрочем, были книги, много книг. Мельком я увидел Гомера, Кафку, Элиота, Натали Саррот. Два комнатных оконца утыкались прямым в стену соседнего дома.

— О чем мы с вами говорили? — задумался следователь.

— Ни о чем. Я принес отчет, который вы просили меня написать. Я отдам его и пойду, если у вас больше нет ко мне вопросов.

— Давайте, — равнодушно сказал Скарбез. Он принял от меня распечатку и небрежно бросил ее на постель.

— Я так и думал, что вам на самом деле наплевать на то, что я должен был написать, — с изрядною покоробленностью говорил я.

— Совсе не наплевать! Прочту с удовольствием... когда-нибудь... Да вы, Неспалов, присаживайтесь.

— А есть куда? — буркнул я.

— Да, квартирка-то конспиративная нечиста. Сядешь — непременно в пыли извозишься. А еще, знаете, насекомые ползают, с усами такими длинными, как антенны... да вон, вон — побежал!

— Зачем предлагаете?

— Тшусь гостеприимствовать. Хотя сам здесь в гостях, — вдруг подмигнул он мне.

— У вас какие-то вопросы ко мне?

— Вопросы? — удивился Скарбез. — К вам?

— Тогда я пойду, — сказал я в замешательстве.

— Как это так пойдете? Вы же сами хотели о чем-то спросить меня!

Кажется, сегодня была уже похожая сцена, сказал себе я. Сговор возможен, осталось только понять причину его. Вы гнать решили меня при посредстве зловещих намеков и недостоверных выпадов, сказал себе я. Жизнь же моя полна черного юмора и несметного содрогания. Я всегда втайне жаждал для себя такой жизни, иной жизни я и вообразить не мог. Терпение бумаги. Мне вдруг почудилось, что в квартире есть еще кто-то. Черт побери, я был твердо в том уверен. На кухне кто-то прятался, старался не двигаться, чтоб не скрипнули половицы, и даже не дышать. Но вот мог ли он нас слышать, как слышал его я? Мы говорили, а он тайлся — в том немалая разница. Хотя вряд ли у него был слух, подобный моему.

— Спрашивать мне у вас нечего, — помедлив, твердо говорил я.

— Ну и не спрашивайте! — весело бросил Скарбез. — Я и сам отвечу.

— На что ответите?

— Да вы так не напрягайтесь, Неспалов! Это вы из-за бумажек своих, что ли? Сказал же, прочту обязательно! Не в бумажках дело! А в чем, спросите? А в вас, дорогой вы наш! В ваших нервах. В возбудимости вашей. Я в два счета вам все объясню. Вас самого объясню вам, Неспалов. Хотите? Вижу, что хотите. А ведь скажи я вам, что ничего объяснять не стану, так обидитесь, поди! С кулаками на меня броситесь. А может, и не с кулаками, а с чем похуже. Есть ведь у вас что похуже кулаков?

— О чем это вы? — с трудом разжав губы, спросил я.

— Болтаю просто. Да только ведь сейчас каждый или с ножом ходит, или с шилом, или с заточкой, кто-то себе электрошокер покупает — все вооружены. За доблесть даже полагают — пакость какую-нибудь в кармане таскать. И ведь ладно — боялись бы за себя, а то и не боятся, и на смерть с улыбкой пойдут, а без чего-то колющего да режущего из дома ни шагу! Хоть даже маникюрные ножницы. Скажете, что они-то не оружие? Согласен — не оружие. А в глаз тыкнуть можно. Разговорился я! А я ведь еще и не то могу. Про что вы хотите? Или вы ни про что не хотите? А, Неспалов?

Я снова смотрел на него с ужасом и негодованием. Что за человек такой — Скарбез!

— Ну, так что? — с усмешкой говорил он. — Объяснять мне вас?

— Объяснять, — с запинкой говорил я.

67.

— Merci, avec plaisir, как говорится. И так... живет человек. Не старый еще, но уж и не первой молодости. Небесталанный, отрицать не стану. Даже, можно сказать, художник. И слава-то у него была. Куда же без славы? И деньги водились... А потом как-то так — всего стало меньше. Жизни, денег, славы, таланта... Ему бы встряхнуться, рвануть! Может, уехать за границу, напомнить там о себе! Но нет, не уехал, не напомнил! Что ж, честь ему за то и хвала! Где родился, там и пригодился. А тут в стране кавардак начался. Неразбериха. Растерялся наш герой, приуныл, мысли всякие полезли. А ведь когда мысли лезут, это уж начало, так сказать, конца, Неспалов. Гнать надо лезущие мысли! Головы их гадкие сворачивать. И тут вдруг — удача! Заказ! Особенный! Редкий! Ясное дело — энтузиазм, возбуждение, даже мысли головы свои попрятали! Начал работать, а работа не идет. А еще выясняется, что заказ-то дан не ему одному. Тут уж обида! Страшная обида, смертельная. И начал он сновать, как говорится. Туда-сюда. И везде обиду свою, вроде счита, вперед себя выставляет. Почто, мол, не ему одному заказ отдан, а чуть ли ни всем сразу?!

Губы мои, должно быть, побелели, пока я слушал разболтавшегося Скарбеза. Черт побери, с его стороны это была очень грубая игра! Он лгал и сам знал, что лжет! Быть может, он хотел поразить меня своею осведомленностью, но осведомленности его была грош цена. Осведомленность — отравленный источник. То, что он знал, знают теперь все. Впрочем, я решил его не прерывать: пусть себе говорит, что хочет.

— А тут еще эти убийства... страшные, темные, загадочные. Одно за другим. И все как в артиллерии: недолет, перелет, недолет, перелет! Но — жуткие такие все недолеты и перелеты! Так что кажется, что аккуратно прямо в тебя и угодило. И вот он начинает примерять все на себя: а сумел бы я — этак вот раз! — и в самое сердце?! На это не каждый решится! Но уж если решится, так не оторвется от того никогда! Верьте слову, Неспалов! Это — дело стоящее! Это затягивает! Нырнешь раз с головой — так не вынырнешь!

— Что вы такое несете! — вскричал я.

— Ну, — сказал Скарбез, — этакий вот баритончик художественный прорезался! Да только кричать-то смыслу большого нет: дом аварийный, старый — дай бог, человечка два-три на разных этажах затесались. Но криками их не прошибешь — и сами покрикивать мастера! Окошечки же в стену смотрят, как видите, дорогой мой. Нет, ну, в самом деле, не в форточку же вам сигать, коли наш разговор не заладится! А дверь заперта.

— Так это...

— Ой, ну не надо, Неспалов, пошлостей! — перебил меня следователь. — Дескать, ловушка! Никакая не ловушка! Вы ловушек настоящих не видели! Профессионалами нормальными устроенных. Подумаешь! Собрались два приятных человека и беседуют себе...

— О чем? — потерянно спросил я.

— О том о сем! О том, как после одного недолета художник наш кладет в карман шило и идет себе куда глаза глядят. А нельзя ему с шилом в кармане ходить.

— Почему?

— Потому что мысли всякие заводятся.

— Какие мысли?

— Всякие! О том, чтобы, например, самому попробовать.

— Что попробовать?

— Да мало ли что попробовать можно! Например: а выйдет ли у меня с одного удара, чтобы сразу наповал, или надо долго кромсать?! А долго кромсать — это значит себя уважать перестать. У других-то выходит красиво!

Я заметался по комнате. Стул был у меня на пути, я оттолкнул его.

— Да вы спокойней, Неспалов! — стал уговаривать следователь. — Может, чаю с молоком хотите?

— Не хочу! — крикнул я.

— И я не хочу! К тому ж молока нет!

— Плевать на ваш чай!

— Конечно, плевать! Вот и художник-то наш плюет на все — и на чай, и на себя самого, и тут вдруг у него обмороки странные завелись. Да только обмороки ли это? Беспамятства ли? Может, он хочет все забыть? От чего-то избавиться?

— От чего?

— Чужая душа — потемки, Неспалов. А потому не спрашивайте.

— А я думал, вы все знаете.

— Всего даже Господь не знает, куда уж мне-то все знать, скромному Скарбезу?!

— Клоун проклятый! — вдруг выпалил я.

— Отчего ж не клоун-то! Клоунство ясность рассудка сохранить помогает. А шило-то в кармане у художника нашего, кажется, даже раскаленным делается. Бок ему жжет, в сердце ему впивается. Или нет: оно как стрелка компаса — само поворачивается да художником нашим вертит.

— Вертит?

— Про художника-то дальше хотите? Интересно?

— Что там еще дальше?

— О! Дальше совсем интересно! Вот он подговаривает нескольких своих приятелей, и под окнами своего более талантливого... или более удачливого коллеги устраивают дебош.

— Что? — воскликнул я.

— Дебош, — невозмутимо повторил Скарбез.

— Я слышал слово! — крикнул я.

— А что ж тогда спрашиваете?

— Я не устраивал дебошей под окнами!

— Конечно, не устраивали. А при чем здесь вы?

— У меня под окнами устраивали.

— Ай-ай-ай, у знаменитости!

— Хватит паясничать! — крикнул я.

— А в один прекрасный момент (у него в кармане шило) и он видит ребенка.

— Какого ребенка?

— Ну... какие бывают дети? Я даже не знаю. Мальчики или девочки... но, главное, тот совершенно беззащитен, совершенно во власти нашего художника... он думает: а что если попробовать! а потом думает: нет, я все же сдержусь... и он сдерживается!

— Сдерживается?

— Да. Но вечером, уже дома, замечает, что рукоятка его шила в крови...

— Как же в крови, если сдерживается?

— А может, и не сдерживается. Напрасны, что ли, были его беспамятства?

— Кто вы такой? Чего добиваетесь?

— А еще он вдруг полюбил лазать по чердакам. Этак вот ни с того ни с сего! А потом там находят трупки.

— Чьи это еще трупки?

— Детские.

- Водопроводчики! Это ваши водопроводчики?
 - Водопроводчики? — удивился Скарбез. — Я водопроводами не занимаюсь.
 - И что дальше?
 - О чем вы, собственно?
 - Арестовывать меня станете?
 - Кого арестовывать? Вас? Знаменитость? Вы точно нездоровы, Неспалов! За что же вас арестовывать?
 - А для чего же все это мне сейчас рассказали?
 - Рассказал? А что ж такого я рассказал?
 - Про шило. Про трупики.
 - А что ж, у вас есть шило?
 - Может, и есть, — отчаянно сказал я.
 - Разрешите взглянуть?
 - Оно не с собой.
 - Как не с собой? Разве ж можно теперь выходить из дома без шила?
 - Вы-то ведь вышли.
 - С чего вы решили? — сказал следователь.
- Он медленно полез в карман, я с ужасом смотрел за его рукой. Наконец он извлек оттуда шило с толстой деревянной рукояткой, вроде моего, только крупнее. Он показал мне его издали, острое, как и у меня, было упрятано в «футлярчик» от простой шариковой ручки.
- Вот, — сказал Скарбез.

68.

Я хотел знать, нет ли там засохшей крови на рукоятке, и даже вытянул шею, сиюсь разглядеть это. Скарбез покрутил кулаком с зажатым в нем оружием и вдруг, издав резкий звук, вроде «хех», с размаху всадил шило в столешницу. Футлярчик разлетелся, шило упруго завибрировало на своей вострой ножке.

Теперь будто бы маски слетели с нас обоих. Мы со Скарбезом стояли по разные стороны стола, меж нами было шило, оба мы смотрели на него, оно было ничье, оно могло бы достаться тому, кто ловчее.

- Точность удара... — прошептал мой собеседник. — Это так важно, Неспалов.

- Что? — тоже шепнул я.

- Ошибка невозможна. Вы играете на рояле в концерте... и берете вместо ми — ми-бемоль! Что будет? Смешки, стыд, досада... Но там ваши поклонники, ваши сочувствующие. А мы всегда во враждебном окружении...

- Кто — мы?

- Просто — мы!.. Нам ми-бемоль взять никак нельзя. А уж если ми-бемоль все-таки выскочило, так нужно истребить всех, кто это услышал. Сразу же! Чтоб не успели разстрезвонить: «Акела промахнулся! Мастер разучился убивать!» Тут уж надо и устройство сердца знать досконально. Вы знаете устройство сердца, Неспалов? Клапаны, желудочки, артерии... Расположение ребер. Если женщина — новая проблема! Грудь! Лучше, конечно, бить со спины. А если — застежка от лифчика? Иногда попадают довольно внушительные!

- Вы так шутите? — опасливо прошептал я.

- Какие уж там шутки? И ведь сами знаете, что я не шучу. Потому что и вы тоже нисколько не шутите, не правда ли?

- Наверное, нет, — сокрушенно говорил я.

— Вот! А потому... не надо никаких женщин, с их грудью, с их застежками. Лучше — деточки, маленькие, слабые, беззащитные... Вы любите, когда деточки беззащитны?

— Я не убивал никаких детей!

— Может, не убивали. Может, убивали. Неважно.

— А что же?

— Наш разговор важен. Наше, так сказать, друг к другу доверие.

Предо мною было будто пресмыкающееся, и оно завораживало меня. Я смотрел на шило, воткнутое в стол, и Скарбез смотрел тоже на шило. Меж нами было странное равновесие, необъяснимое, зыбкое. Нельзя было перечить этому психопату. Невозможно было и затевать что-либо против него. Он внимателен, он угадает мою мысль, он опередит меня. Даже если схватить бутылку с пола и ударить Скарбеза по голове, он все равно прежде ударит меня своим чертовым шилом. Я старался не думать ни о бутылке, ни о голове, ни об оружии Скарбеза. Как мало во мне навыков! Гораздо меньше, чем необходимо для существования!

— Как же «неважно»? Что вы такое говорите? — с горечью бормотал я. — Если это — я... тогда... И еще эти беспамятства, тут вы правильно заметили... я очень плохо сплю, почти не сплю вовсе, только сижу, мучаюсь, всякие картины и мысли лезут, а уснуть не могу. А на чердаке я только раз был. Я об этом написал... в отчете. Но это — другое. Мне просто нужно было пройти незаметно... А еще ночью я слышал, как по квартире кто-то ходит. Возможно, водопроводчики. Они приходили за мной, я знаю. Но не зашли почему-то.

Я уже ясно видел, что Скарбез убьет меня. Ему это раз плюнуть, ему это что муху прихлопнуть. Он безжалостен, жизнь человеческая для него — тьфу! А лишить жизни — ни с чем не сравнимое удовольствие, он сам это сказал. Быть может, при других обстоятельствах я бы его понял, я бы даже ощутил что-нибудь сходное; во всяком двуногом немало подспудного и неосознаваемого, в том числе и самого безобразного свойства. Но теперь... А впрочем, может быть, и теперь! Я дрожал, и еще — губы... Черт! Не придерживать же мне их пальцами! Он исколет меня всего, он нанесет множество ударов: сорок... или восемьдесят пять.

69.

Сколько вдохов груди осталось до моей смерти? Это зависело от него, от его прихоти, от его внезапного помрачения. А во мне теперь, как на грех, почти не осталось независимости и холодного пламени, во мне не осталось ни капли достоинства: всю жизнь собирался встретить смерть с достоинством, но именно теперь оказался не готов. Если бы хоть не губы... если бы не они, все было бы много проще!

Скарбез, должно быть, увидел мой страх. Он стал издеваться надо мною: глядя в глаза мне, вдруг дернул рукой, будто собирался схватить шило. Я тоже дернулся. Он еще раз проделал свой трюк. Я дернулся снова. Мне с моими повадками обывателя и простолюдина никак не сравниться, разумеется, с этими тренированными людьми: офицерами, сарацинами, спецназовцами, бойцами. Они хладнокровнее, они сильнее, они увереннее. Скарбез захохотал.

— Нам крови надо! — крикнул он.

— Какой? — пролепетал я.

— Свежей, — сказал Скарбез.

— Моей?

— На что нам ваша?! Надо, чтобы вы ее принесли.

— Что? — подавленно спросил я.

— Свежую кровь.

— Чью?

— Живую. Свежую. Детскую. Неважно. Когда какой-нибудь там Ермолай, Федот или Матвей за шило берется — это хорошо, конечно, но это всего лишь Ермолай, Федот или Матвей. А вот когда — Неспалов! Нам потоп нужен. Абсурд нужен. Нам светопреставление требуется. Только это спасти может.

— От чего?

— Что? — спохватился Скарбез.

— От чего может спасти?

— От лукавства власти хотя бы! — твердо сообщил следователь. — Народ за всеми чертами живет: бедности, бессмысленности, безнадежности, преступность уличная в тридцать раз подскочила, а они мощны себе набивают. С южных островов не вылазят, брюхи свои отвисшие под солнцем нежат. И все говорят, говорят, такие все либеральные, такие все складные! А вот когда Рихтер кого-нибудь придушит, когда Солженицын за топор схватится, когда Неспалов шилом ребеночка кольнет, вот тогда с пустословием будет покончено. Тогда придется серьезно задуматься, тогда придется выводы настоящие сделать! На весь мир прогрехочет, вся европейская шваль — профессора, министры, правозащитники — захлопочут! Диссертации настрочат, ученые степени станут отхватывать. Гранты, субсидии, стипендии, дивиденды! И все на наших светопреставлениях, все на нашем бедламе! Вы только вообразите себе! Неспалов — маньяк! Рихтер — душитель! Мамлеев — отравитель, Уланова — садистка, Шнитке — расчленитель трупов!

Я уж стал уставать от этого ужасающего умственного конфитюра. Я был обессилен, измучен, пот стекал у меня по вискам.

— Не трогайте мертвых... — тихо попросил я.

— Ладно, — усмехнулся Скарбез. — Буду живых.

— Я не стану никого убивать, — еще тише сказал я.

— А что если вы уже?

— Н-нет... этого не может... но все равно... даже если и так... я больше не стану.

Я останавлиюсь.

— Не выйдет, — сказал Скарбез. — Вы еще не всех... кого были должны.

— Кого? — мучительно спрашивал я.

— А милую барышню, что навещает вас, — сказал следователь. — А десятилетнюю Соню, которая сделалась такой капризной... волков себе выдумала...

— Нет, — сказал я.

— Да, — сказал Скарбез.

— Нет! — крикнул я.

— Нужна мода на интеллигента с шилом в кармане, — убежденно говорил Скарбез. — Заметьте: не с фигой в кармане, как в былые времена, а именно с шилом. При этом традиционный хлюпик, очкарик и размазня, над которым насмехается наша фельетонистика, преобразится необычайным образом! Нужна организация... но она уже есть. И еще важны экономические рельсы, юридические рычаги! Маркетинг, баланс, учредительный договор, жесткая иерархия, курсы повышения квалификации, система бонусов и поощрений, психологическая реабилитация, социальный пакет.

— Нет! — заорал я.

Я думал о том, кто прячется в кухне; наверняка это сообщник Скарбеза, а стало быть, шансы мои даже не ничтожны — они просто отсутствуют. Поначалу я боялся этого второго, как боялся и Скарбеза, но вот вдруг они мне сделались безразличны. Я с силою толкнул стол, ударив Скарбеза выступающей частью столешницы в бедро

возле паха. Он взвыл, отлетел к постели, но все же выправился и ринулся в мою сторону. Я хотел было выдернуть шило, но Скарбез успел ухватиться за его рукоятку первым. Я снова толкнул стол и еще швырнул стул ему под ноги, на тот случай, если он погонится за мной. Скарбез выдернул воткнутое шило, но в ту же секунду я схватил со стола тарелку с засохшими остатками супа и с размаха ударил ею Скарбеза по голове. Тарелка разлетелась. Кровь хлынула из рассеченной его головы, он упал, но видно было, что ненадолго. Он стал вставать, я с ужасом глядел, как он встает. Я схватил еще пустую бутылку, но ударить ею Скарбеза уже не решился, а только швырнул в его сторону. Бутылка легко задела его темя, не причинив вреда, и ударилась в стену. Более смотреть на побоище или участвовать в нем я не мог и, вопя что-то нечленораздельное, бросился вон из комнаты.

Ключ? Где может быть ключ? Он где-то там, у Скарбеза. Вышибить с разбегу дверь? Разве ж это возможно? Топот Скарбеза был у меня за спиной, я слышал его превосходно. Два метра, потом метр, я всего лишь хотел продлить жизнь на мгновение или два. Я повернулся лицом к обезумевшему следователю, отшатнулся, но вот вдруг наступил на пустую бутылку, та вывернулась из-под ноги, и я рухнул на пол, растерянно и нелепо.

Скарбез бросился в мою сторону, бросок его был даже не долгим, но каким-то, как мне показалось, вечным, я отползал в угол, вдруг еще что-то мелькнуло надо мною и сбоку, я хотел было закрыться руками, но их не хватало на то, чтобы закрыться всему сразу, и был крик, совсем близко, и еще один, я тоже вскричал, и тут что-то навалилось на меня, темное и тяжелое.

70.

Человек, рухнувший на меня, захрипел, судорожно дернулся четыре раза и вдруг обмяк. Мне было тяжело, мне было страшно и неудобно. Я начал сталкивать его, но провозился с телом секунд десять. Надо мною нависал... Григорий, в руке он держал шило. Другое шило валялось предо мной на полу.

— Это... ты? — с ужасом говорил я.

— Я, — бесцветно ответил Григорий. — Один из...

— Из... кого? — спросил я. Хотя и сам уже знал ответ.

— Угадай, что ли!

— Ты... тоже?

— Почему — тоже? — спросил он. — Ах... этот! — он с ненавистью взглянул на тело Скарбеза, скрючившееся подле порога маленькой комнаты. — Я давно хотел... Мне даже снилось...

— Снилось? — переспросил я. И тут же спохватился: — А ты как... здесь?..

— Живу я тут! — нервически усмехнулся мой собеседник.

— Ты? — изумленно говорил я.

— Ты запомнил. Квартира у Исаакиевской. А сколько раз были здесь их сборища! И Григорий тогда... на кухне сиди! Как недочеловек какой-нибудь... А я разве недочеловек? А, Неспалов? — Григорий внимательно рассмотрел свое шило, потом медленно отер иглу о пальто Скарбеза. Боже, как голубы его глаза, оказывается! Я даже вздрогнул от этой пронзительной голубизны. Я боялся взгляда Григория. Он такой же, как и Скарбез, ничуть не менее опасный. Из огня да в полымя. Праздник последнего мига.

— Ну, что ты, Григорий, — сказал я. — Нет, конечно.

— А мне, знаешь, просто поговорить хочется. А получается, что и не с кем. Ты меня гоняешь...

— Прости... — прошептал я.

— А ведь я все-таки поэт. Я — поэт? — тревожно переспросил он.

— Конечно.

— А я и с мертвыми моими иногда говорю. Но они думают, раз я их убил, значит, со мной и говорить нельзя. А разве я — плохой собеседник?

— Нет, Григорий, — твердо сказал я. — Не плохой.

— А почему ты так думаешь? — настороженно спросил тот.

Я смотрел ему прямо в глаза, я старался, чтобы ни мысль моя не читалась, ни ощущения, я старался спрятать, сокрыть и ту и другие.

— Ты умеешь слушать, — сказал я. — Чего, возможно, нет у меня. Ты странен и парадоксален, а это бывает интересно. Наконец, потому, что тебе есть что сказать. У тебя много за душой. У тебя — опыт...

— Опыт? — усмехнулся Григорий.

— Прости... прости... — снова сказал я.

— А ты собак любишь?

— Никогда не думал об этом.

— А я однажды щенка взял... прибил на улице... Я назвал его Сартром. Правда ведь, Сартр похож на щенка? У него психология щенка и мысли щенка, он жалок, как щенок. Он думает, что ножку задрал на жизнь и тем самым возвысился над жизнью! А на самом деле он сам описался перед жизнью. Надо ж! «Тошноту» какую-то выдумал! Да у него кишка тонка! И тошнота его — *тонкокишечная*! Он сам оказался бесконечно ничтожнее жизни. Эти французы чрезвычайно раздули значенье своей мысли. А сами просто сдрейфили перед смертью. А это так просто, Неспалов! Ты приучи себя к смерти, к конькам отброшенным, возлюби смерть свою и сам увидишь, как изменится направление твоей мысли. Как аромат ее переменится. Ты понимаешь?

— Что стало с твоим Сартром? — спросил я.

— Подох, — брюзгливо отмахнулся Григорий. — Он надоел мне и подох.

— Подох потому, что надоел? — машинально уточнил я.

— Ты думаешь, я на нем удар ставил? Нет, удар у меня тогда уже был поставлен.

Меня научили.

— Кто научил?

— Наставник. У нас — наставники. Думаешь, это все — любительщина? Ну, уж нет! А теперь я сам наставник! Он тебе про маркетинг успел сказать? — пнул Григорий тело Скарбеца.

— Успел...

— А что за маркетинг такой? А? Вот то-то и оно, — усмехнулся Григорий. — Маниакально-сетевой маркетинг. Стажер должен ухлопать троих и подготовить трех стажеров, тогда он становится наставником. Подготовивший трех наставников становится мастером.

— А он? — указал я на Скарбеца.

— Он! — презрительно скривился Ердаков. — Называл себя мастером! А на самом деле даже убивать толком не умел. И с тобой не смог справиться.

— Он бы справился. Если бы не ты.

— Он говорун был: гипноз, медитация, психологические воздействия.

— Да.

— Говорят, за него убивали другие, а он приписывал себе их подвиги. А это же некрасиво, Неспалов!

— А Сотников?

— Стажер! — презрительно протянул Григорий. — Прескверный. Чванливый, туповатый, нетерпеливый. А из тебя бы вышел хороший стажер.

— Григорий, зачем это?

— Чтобы смешалось все, чтобы перепуталось! Чтобы было большое возмущение. Чтобы беззаконий было много! Миллион... Ты, Неспалов, на народ наш взгляни! Он ведь — труха, блевотиной слепленная, перегаром оваянная, но в дерзости своей отчего-то выдает себя за драгоценный камень, даже не поделочный. А тут вдруг — такое горнило, плавильная печь. И вот тогда... Все излишнее выгорит, выпарится, и самоцветы подлинные заблестят! Мы вот говорим: Ницше, Ницше! А что — Ницше?! Ницше народу нашему не указ! Народ наш в деле презрения к человеку любого Ницше переплюнет. У нас будет тысяча Ницше в день. Десять тысяч Ницше! И я теперь тебе любого Фридриха переплуну: он-то из головы брал свое, а я — из опыта. А опыт — важнее головы, он важнее извилин, он в сердце клокочет, он грудь разрывает!

Григорий перевел дух.

— Убей одного — тебя в тюрьме сгноят. Не посмотрят даже, что ты — Неспалов. А убийце миллиардов воздвигают храмы! Тому, кто век человеческий обрывает, поют псалмы, возносят молитвы! Кто тебя убивает, тот и есть твой бог! Никаких других богов нет у человека. Именно Он так устроил, что и тебе, и мне умирать, может, в мучениях нечеловеческих, а мы Его держим за добрячка! Какое заблуждение! Но при том привлекательное, заметь! Будем как боги, как говорится! То есть будем, как боги, *убивать!*

— А я?

— Ты вовлечен, втянут, — сказал Григорий, — но ты невинен, будто младенец.

— Я не убивал никого?

— Откуда мне знать?! В сердце своем ты каждый день убиваешь... но все равно невинен. Ты — странный зверь, Неспалов!

— Григорий... — сказал я. — А ты *об этом* пишешь... стихи?

— Пробовал. Не могу. Надо бы — а не выходит!

— Может, тебе было бы легче.

— Может быть...

Мы все еще стояли в прихожей, в метре друг от друга. Григорий был будто бы миролюбив, к тому же он только что спас меня от Скарбеца. Хотя настроение его могло внезапно перемениться. Зловещая околесица.

— А что теперь с этим? — кивком головы указал я на Скарбеца.

— Пусть, — пожал плечами Григорий. — Окна только открыть, чтобы не вонял дольше.

— А ты? А квартира?

— Мне немного осталось. Может, до конца дня. Его свои же искать станут, а про меня они знают. И про тебя тоже.

— Почему про меня?

— Ну а что ты хотел? Все знали, куда ты направился.

— Я не убивал!

— Конечно. Ты его только тарелкой треснул.

— Но ты же скажешь, что это не я, Григорий?

— Ладно, ты иди, Неспалов! — угрюмо вдруг говорил мой собеседник. — У меня еще дела есть.

— Идти? — засуетился я. — А ключ?

Григорий молча отпер дверь, я хотел было выскользнуть сразу, но все-таки задержался.

- Григорий... тебе хорошо, когда ты делаешь это?
- Может, и хорошо, — хмуро сказал тот. — Но и хреново! Колотит всего!
- Но что тогда? Власть?
- Власть. И хорошо. И колотит. И могущество. И любопытство. И праздник. И все сразу.
- Скажи... Стажеры, наставники, мастера... а еще кто-нибудь есть?
- Говорят, есть гроссмейстеры. Но их не видел никто. Какая ж ты все-таки сволочь, Неспалов, — вырвалось вдруг у Григория, — что не дал мне на пиво, когда я просил!
- Прости! — пробормотал я и метнулся за дверь.

71.

Так много лжи, приблизительного, недостоверного у властителей дум! Вот, например, ад — это не другие, вовсе не другие, но — напротив — это собственные твои ощущения, когда сам себе становишься невозможен, когда пытаешься спать и не можешь, ибо во сне, в приближении ко сну, в выпадениях из него — смерть, смерть, неизбежная во всех отношениях, когда не можешь дышать — не хватает воздуха и хочется разодрать, рассечь свою грудь, ибо в ней ужас и бессилие, боль и отчаяние. Но как же другие? Какие приемы и уловки, какие формулы и приспособления изобретают они, чтобы примириться с существованием своим? — бормочешь себе ты, отчаянно вопишь себе ты, производя в себе новые болезнь, бред и замирание сердца; но, во-первых, что тебе другие, а во-вторых, быть может, сей ужас, сей озноб, есть твой персональный ужас и твой персональный озноб, есть твой индивидуальный и неотъемлемый ад. Что тебе существование чужое, когда ты не знаешь, что тебе делать с существованием твоим?! Ты ведаешь, что значит — не находить себе места? Ты знаешь, как это бывает, когда ненавидишь грудь свою за безграничность ее расширения. Воздуха! Жизни! Смысла! Красоты! С кем ты теперь говоришь? Так... с лучшим из моих слушателей, с моею тоской!

72.

Я мчался по Фонарному переулку, средоточию былой разночинности, дома с двух сторон переулка будто бы сдавливали меня, кажется, желая исторгнуть из меня последние человеческие соки. Свободен ли я? Во всяком случае, пока жив. Значит, я — не убийца? Этого пока никто не подтвердил. Мой отчет остался там же, где труп следователя. А это, черт побери, непроверяемая улика! Меня невозможно не опознать по моим запискам. И там, в тех записках, глыбы существительных, замшелые и выветренные, гипнотизирующие дефиниции, глаголы в их тяжелой и недвусмысленной поступи, и также местоимения, которые сродни насекомым, жалящим и жужжащим, — там все смешалось в беспорядочной и сбивчивой речи, затекло патокой, засверкало смарагдами. Снова я не о том.

Итак, я жив, но услуга, которую оказал мне Григорий, пожалуй, была скверной, какой-то *картавой* и неудобоваримой. Скарбеза скоро хватятся; многие знали, что я шел к нему. Труп, мои записки и мои отпечатки... А может, им и не надо, чтобы я убивал. Может, им достаточно обвинить, оклеветать меня? Может, это и есть звено их сатанинского плана? Кто они? Мне не нравился фатализм Григория. Ясно, что он не видит для себя выхода. А если так, то не станет ли он снова опасен?

Сейчас — приступ лояльности, через час — приступ безжалостности — откуда мне знать, как далеко заводят Григория его помрачения!

Стихи! Лучше бы ты, как прежде, писал стихи, свои немудреные, головоногие вирши! Когда, в какую минуту, ты, Григорий, впервые споткнулся и соскользнул в эту мутную и беспорядочную клоаку, в это скопище темных помыслов, в это месиво взрывчатых построений и намерений, в этот ад необъяснимого, подавленно-го, потаенного?! Лучше ли тебе теперь в крошечном, чем прежде в обыденном? Наверняка ведь нет! Так отчего ж ты не попытаешься вырваться, пусть ценою крови, слез и нервов, вырваться в прежнее, вырваться в светлое, в привычное, в рассудительное, в человеческое? Григорий! Что же ты заплутал так?!

Должно быть, они плетут свои интриги, громоздят свои инсценировки, ритуалы и кунштюки, лелеют свои грозные замыслы. Цели их неведомы или, напротив, слишком уж ведомы, прозрачны и очевидны. И вот и я, и Григорий, и Лиза, и Соня, и Гольдфарб, и Скарбез — все втянуты в их хитроумную игру. Никто из нас не знает своей действительной роли, мы кажемся себе свободными игроками, но это — иллюзия, самообман, заблуждение. А Шутко, Чанский, водопроводчики, сарадины — их дьявольская прислуга! Впрочем, в этой игре, как в пьесах Мольера, роль прислуги зачастую важнее роли сеньора. Ветер, дома, воздух, автомобили, хорьки на задних сиденьях — их бутафория. Хорошо, что я смог осознать себя марионеткою. Тем более я буду стараться оборвать нити, за которые поддерживают меня. Нити! Из одной из них, пожалуй, возможно для себя смастерить и петлю...

А есть ли у меня с собой телефон? Я выхватил его из кармана, отыскал нужный номер. Гудки длинные и будто сиротские, механически-расслабленные и безжизненные. И вдруг — голос, который я узнал бы из миллиона других голосов.

73.

- Соня! — крикнул я.
- Это ты — волк!
- Мама дома?
- Мамы нет. И папы Виталика тоже нет.
- Папы Виталика?
- Его давно нет.
- Ты одна?
- Одна. По телефону говорю.
- Ты не голодная?
- Есть две морковки.
- Соня, — сказал я. — Это ведь ты взяла деньги?
- Молчание.
- Я.
- Зачем?
- Там было много. Я спрятала.
- Но зачем ты взяла?
- Мама с папой Виталиком ругались из-за денег. Я хотела, чтоб не ругались. А потом он ушел.
- Да.
- Ты не знаешь, где он?
- Он... теперь далеко.
- Он вернется?

- Может быть. В другой жизни. В другом обличье.
- Он будет волком?
- Он будет бурундучком, — сказал я. — С полосками на спинке.
- И он не будет больше опасным?
- Наоборот. Он сам будет всех бояться.
- Папа Виталик и так всех боялся.
- Ну... кто-то боялся и его.
- Значит, это не я его убила?
- Ну, что ты говоришь! Ты еще маленькая, чтобы убивать.
- А когда вырасту — смогу?
- Зачем тебе это?
- Все убивают. Мне тоже нужно уметь.
- Может быть, это когда-то все же остановится...
- А может, и нет.
- Я когда-нибудь расскажу, каково это чувствовать, что только что ты кого-то убил. Я сам не убивал, но... знаю. Если тебе будут рассказывать про меня, будто я... ты не верь этому, Соня! Договорились?
- Нет, — сказала она.
- У меня внутри что-то оборвалось, какой-то подвешенный груз, я ничего не мог сделать с этим ребенком. Горы льда, здесь тысячетонные торосы, и жизни не хватит, чтобы растопить сотую их часть. Я и сам таков, я и сам холоден и неприкаян, я и сам бреду по горло в безверии, я и сам живу по ключицы и по грудь в безучастности.
- А где мама? Ты не знаешь, Соня? Куда она ходит?
- Дирижирует хором.
- Я изумился.
- Ты что-то путаешь! Она не умеет этого делать.
- Умеет.
- Что ты такое говоришь?! — крикнул я. — Никого нет на свете, менее пригодного для того, чтобы дирижировать хором, чем твоя мама! У нее для того нет слуха. Вот у тебя хороший слух, у меня тоже хороший, а у нее — плохой!
- Дирижирует хором, — упрямо повторила Соня.

74.

Отчасти я клекотал, но все ж внутренне усмехался выдумке Сони. Впрочем, недолго я усмехался. Ибо через минуту полностью убедился в ее правоте. Конечно, это совпадение — невероятное, немислимое, но в жизни моей теперь все чаще образуются именно такие вот совпадения. Я несся по Садовой в сторону Сенной. И неожиданно увидел Лизу чрез витринное окно кафе на моем пути. Вернее, сначала я увидел «хомячий профиль», сидящий за столиком подле окна в кафе, он благоговейно взирал на кого-то прямо перед собой. И благоговейность его была так же хомячьей. Рядом примостился человек постарше, в лице которого тоже виднелось что-то грызунье. Благоговения не было в нем, но лишь одно затаенное внимание. Третий человек за соседним столиком вдруг оскалился, обнажив ряд мелких и чрезвычайно острых зубов с выдающимися клыками. Тут-то как раз я увидел Лизу, она, кажется, была среди всех самую главной *грызуньей*, а взиравшие на нее мужчины — недавнюю сотниковской сворой. Будто бы по наследству перешло от Сотникова к Лизе странное главенство над этими промозглыми личностями. А может, это главенство было всегда? И там, на Моховой, именно Лиза втайне управляла эту дюжиной?

Лиза сделала взмах руками, и все поднялись со своих мест. Еще — взмах, и ее подопечные выстроились в пространстве между столиками. Потом — пауза: хористы подобрались, настроились. Новые взмахи Лизы, на четыре четвертых, и свора запела, старательно, вдохновенно. Что они пели? Эти люди не пели ничего. Они открывали рты, набирали воздух, у них были и крещендо и диминуэндо, там были и легато и стаккато, и все ж изо ртов их не вырывалось ни звука. Если б что-то было, я бы все равно услышал, несмотря ни на витрины, ни на транспорт. Лиза же дирижировала тишиной. В том не было ни пародии, ни гротеска; все исполнялось с сознанием важности задачи и собственного предназначения. Тишину они разложили на несколько голосов, будто бы на четыре. Была тишина басов, тишина баритонов, тишина теноров и даже дискантов.

Должно быть, Лиза почувствовала чужой взгляд: обращаясь к басам, она вдруг скосила глаза в мою сторону, увидела меня, буквально прильнувшего к стеклу, встрепенулась, ее подопечные также увидели меня, хор смешался, расстроился. Кто-то, кажется, метнулся к выходу, быть может, даже чтобы поймать меня или поколотить, но Лиза властным движением руки вернула ретивых хористов на место и лишь обдала меня презрительным пожатием плеч.

Я отшатнулся от стекла. Мне не дают жить жизнью великого частного лица, меня втягивают во всевозможные события, навязчивые и необъяснимые. Мне несомненно указывают, что греховная карьера моя окончена, а день сей славен дыханием судорожным и нитевидным пульсом.

Я понял: наш Бог — аутист. Он не смотрит прямо ни на мир, ни на человека, у Него свой мир и свой человек, воображаемые, вымышленные, великолепные. (А где великолепие у нас? Нет у нас великолепия!) У Него свои чудеса, своя правда, свой смысл и своя логика, свои счастье и предельный тонус. Бытие Бога — история болезни, человеку, впрочем, неведомой, никакими теориями не объяснимой, никакими словами не описываемой.

Я понял: Лиза — оборотень, *оборотниха*, она уходит и превращается. Всякий раз превращается в разное, может и в святость, может и в нечисть, может и в зверя, может и в нечто надмирное. Много в ней страшного, потаенного, недооформленного. Когда же возвращается, она — снова женщина, капризная, непримиримая, взбалмошная. Я всякий раз видел женщину, но теперь угадал оборотня. Быть может, те грызуны — ее свита, и сейчас они приветствуют свою преобразившуюся патронессу. Соня, дочь Соня, как же страшно, как холодно тебе в этом мире, так же страшно и холодно, как страшно и холодно мне!

Я втянул голову в плечи и побежал. Но пробежал не более десяти шагов, ибо наткнулся на человека на моем пути. Зачем на моем пути — человек? Не надо на моем пути человека! Да будет мой путь отчужденным, да будет тропа моя пустынной, безлюдной, безгласной! И все же я — главный *звукотворник* мира, главный мелодист двуногих и млекопитающих, тайный и неизвестный их ходатай и поручитель!

Я хотел обежать сего человечка, я еще не видел его, не видел лица его. Видел лишь, что он худ, высок и сутул, с какою-то анахронической жилкой, что он не молод, лет чуть более семидесяти двух. Я поднял глаза и посмотрел тому в лицо: нет, я не знал его. Исходила ли от него опасность? Нет, опасность от него не исходила, скорее она исходила от меня.

На голове старичка красовался берет. В одной руке у того была хозяйственная сумка. В ней что-то звякнуло и плеснулось.

Лицо старичка осветилось изумлением, он стал разводить руками — одну с сумкой, другую пустой.

— Неспала-а-алов! — протянул он. — Мирослав Евгеньевич... Это вы? Бежите? На улице? Вот так вдруг...

75.

— Кто вы? — крикнул я встречному.

— Я? — удивился старичок. — Никто. Обыватель. Мелочь. Ваш давний поклонник. Обо мне не стоит даже говорить. А вот вы! Иду себе, иду, что-то бормочу под нос и вдруг встречаю... Неспалова! Поразительно!

— Да, — буркнул я.

— А я ведь вас еще назад лет тридцать слышал. Мальчишкой. В филармонии, в Большом зале. Сколько в вас тогда было артистического, подлинного. Тогда уже подумалось: это — настоящее. Это вот навсегда!

За спиною у меня был хор «грызунов», возглавляемый Лизой, передо мною стоял этот «поклонник», где-то неподалеку, возможно, бродил Григорий с шилом в кармане, еще коллеги Скарбеца, о них тоже не стоит забывать — в общем, положение мое было не из блестящих...

— Ну, уж и навсегда... — пробормотал я.

— Навсегда! — закивал головой мой собеседник. — Я слушал вас раз пятнадцать, не меньше. И всегда это было так свободно, естественно, что, казалось, до Неспалова вовсе не было музыки. Мы вот так себе жили, а потом пришел Неспалов, сделал что-то и сказал: «Это вот — музыка!» Научил звучать инструменты. Научил слышать уши. Я дилетант, профан, рядовой инженер, никогда не игравший даже на пианино, а и то понимаю, что вы сделали в музыке. Однако вы, кажется, торопитесь, а я остановил вас, — спохватился вдруг старичок в берете.

— Я торопился, — сказал я. — Но рядом с вами я в безопасности.

— В безопасности! — с горечью качнул головой мой собеседник. — Такой человек, корифей, светило... и вынужден думать...

— Ну... — сказал я.

— А вопрос... позволите?

— Пожалуйста, — сказал я.

— Почему вы не уехали?

— Не знаю, — честно сказал я. — Правда, не знаю.

Пронеслись ли у меня перед взором дома и улицы этой вылизанной Европы? Этого изнуренного благополучием Нового Света? Нет. Ни одной картины не пронеслось перед взором моим. Я не хотел картин, и картин не было.

— Много бы места для вас нашлось в мире. И были бы триумф за триумфом, успех за успехом...

— Я, может, еще и уеду.

— За границу?

— Просто исчезну. Пропаду. Растворюсь.

— Неспалов не может исчезнуть. Он слишком заметен.

— Я попробую.

— Жаль.

— Что поделаешь, — пожал я плечами.

— Можно еще вопрос?

— Да.

— Что вы сейчас пишете?

Я задумался. Говорить ли ему про симфонию? Нет, про симфонию ни слова, ни звука, да ведь и нет ее — этой самой симфонии! Уж лучше сказать про квартет.

Хотя квартет, конечно, выйдет много ничтожнее этой возможной симфонии, с ее скептическими полутонами, с отчаянными мелизмами, со стратосферными диссонансами, с ее ангельскими модуляциями и хтоническими секвенциями.

— Струнный квартет, — сказал я. — Восьмой по счету.

— Да, — зажмурился от удовольствия старичок. — Я помню ваши прежние.

— И еще... «Баллады двух боков».

— Как это?

— У меня часто бывают бессонницы. Пытаешься заснуть — и не можешь. На один бок ложишься — одно мерещится. На другой бок переворачиваешься — мерещится другое. Вот о каждом мерещущемся — по балладе. Баллада правого бока, баллада левого бока... Это будет непременно в мажоре, в этаким, знаете, экзистенциальном мажоре.

— Потрясающе!

— Сначала написать надо, — махнул я рукой.

— А еще позволите?

— Говорите.

— Я столько раз видел вас, на концертах. Но чтобы лицом к лицу — это впервые. Вы не напишете мне что-то на память. Автограф... дурацкое слово! Просто роспись, если можно.

— У вас найдется на чем? — спросил я.

Он пошарил по карманам, достал спичечный коробок, ручку.

— Да вот хоть на коробке. Просто — роспись.

Я взял у него коробок и ручку, задумался. Потом написал: «Последний день. Спасибо, — и на обороте коробка, — Неспалов».

Мой собеседник выхватил у меня коробок, прочитал надписи, прижал коробок к сердцу; будто согреваясь трепетным теплом его, бережно опустил в карман.

— Спасибо, — шепнул он.

Собственно, надо было прощаться. Эта краткая минута приязни, приветливости, будто бы принесшаяся из прошедшей жизни, закончилась. Говорить более было не о чем, за душою же у меня толпилось одно безобразное, одно неразглашаемое. Он еще топтался на месте...

— Если позволите... — шепнул он снова.

— Что?

— У меня есть ром, — сказал старичок. — Две бутылки, по случаю. Если захотите выказать мне, поклоннику вашему, расположение, примите от меня одну из них. Просто так. Ни для чего. В ознаменование встречи!

Я взглянул в его глаза за толстыми стеклами, в них было что-то незащищенное, нераздвоенное, детское.

— Спасибо, — сказал я.

Он вынул из сумки бутылку в три четверти литра и отдал ее мне. Я поклонился старику, старик поклонился мне.

— Извините, — сказал я. Затолкал бутылку глубоко в карман, так, что торчало оттуда лишь ее горлышко. И отправился прочь.

76.

А ведь и вправду, может ли Неспалов пропасть? Ну а почему, собственно, нет? С минуту я бежал взволнованный. Мало ли прежде у меня было встреч с поклонниками, но эта была особенно неожиданной и приятной. Опять же и ром был весьма кстати (я еще не знал о страшном будущем его употреблении). Но за

Сенной настроение у меня резко ухудшилось. За Сенной все делается хуже. Я ведь теперь полностью в руках у Григория. А впрочем, может, и нет. С одной стороны, с чего бы ему стараться выгораживать меня, обелять мою репутацию? Не выгоднее ли повесить на меня убийство следователя? С другой же стороны, если бы он вдруг решил оказаться благородным, много ли веры его словам? Я тоже был там, я тоже замазан. Да и прочие убийства. Они все были так близко от меня, в моем доме или рядом. Гольдфарбы: дочь, Маргарита, Леонид... Недолет, перелет, недолет... А может, все же в самую точку?

Григорий. Я бежал от него, но на самом деле мне следовало бы к нему держаться поближе. Чтобы выведать его планы. Чтобы, возможно, соучаствовать в них, чтобы направлять и корректировать их. Но нет, так я и сам, возможно, незаметно втянусь в дела его, дела его привязчивы, дела его заразительны. Как-то же они вербуют своих стажеров, чем-то же приманивают!

Как мне исчезнуть? Бежать? Куда? Есть ли такое место, куда бы мог бежать я? Меня привлекает север, там холодно, там можно быстро покончить дни свои. Заболеть и все же идти и идти от поселка к поселку в двадцати верстах, самому не ведая, что влечет тебя туда, и в конце концов замерзнуть в снеговой куче. Сестры лисы и братья волки отыщут твоё остывшее тело, замеченное пургой, и станут терзать его, но этого ты уже не почувствуешь — душа твоя будет далеко. Мне не жить на свете с грузом моим, я твердо знаю — не жить! И хорошо, если рядом будет море; страшно северное море ночью; хорошо, если страх будет предпоследним из ощущений твоих. А какое будет последнее? Последним будет великое «все равно». *Все равно* когда-то еще водрузится над миром и над человеком на исходе дней их, *все равно* восторжествует над миром и над человеком, перед ним склонится даже сам Бог!

Я иногда застывал на месте, потом снова спохватывался и бежал далее. Гороховая, Мучной переулок, распластавшаяся громада Апраксина двора по правую руку, жалкие пешеходы, трамвайные провода, редкие автомобили, колючая проволока, противотанковые укрепления на проезжей части. Вот же и Гостиный двор возвысился предо мною. Я побежал по открытой его галерее в Садовой, бывшей Зеркальной линии.

77.

Большинство зданий вокруг я всегда презирал, Гостиному же двору обычно даже сочувствовал. Из-за исключительной бездарности оно. Вы торговое, купеческое, доходное, прохиндейское, прижимистое водрузили в центр града сего (едва ли не в центр мира), сдобрили его классицистскою помпезностью, овеяли прежним царственным духом и ожидаете, что сия клоака, сия язва не расползется на все дома, дворы, фамилии, на все дела, досуги, променады и поприща ваши? Но не тут-то было! Давно расползлась. Купеческая, лакейская, приказчицкая язва давно поглотила прежний великолепный град ваш, давно обезобразила гордый европейский дух града, давно наложила жирный и несчастный отпечаток на весь облик и всю сущность его. Вы хотели такой град? Вы его получили! И отныне не сетуйте!

Прохожих было немного, Садовая улица, против обыкновения, оказалась пустынной и почти даже зловещей. Шаги мои гулко раздавались под сводами галереи. Из-за пилона навстречу мне шагнул человек.

Да-да, разумеется, то был Григорий. Руки он держал засунутыми в карманы и глядел на меня исподлобья. Я испуганно метнулся от него.

— Иди! — взвизгнул я.

— Ну, куда бежишь, опрометчивый ты человек?! — дурашливо крикнул Григорий. — Ты что, думаешь, я стану тебя выгораживать? Черта с два, Неспалов! И не собираюсь! Ты зачем убил следователя?

— Это не я! — я бросился из галереи на тротуар, выскочил на проезжую часть. Оглянулся: Григория сзади не было.

— Что? — выскочил Григорий из-за следующего пилона. — Стало быть, это я убил? Ну и свинья ж ты, Неспалов! И выдумщик! Я позвонил, его уже ищут! Скоро найдут! Потом тебя искать станут!

— Тебя это радует?

Я пробежал вперед, стараясь не подпускать Григория близко к себе. Тот же обегал вокруг пилона и поплелся за мной следом.

— Не скрою. Занимает. Я твой отчет *там* оставил. Несколько страничек с собой взял. Хорошо же ты пишешь, Неспалов! Нашего брата литератора, чего доброго, поспрамишь! «Я обречен на то, чтобы жизнь моя не состоялась». Талант! Стилист! *Сокровищник!* Немножко вот листы кровью попачкались. Но тем ценнее! Тем раритетнее!

Я повернулся к нему лицом и пошел спиной вперед. Только бы мне дотянуть до Невского, подумал я. Только бы мне дожить до Невского, с его мерзкими пешеходами, с его фланирующей сволочью! Там могут оказаться военные, к ним можно будет обратиться, им можно будет крикнуть.

— А хочешь выпить, Гришка? — фальшиво сказал я. — У меня есть ром. Подарок поклонника. Три четверти литра. Только что вручили с выражениями искреннего восхищения моим талантом!

— Что за ром?

— Я когда-то для тебя пожалел пива, а тут настоящий ром!

— Ну, уж нет! Я не попадусь в твою ловушку, дорогуша! Ты слишком привык меня за дурака держать. А я не дурак!

— Это ты убил Гольдфарба?

Мы снова сыграли с Григорием в кошки-мышки вокруг пилонов. Игра становилась все более жуткой, все более угрожающей.

— Жenu его — я, — сказал Григорий, выныривая прямо передо мной. — А самого — Сотников! Жалко, шумно, бездарно. Чуть все не провалил. Зачем-то потом Гольдфарбово шило подбросил. Дурак! У тебя бы и то лучше вышло.

— У меня бы не вышло!

— Не надо себя недооценивать, мой милый! Я тоже поначалу в себе сомневался. Да ведь, знаешь, и Москва не сразу строилась — а теперь вон какая гадина вымахала!

— Нет! — крикнул я и бежать бросился.

— Ты еще про ихнюю дочь не спросил, — крикнул вослед мне Григорий.

— Да, — застыл я как вкопанный. — Кто убил девочку?

— Ты, — ухмыльнулся Григорий, нагоняя меня.

— Конечно! — вскричал я. — Мели, Емеля, — твоя неделя!

— Шучу! — захохотал Григорий. — Ты! Ты — всех! Старика! Старуху! Девчонку! Гришка — щенок, можно сказать, в сравнении с тобой! Тяв-тяв, дорогой учитель! Гришка даже описался от восхищения, мой великий и блистательный мастер!

— Так что насчет рома?! — крикнул я. — Стаканов вот только нет. Ну, да мы-то ведь не брезгливые, не так ли?

— Стаканов! — завизжал вдруг Григорий и бросился на меня. Шило было зажато у него в кулаке.

— Ты что?! Подожди! Не надо! — кричал я в ужасе. Бросился вкруг пилона, выскочил на проезжую часть, пробежал метров двадцать, после чего снова вернулся

под аркаду Гостиного, Григорий, дыша прерывисто, необузданно неся за мною. В каждую секунду я ожидал смертельного удара, спереди или в спину.

— Власти! Хочу-у-у! Праздни-ка-а! — вопил он. Он уж был невменяем, он не контролировал себя. И вдруг я услышал, как будто что-то крякнуло неподалеку. Я обернулся на бегу и увидел, что Григорий, споткнувшись, нелепо растянулся на плитах пола. Шило выпало у него из руки и отлетело прямо мне под ноги. Я пнул с размаху эту гадкую смертоносную вещицу. Она отлетела на середину проезжей части, за трамвайные пути. Я снова бросился бежать. Ром плескался, бутылка била меня по бедру. Возле Невского я обернулся, Григорий уже отыскал свое оружие, но вместо того, чтобы бежать за мною вдогонку, отчего-то, прихрамывая, перебежал через Садовую и припустил в противоположную сторону, в сторону улицы Ломоносова, бывшего Чернышева переулка.

78.

Жизнь! Строго говоря, она должна была бы писаться через какие-то другие буквы. В этих нет ни достоинства, ни определенности. Впрочем, что — буквы?! Буквы — мелкая мерзость, служащая для составления мерзости крупной. О буквах думать не хотелось. Сам язык, само словоговорение, сама речь — занятия не слишком почтенные. Времени жаль, потраченного на речь, усилий жаль, употребленных на извержение слов. Лиза права, Лиза что-то угадала: нужно молчание, нужно управлять молчанием, нужно распоряжаться тишиной, отпущенной нам в обращение, данной нам в достояние.

Черт, я ненавидел Невский, по которому сейчас торопливо вышагивал, поминутно озираясь, но ведь он меня спас. Хотя что, собственно, с того, что меня спас Невский? Григорий меня вот тоже спас недавно от Скарбеца — и разве легче мне от того стало? Так же и Невский: сейчас спас, а через минуту, быть может, и уничтожит. Оба друг друга стоят — Григорий и Невский, Невский и Григорий; не верю ни одному из них.

Повсюду мне мерещился Григорий. Мне казалось, он вот-вот снова выскочит предо мною. И это не важно, что на Садовой он побежал в другую сторону. Он может появиться сейчас, он может встретить меня на Моховой или даже прямо на лестнице. И с этим кошмаром мне жить всегда? Немыслимо. Невозможно.

Но разве те, другие, которых предупредил Григорий и которые станут искать меня из-за мертвого Скарбеца, не опаснее? Этот только убьет, те же не только убьют, но и еще и ославят! Те станут вязать, крутить, ломать, станут глумиться, выпытывать, вынюхивать, высматривать, выспрашивать. Но конец все равно будет один! Лучше бы они тоже убивали сразу!

Надо бежать! Да, сегодня же бежать из города! Куда бежать? Неважно: Архангельск, Вологда, Териберка, Кандалакша! Любой из небольших северных городов. А лучше деревушка, поселок, полустанок. И там уже исполнить задуманное. А что ты задумал? Да уж, задумал кое-что! Пожалуй, все же стоит снискать себе кончину потрагичнее и повозмутительнее. Поскандальнее, погадостнее. Да, но разве прямо теперь? Впрочем, почему бы и не теперь?

Но только — не поезд! На поезде не затеряться, там станут смотреть паспорт, станут делать удивленные лица, недоумевать, рассуждать про себя и, значит, непременно запомнят. Автобус — вот выход! Или несколько автобусов. Так можно и затеряться.

Я хочу, чтобы было море неподалеку, ночь или вечер, чтобы был ветер и горы, чтобы было страшно, шумно и безлюдно, чтобы была веревка и дерево с толстыми

сучьями, но только невысоко. Нужна еще табуретка. Чтобы соскочить с нее. Но это там, на месте. Табуретка не должна быть тяжелой. Но такой, чтобы можно было взять ее в руки и пройти шесть километров. Подходящая веревка есть у меня в кладовой. Там же, откуда родом и мое шило. Где теперь шило? Шило мое — дома. Домой! Схватить веревку, на всякий случай еще шило и тут же бежать!

Есть ли у меня в запасе час-другой? Бог знает! Как быстро меня станут искать? Еще понять бы, что на уме у Григория? Но это уж совсем невозможно! Он хочет власти, он слетел с катушек и готов убивать.

До Моховой можно домчаться за десять минут, незаметно подняться к себе, взять веревку и тут же бежать. Потом — автобус! Сутки, даже двое... Сорок часов. Это время будет моим. Тогда можно будет не бояться ни Григория, ни этих... преследователей!

Но главное, чтобы там, на берегу моря или в лесу... чтобы последний час был только моим! Ни с кем не желаю делиться последним часом. Нужна еще бутылка водки, но ром тоже подойдет. Все складывается превосходно! Я залезу на табуретку. Я ее куплю там. Или украду. Лес и табуретка. Прилажу петлю и потом, стоя под деревом, выпью весь ром одним разом. Не может быть, чтобы я не опьянел. Разумеется, я опьянею. И тогда даже и не замечу, что произойдет дальше. Разве смерть так страшна? Смерть совершенно не страшна, человек страшнее смерти; для смерти, должно быть, мука — приходиться к человеку в последний его час, нести тому от самого себя избавление. Как вовремя мне сегодня подвернулся поклонник с его чертовым ромом. В сущности, он меня спас, он меня направил, он меня подтолкнул. Все сегодня спасают меня.

Кое-что изменилось. Мне теперь не нравится этот мир и венец его — человек. Возможно, какой-то иной венец меня бы с тем примирил отчасти. Но отсюда — вопрос: что может теперь примирить меня с человеком? Ничто, никогда.

Я готов взирать на сей мир во всей его неприглядности, во всей его заскорузлости и неудобоваримости, но лишь бы никогда не слышать его. Не ведать его шумов, его благозвучий, его увертюр, его дисгармоний, не знать его сладких безголосых певичек, его рафинадных кумиров, его пенных витий, его кунжутных епископов, пряничных политологов, карамельных его соглядатаев. Звук есть ужас мира. Звук есть мой ужас. Звук есть беда всякого живого и слышащего, всякого беспредельно живого и пронзительно слышащего. Звук сидит во мне, звук живет во мне, беснуется, бражничает, единоборствует, *громовержествует*, во всякое из мгновений угрожая мне разрывом моего бедного недужного мозга.

Черт побери! А ведь это не Григорий и вовсе никакие не преследователи! Это симфония, проклятая моя симфония гонит меня!

79.

Сарацины отдали мне честь, когда я проходил мимо их поста. Я кивнул им в ответ. Когда я прошел, один из них стал звонить по телефону. Кому он звонил? Преследователям? Ни минуты не сомневаюсь.

Наше время жаждет множества *новых наивных*. Может, даже пустоголовых. Наше время — жаждущее время, нет, более того — алчущее. Ему мало прежних подпорок, ему недостаточно прежних презентов. Высшие наши радости — простые радости. Например, смерть в одиночестве. Я принял решение и сразу стал гораздо спокойнее. Задача только в том, чтобы успеть. А для того нужно обмануть их всех своим хладнокровием.

На улице вовсе не было серьезных прохожих; в основном — сопляки! А ведь нельзя же сопляка признать за серьезного прохожего, не правда ли? Я удивился, как сопляки иногда вольготно чувствуют себя на улицах. Мне бы хоть сотую часть этой-то вольготности! За это я бы с радостью согласился быть сопляком.

Будь преследователи мои поумнее, они бы скрутили меня прямо на улице. Да и Григорий... Ему следовало бы подстеречь меня в подворотне или внизу на лестнице. Не скажу, что я не опасался, войдя в парадное. Я все же несколько напрягся. Меня выручил слух. Я слышал жизнь на лестнице, я слышал жизнь и в квартирах, как будто те вдруг лишились дверей. Я слышал, что и меня слышат, слышат меня, идущего, слышат меня, восходящего на первые из ступеней. Я знал уже, что и Ольга дома, что она на кухне, подле плиты. Она могла немного мне помешать. Но не отказываться же от задуманного из-за столь несущественного обстоятельства!

Двери квартир на втором этаже были приоткрыты, и из сумрачной глубины прохожих за мной наблюдали. Дверь у Регины тоже была приоткрыта. Я постоял на ее площадке, Регина высунулась и прошептала:

— Знаете, мы решили действовать. Мы создали собственное ополчение... на нашей лестнице.

— Правильно, — сказал я. — Так и нужно. Рад слышать от вас.

— Вы же видите, что происходит. Ни на кого нет надежды. Только на себя.

— Да-да, безусловно, — сказал я. И направился далее. Но после все же задержался и, понизив голос, говорил женщине:

— Считаю своим долгом уведомить вас насчет Ермакова. Ермаков Григорий, поэт, он здесь бывает... Григорий — маньяк, я точно знаю. Это — зверь, он всех убивает. Попадется он вам, сразу бейте его наповал!

— Нам известно об этом человеке! — с достоинством кивнула головой Регина. — Мы предупреждены.

— Отлично! — сказал я. — А мне нужно работать.

Заложив за спину руки, я стал подниматься на свой четвертый этаж. Холодок в по звоночнике мне почти удалось укротить.

— Вы видели следователя, Неспалов? — громко спросила Регина.

— У меня много работы, — снова сказал я.

Более она не переспрашивала.

Квартира моя показалась мне обнаженной, так в ней было все очевидно. Она была беззащитной. Никакие двери, никакие запоры не могли бы сделать ее неприступной.

Ольга была на кухне, но вышла ко мне.

— Я готовлю куриные крылышки, — сказала она.

— Хорошо, — сказал я.

Я сразу заметил свое шило, оно лежало на подставке для обуви. Но на том ли самом месте, где я оставил его вчера? Не знаю, не уверен. Кто его трогал? Ольга? Водопроводчики? Разве они были здесь в мое отсутствие? А Григорий? Не заходил ли и он?

— Григорий был здесь? — спросил я.

— Сегодня его не было.

— Если появится, не пускай его. Григорий опасен.

— Хорошо, — пожала она плечами.

— Ни под каким предлогом!

— Я поняла.

— У Григория много разных предлогов.

— Я знаю.

— Про него я потом расскажу.

— Ладно.

Шило все же не давало мне покоя. Я взял его и еще какую-то бумажку, быстро обернул острие бумажкой и сунул его в карман.

— Мне это надо, — пробормотал я.

— Конечно, — сказала женщина.

Боже, хоть бы Ольга поняла и оставила меня одного! Разве моя жизнь — не только *моя* жизнь? Разве не могу я в ней принимать решения, касающиеся меня и только меня?

— Ты сегодня что-нибудь ел? — спросила она.

— Сейчас на Садовой мой старинный поклонник подарил мне бутылку рома. Ты хочешь рома? — с фальшивой бодростью говорил я.

— Я сейчас, — сказала Ольга и наконец шмыгнула на кухню.

Теперь можно было разобраться с веревкой. Я решил намотать ее на себя, под мышками и на животе, потом же сверху прикрыть курткой, и ничего не будет заметно. Я потихоньку приоткрыл дверь кладовки.

— Он сказал, что слышал меня раз тридцать, — громко сказал я. — Знаешь, было приятно.

— Здорово, — откликнулась Ольга.

— Причем простой человек, не музыкант, обыкновенный любитель...

— Тем более.

Я сбросил куртку с себя на пол и стал обматываться веревкой. Веревка была хорошей, толщиной в палец, она бы меня выдержала.

— Подожди, я сейчас приду к тебе, — снова громко говорил я.

Вышло около десяти оборотов, этой длины непременно должно хватить. Конец веревки я подоткнул за пояс. Набросил на себя куртку, тщательно застегнулся и отправился в кухню.

— Ты не раздеваешься? — спросила Ольга.

— Мне нужно еще уйти на какое-то время.

— А куриные крылышки?

— Оставь. Я попозже поем.

— Что-нибудь срочное?

— Иначе бы я не пренебрег крылышками.

— Может, все-таки есть время?

— Не знаю, — искренне сказал я.

— Ты не спросил меня насчет матери.

— Я как раз собирался это сделать. Как она?

— Плохо, — ответила Ольга. — Мне надо будет снова туда ехать. В опасную Гатчину, — добавила еще Ольга, взглянув на меня.

— Григорий тоже опасен, — для чего-то еще раз сказал я.

— Гатчина опасна, и Григорий опасен, — сказала Ольга.

— Не смейся. Я знаю, что говорю.

— Я в электричке встретила свою консерваторскую подругу, — сказала Ольга. — Ингу. Ты, случайно, не помнишь ее?

— Нет, — сказал я.

— Она была, пожалуй, самой талантливой на курсе. Самой подающей надежды. Боже, что с ней стало такое?! Я едва узнала ее! А ведь прошло только десять лет. Неужели и я так переменялась?

— Нет, — снова сказал я.

— Она была виолончелисткой, безумно талантливой! Занималась композицией. Окончила с отличием. Много концертировала. А сейчас... четырежды была замужем,

последний муж ее бросил недавно. Трое детей, младшая дочь умерла в сентябре. Пьет... живет в доме в деревне. Дети с ней не живут. Собирает бутылки. Летом — грибы и ягоды. Но я о другом. Эти вот так называемые «творческие женщины»! Женщина пытается что-то творить, сочинять... стихи, музыку... или еще что-то... Подает надежды, как говорится. Потом проходит время, она любит, рождает ребенка, и ей вроде дается вторая попытка. Попытка прожить жизнь ее ребенка, прожить жизнь вместе с ее ребенком. Мужчине же никакой второй попытки не дается. Его попытка — первая и единственная. И если это — фальстарт...

— Значит — это фальстарт, — подхватил я.

— Примерно так.

— Грустная история.

— Неспалов, позови меня, если я тебе действительно буду нужна.

Я подошел к Ольге сзади, обнял ее, поцеловал в голову.

— Ты нужна мне, — сказал я. — Прости меня за то, что я почти не говорю тебе этого. Прости меня за то, что я всегда в себе. Прости меня за то, что я даже с собою самим не знаю, как обращаться, не то что с другими. Ну вот, опять о себе! Солипсизм какой-то! Кажется, Солнце светит для одного меня. С обратной стороны Солнца — темно. Я хочу вырваться из себя, устремиться к другим: к тебе, к Соне — и не могу, ничего не могу. Это — мерзко, я сам себе мерзок. Но что поделаешь, у меня химический состав таков. Ты знаешь, я, кажется, привязан к этому миру лишь ненадежным моим сердцем и еще горсткой странных мелодий, толпящихся где-то вблизи моего горла. Но мне кажется, что теперь не привязан уже ничем.

Ольга отстранилась немного, выключила газ.

— Крылышки готовы, — сказала женщина.

Она смотрела на меня, смотрела мне в лицо (на глаза мои навернулись слезы), потом перевела взгляд ниже, еще ниже. Я проследил за ее взглядом. Черт побери, из-под куртки моей высунулась веревка. Ольга смотрела именно туда, на эту веревку.

— Я взял, — пробормотал я. — Мне это тоже надо.

— Конечно, — мягко сказала Ольга.

Пари готов держать, что Ольга все поняла, она всегда все понимает, она всегда все угадывает.

— Мне сейчас нужно уходить, — сказал я. — Уже опаздываю...

— Нет, — ответила Ольга. — Уйду я. Ты останешься. Прощай, Мирослав.

— У тебя же сегодня должны быть занятия, — сказал я.

— Я отменила, — ответила Ольга.

В прихожей она повязала косынку, надела куртку, взяла уже собранную сумку.

— Прощай, — еще раз сказала она.

Я кивнул головой.

— Прости меня, — сказал я.

80.

Эта жизнь не могла не закончиться как-то так уж совсем прескверно. Слишком долго ходил я с незаурядностью в обнимку, с величием и с подспудностью — вприкуру. Слишком долго я искушал и был искушаем. Слишком часто я соперничал с тем, что соперничества никакого не приемлет, что непочтительности не позволяет. Я закрыл за Ольгой дверь. Я не хотел отпускать ее на эту враждебную лестницу. Странно, Ольга, кажется, вовсе не боится жизни. Не понимаю, как можно ее не бояться! Столько в ней, в жизни, угрожающего, столько в ней несвязного и непред-

сказуемого. Ужас и отчаяние — в веренице дней наших безжалостных! Жизнь, ты не стоишь иного!

Теперь уж наконец можно было поправить на себе эту проклятую веревку. До чего же нелепо все вышло! Надо обмотаться веревкой так, чтобы она и не стесняла движений и чтобы держалась на своем месте надежно. Не беда: сейчас сниму куртку и перевяжусь сызнова, сказал себе я.

Ничего ведь не переменялось: Ольга ушла, но и мне необходимо бежать. Сейчас только посмотрю в окно, как Ольга идет по улице, сказал себе я, и сам тоже уйду. Ольга! Только она была способна выдать мои звуки! Не правда ли? Предать их, ошельмовать и ославить! Да-да, она добра и покладиста, а потому очень даже способна шельмовать! Я сам несколько раз был свидетелем того, что мои мелодии разносятся по городу, разлетаются по прохожим, кто-то уж напевает, насвистывает те. Симфония еще не написана, но какие-то куски из нее уже узнали случайные люди. Кто мог быть виною тому, кроме Ольги? Разве только — я сам!

Телефонный звонок. Я направлялся к окну, но вместо того бросился к аппарату.

— Волк слушает, — крикнул я.

Как это я угадал? Или нет: я не угадал ничего, я любому бы ответил так, но это действительно была Соня.

— Папочка, ты не волк! — кричала мне Соня. — Волк ко мне в дверь ломится!

— Что?! — похолодел я.

— Он ломится! Он убьет меня! Слышишь?

Я слышал. Я и сам слышал по телефону, что ломились в дверь, и еще... рык разъяренного зверя я слышал за дверью, в которую ломились теперь там, на другом конце провода.

— Соня! — закричал я. — Держись! Я мчусь к тебе! Сонечка! Стой, волк! — крикнул еще я.

Я бросил трубку, я рванулся в прихожую.

— С дороги! — крикнул я на лестнице.

На дороге моей никого не было, но двери соглядатайствующих соседей захлопнулись, двери Регины и двери новоявленных ополченцев со второго этажа. Я летел по лестнице, не замечая ступеней. Я поймаю машину на Литейном, я велю ехать так быстро, как только возможно. Дверь может оказаться прочной, кто-то, быть может, услышит и вмешается, говорил себе я. Я успею, кричал я себе, я обязательно должен успеть! Я не успею! Это так далеко, а дверь долго не устоит. Мне ли не знать непрочности наших дверей! — кричал себе я.

Ольга лежала на первом этаже, прямо подле входной двери. Всякий, кто стал бы входить в парадное, непременно запнулся бы об нее. Крик вырвался из груди моей. Боже, почему я ее не остановил?! Почему не пошел с нею вместе? Почему я не пошел первым? Я не успел еще склониться над нею, но я уже знал твердо, что все кончено. Что я стану звать ее, но она не откликнется. Что не будет ее тепла, не будет ее голоса, не будет ее жизни подле моей неказистой, аспидной и постылой жизни. Боже! Крошечная ранка около сердца. Как у Елизаветы Баварской, императрицы Австрии.

Все не так! Я никому не в состоянии помочь. Вернее, я должен помочь другому! Я все остановлю! Я перемену ход времени, ход событий и сделаю это способом, которым действительно владею. Я должен грянуть, по слову Гольдфарба. Я спасу Соню, я спасу Ольгу, я спасу себя и даже, может быть, спасу этот чертов мир, как бы наивно это ни звучало! Вы не верите, я знаю, вы сомневаетесь, но скоро вы увидите, что я прав. Я уже начал спасать нас всех! Именно теперь! Именно так! Я вдруг услышал. В мозгу моем загремели аккорды вступления.

— Пойдем, милая, — тихо сказал я, поднимая Ольгу. Она мне показалась удивительно легкой. Я стал подниматься по лестнице. Я не опасался, что музыка исчезнет, пресечется. Это была моя музыка. Она была торжественна, она была великолепна, она была пронзительна.

— Не нужно открывать двери, — тихо попросил я, очень тихо, но меня услышали. Ни одна дверь не открылась. Когда захотят, они все же могут быть деликатными.

Я шел медленно, я шел с закрытыми глазами, из-под век моих бежали слезы. Я их не стыдился.

На площадке я осторожно положил Ольгу на пол, открыл дверь, снова поднял и внес в квартиру. В гостиной положил на диван. Снял наконец куртку. Тихо усмехнулся намотанной на меня веревке. Веврека — это несерьезно. Тогда я разматал ее и бросил на кресло. Теперь можно было уже не спешить.

81.

Входную дверь я за собою закрыл, но кому нужно, все равно войдут, знал я. Я вообще-то действительно ожидал гостей. Худбин будет непременно, сказал себе я. Он любопытен, он не упустит случая. Могут на огонек заглянуть «водопроводчики». Может и Григорий появиться, но он, я уверен, будет теперь присмирившим. Пусть он только попробует снова бесчинствовать! А вот Скарбеза я бы, пожалуй, не хотел. Нет, решительно его не следует сегодня пускать ко мне! Инспектор Шутко мне почти симпатичен. Что ж, я не буду против! Чанский... Он забавен, с его причудливою губой. Этот пусть будет. Ольга сумеет их принять. Она — хорошая хозяйка, она займет их разговорами, накормит куриными крылышками. Уверен, что Гольдфарб очень любит крылышки. Дай ему волю, он слопает все до единого.

Я был очень спокоен; достал толстую пачку партитурной бумаги, достал ворох ручек. Положил на стол. Открыл ром. Выпил маленькую рюмку. Больше пока не надо. Взглянул на рояль. Он, словно жеребец, бил копытом, готовый мне помогать. Нет, сегодня он мне не понадобится. Вместо куртки я натянул на себя свитер, а сверху еще телогрейку. Теперь, пожалуй, я не замерзну. Я расчертил несколько листов. Ну вот, все готово.

— С начала, — сказал я.

Симфония стала звучать с начала. Я знал ее от первого и до последнего такта. В ней не было от меня тайн, но она сама была тайной. Она казалась мне удивительно знакомой, как будто я слышал ее сотни раз в исполнении лучших оркестров. Казалось, эта музыка существовала всегда. Я даже подумал, что слышу что-то существовавшее много лет до меня, но тут же поднял сам себя на смех. Мне ли не знать музыки, написанной прежде!

— Ольга, — на всякий случай спросил я, — ты ведь не слышала этой музыки прежде? Только от меня?

Я не смотрел в Ольгину сторону, но она все же кивнула мне головой.

— Тогда поехали! — сказал я.

Рука моя делала то, что она уж делала тысячи раз. Она записывала. Она создана для того, чтобы записывать. Она летала по нотным станам, и я практически не следил за ней. Я только слушал. Первый лист я испещрил значками за полминуты. Впрочем, что время? Времени нет, есть такты симфонии.

Здесь — жизнь Ольги и жизнь Сони. Здесь — жизнь Гольдфарба и еще многих других, здесь покой и порядок, здесь простота, здесь величие, здесь подножия, здесь амальгамы, здесь соединения и амбивалентности, здесь безветрия, здесь пе-

решейки, здесь штольни и ионосферы, здесь божественный беспорядок, здесь игра, здесь подчиненности и суверенности. Здесь вся моя жизнь.

Может, мне не писать этого? Может, остановиться? Ведь ты же знаешь: цена будет высокою, сказал себе я. Но я уже не мог не писать, слышимое мной должно было теперь непременно утвердиться на бумаге. Я запишу, и тогда оно умолкнет. Спасибо Создавшему меня за то, что Он наделил меня такую способностью, за то, что сделал Он меня совершенным органом своим.

Бога нет. Точно — нет. Но это даже хорошо. Хуже было бы, если бы Он был. То, что несуществующему столько внимания, в общем, не удивительно. Странно было бы, если бы о нем не задумывались вовсе. Если же предположить, что Бог есть, то Ему следует быть одной лишь несправедливостью, носить имя Беззакония и Несправедливости, и на такую форму Его существования возможно лишь согласиться. Справедливое несоединимо с сакральным.

Я перевернул еще два исписанных листа.

Надо не литературу творить, но подвиги, надо не музыку писать, но светопреставления. Я собрал все молнии мира и превратил их в вещество, смертельное, неукротимое. Оно на моих глазах вступало в реакции с благодатью, с миролюбием, с терпеливым тоном. Религия сделалась небесным расизмом. Я смертен, до мозга костей смертен, и то, что я до сих пор жив, — даже не чудо, но всего только нелепая случайность, трагическое заблуждение моего несчастного организма, моего упрямого тела. В остаток дней моих я еще немало придумаю миру оплеух и зуботычин, от которых он содроганием зайдется, обременится изнеможением и сомнениями духа. Невозможно найти пищу, которая не убивает. Невозможно сыскать воздух, который животворит. Припадая, раскачиваясь. Чугуннолитыми разбрасываясь фразами. Такты с двадцать четвертого по тридцать второй. Вот вдруг все нервы мои разъединились, разрознились, каждый из них сделался сам по себе.

Валторна! Всем молиться на валторну! До чего жестокие и безжалостные животные — инструменты! Безжалостнее даже человек. Хотя, казалось бы, безжалостнее человек нет ничего! А вот же, извольте видеть: находятся! Дайте свободу всякому, горделивому, безнадежному или прозябающему, склонитесь пред его возмущившимся достоинством. Следует над реками вздывать мосты, заносчивые мосты, а не громоздить поперек них запруды. Всяк из нас иссяк, а человек множество образует толпу скудную, с духом бесцельным, замшелым, выморочным, с бессмыслием движений, с праздною пустословием.

Появился Худбин. Он тихо прикрыл за собою дверь в гостиную, потоптался, уселся в кресло, которое жалобно заскрипело под ним. Он смотрел, как я работаю. Кажется, зрелище это его умилило, но вскоре он все же не выдержал и завел разговор.

— Патриотизм парадоксален, — будто бы для затравки сообщил он. — Сейчас многие подвизаются служить России нелюбовью.

— Не мешайте, Худбин! — строго сказал я. — Сидите тихо, раз уж пришли!

— Моцарт! — плаксиво всплеснул он руками. — Гений, Неспалов, не оставляет наследников. Разве что на небесах. Впрочем, не так. Гений сам — небесный наследник. Наследство его — по беззаконию.

Я погрозил ему пальцем. И на мгновение скосил на него глаза. Он тут же поспешил превратиться в брошенную мной на кресло куртку с раскинувшимися в стороны рукавами. Но превращение это было не слишком расторопным, и я прекрасно успел разглядеть Худбина. Волосы его теперь были напояжены, одет он был франтовато.

Записанный мною бронзовозвонный, густогрешный, широкогрудый хорал начал как будто бы рассыпаться. В него стали вторгаться новые, зловещие и чужерод-

ные мотивы, еще стали вдруг возникать политональные наслоения. Они змеились, трепетали, расшатывали устои. Ласточки, добрые ласточки, оказывались вдруг истребителями, сеющими смерть и неустройство, корни сосен и ив изнуляли почву, сама природа обрела бессилие и зыбкость папиросной бумаги на ветру. Неожиданно Соня положила мне сзади две своих теплых ладошки на плечи. Я задохнулся и закашлялся. Закашлялся и задохнулся.

Весь мир можно вдруг угадать и исчислить в двух-трех морщинах случайно встреченного пешехода, в волосках в его ухе, в заусенцах ногтей нищенки, в нелепой походке криволапного голубя на карнизе, в чернильном росчерке в альбоме, в затертой багажной квитанции, той, что вдруг поддернуло ветром близ твоей размашистой подошвы празднующегося. Мир во всем мгновенном и празднующемся. Во всем неуверенном и необъяснимом. В устоявшемся и укоренившемся мира нет, значения нет, бежали отсюда мир и значение, и сам ты бежишь отсюда и бежать всегда будешь, какого бы поприща, какого пути и предназначения ни ждали от тебя. Псу под хвост все ожидаемые поприща и предназначения! Именно туда сложи всякое осмысленное, всякое чаемое свое, как и Отец твой небесный сложил туда все человеческое, все избранное, все небывалое! Аминь! Такты с семидесятого по восемьдесят шестой.

Мимо прошел Григорий. Он не собирался задерживаться. Он как будто даже спешил. Заглянул ко мне через плечо, поморщился, фыркнул, пожал плечами.

— Мы, русские, — нация неуклонно эксцентрическая, — для чего-то сказал он. — Неизлечимо больная. Тебе же, Неспалов, все же еще предстоит на мир наложить клейма особенно безжалостные.

Я стер Григория одним взмахом руки. Здесь будет пауза, долгие-долгие четыре такта. Партия виолончелей. Да, а еще мой отчет, листы моего отчета вдруг взвихрились, воспламенились, воспрянули! Разлетелись птицами с преломленными крыльями, разбрелись грызунами и млекопитающими.

Меж тем птичье все более проникало в меня, мне стало труднее придерживать-ся родной почвы. Гравитация же не спасала, гравитация ничему не способствовала. И вот подо мною, внизу заияла уже Моховая, которая с моей стороны будто бы разыгрывала из себя пролазу и пройдоху, в дальнем же ее конце словно корчила кислую, плебейскую физиономию. Спутались и свились провода, скакнули кровли, изогнулись особняки, сарацинский пост закатился горошиною в дальний угол, плеснула хвостом Фонтанка, злая рыба Фонтанка, Михайловский замок закрутил непокорный свой ус, натянулась тетива Литейного, растопырило щупальца Марсово поле, выгнул дерзкую спину Невский — пасынок эпох, минувших и нынешней! Весь Петербург, с Невою его и Невками, с дворцами его, домами, бизнес-центрами, пешеходами и кабриолетами, вздыбился, встопорщился, возмутился, восторжествовал! Птичий полет! Как быстро же ты изгнал из меня человеческое! Сколько насадил легковесного, парящего, взметнувшегося, атмосферного!

Восстало вдруг гомерическое, вспышки гомерической горечи. После туман на-шел на видимое, зеленый, словно хлорная медь. И не было больше пространств, перспектив, пейзажей, симметрий, а закопошились большие массы, нации грозно ходатайствовали о скудных судьбах своих, народы воспрянули против соседей своих, начались войны, светопреставления, начались затишья, такие, что страшнее любой сечи. История наша полна сокрушительных замираний, всенародных депрессий, необоснованных энтузиазмов, безудержных воспалений. Побочные темы, потоки антиэнергий вторгались в главную, в светлоликую, в триумфально-родную, в которой так много разнузданного огня и сильного солнца, в которой много марганца и сурьмы. Смутное схлестывалось с колокольным, с торжествен-

ным, с надмирным; история вдруг водрузилась над всеми дисциплинами духа. И была великая территория, бескрайняя, неопикуемая; много, слишком уж много частного, одиночного, особенного сплелось в ней, миллионы здесь находили дóмы свои, жилища, норы и логовища, судьбы сих миллионов от первого вздоха и до предсмертного хрипа вершились здесь. И вот я был среди сих миллионов, здесь вершилась неудобоваримая судьба моя, заранее исчисленная и предопределенная всеми алгебрами несчастий, были здесь и Соня (с другом и мучителем ее — волком), и Лиза, и Гольдфарбы, и наслоившиеся на град наш и мир наш сарацины, и были случайные пешеходы, и дома, и автомобили, и хорек на заднем сиденье (ровно девятнадцать нот мне потребовалось на этого непоседливого грызуна), и богемное пальто Григория, и позор мой в автобусе, восстал вдруг и Сотников, и исправившаяся молитва, и распятие в подвале, и Бог, и червь, и штукатурка, и холодные радиаторы, и рюмка рома, и убогие, и бесноватые, и сильные голоса, и куриные крылышки, и все-все человеки, только и возможные на Земле!

Вот же вскоре начала готовиться кульминация, исподволь, будто бы подступающими приливами, будто бы потаенными тектоническими явлениями. Ничто еще не предвещало настоящего ужаса, кроме разве что отдельных рокотов. Но вот рокотов делалось все больше, вот уж весь мир обратился в рокот и в боль; привиделись вдруг и мистические качели. Да ведь и впрямь: умирая, кого станешь больше жалеть — себя или мир? Себя или мир? И так от себя и до мира, до самого последнего мгновения, до самого последнего вздоха. *Allegro agitato*.

Вот же и ужаса становилось все больше, вот же и боль приумножилась. Ужас просачивался изо всех щелей, боль называла себя хозяйкою мира. Небеса разверзались, и оттуда обрушивались и вся медь, и все деревянные, и молнии, и шестиголосие органа, и хор неистовствующий, обрушивались, но тут же и возносились, и снова обрушивались, и меня самого то вздымали, то опрокидывали, так что бился я жалкою щепкой в этом море минора, в этой пламенной вакханалии, в стихии сей оглушительной. Шесть тактов, только шесть тактов тотального стаккато, и вот вы схвачены за шиворот и человеческой мелочью изнемогаете под новой тяжестью медных, и Страшный суд объявлен для вас, но вы не готовы, вы жалки и опустошенны, а зловещая медь фразу за фразой выводит неумолимую тему свою, сзывая ангелов, окликающая надмирное, провозглашая таинственное и необъяснимое!

— Неспалов, у вас кровь, — сказал мне Альфонс сочувственным тоном.

Где кровь? Ах да, идет носом. Я голову запрокинул, но несколько капель все же попали на бумагу. Эта чертова кульминация так измучила меня! Нельзя мне быть для мира обузой, сказал себе я, но и миру не следует позволять быть обузой для меня.

Внезапно погас свет. Свет мне был нужен.

— Худбин, сходите, пожалуйста, за свечами, — сказал я. — Дальше будет еще интереснее.

Он беспрекословно отправился за свечами, принес, поставил на стол, Ольга подала ему спички. Комната озарилась неровным светом свечей. Кто-то тихо сидел в углу, но я не мог разглядеть сего неосвещенного. Возможно, это был Сотников.

Шесть тем, шесть странных, неистовых тем — я придумал их причудливое сплетение. Пачка исписанных листов делалась все толще, оставалось не так уж и много. Разработке нельзя было позволить слишком уж затянуться.

— Кто еще не пришел? — спросил я.

Ольга и Альфонс Янович посмотрели на меня вопросительно, но ничего не ответили. Это было и неважно. Водопроводчики топтались в прихожей, Шутко прятался в ванной. Никак не думал я прежде, что он может быть настолько робок.

— Еще совсем чуть-чуть, — сказал я одной Ольге. — Потерпи.

Я призову всех под собственное крыло, крыло будет большим и несчастным, но такое крыло способно накрыть собою сырых и беспочвенных, тщетных и неуверенных. Мир и путь всегда пребывают в противоречии. Я же посередине этого противоречия. Я — сердце и смысл этого противоречия. Я — заложник его и застрельщик.

И тут вдруг явилось что-то странное и безобразное. Оно явилось из духа истории, из области мифов, преданий и простонародных причуд. Историческое соединилось здесь с экономическим и даже философским. Беременная гадина. Змея длиною в полмира распласталась по почве к ужасу всех людей, а мы любили эту змею, мы признавали ее своей матерью, свою отчизною, мы находили в ней счастье и постылости, мы презирали ее и питались ее соками. И вот огненный дождь, лава, зловредные вихри, космические снопы обрушились на нее. Мы этого жаждали и трепетали. Призывали, но и отрешивались. Хор цивилизаций-банкротов глумился над гадиной. Не сознавая и своих неминуемых гибелей. И вот вдруг лопнуло великое чрево, распалась гадина, и сотни гадких змеенышей поползли по той же самой неопишуемой почве, по сухой и бесплодной земле. Нет, впрочем, не сотни! Я знал точно: восемьдесят пять. Только — восемьдесят пять! Каждый из них был выписан мною в деталях. Кода. Близость. Исчерпанность.

И снова весь мир низвергнулся звуками. Сбирание отчаяний; вот оно, верное слово — отчаяние! Тоска взяла меня за горло, нелепость вцепилась в ключицы и щиколотки. О чем? О чем эта симфония? О великом, о катастрофическом, о необратимом. Этого ли ожидали от меня? Это ли хотели услышать мои высокопоставленные патроны? А знают ли они сами, чего ждут от меня? Я прежде искал звуки, подобные взрыву гремучей ртути. Я трепетал таких звуков, и я жаждал их. И вот же они наконец, такие звуки! Гремучая ртуть разгадана. Гремучая ртуть воплощена.

Дни мои ныне — враги мои, в них сгрудилось все самое мое ненавистное. Да, они с собою несут минуты и часы невыносимых, разухабистых восторгов, происходящих вместе с исторгающимися из меня новыми звуками, да, они с собою несут и события чрезвычайные: празднества, встречи, триумфы, комплименты, славословия, чествования, но ведь и их самих, дней моих, при этом делается меньше. И я иногда думаю: пусть вовсе не будет ни звуков, ни триумфов, лишь бы дни мои не истощались. Лишь бы не быть мне замороженным подступающим бессилием, надвигающейся дряхлостью и, уж разумеется, неизбежным концом. Мне нужно каким-то образом примириться со своим уходом, со своим исчезновением, мне следует свыкнуться со своей смертью, принять ее, оправдать, исполниться благодарностью. Возможно, это и есть высший вид благодарности — благодарность за смерть.

И вот наконец финальные звуки, аккорды! Вся несправедливость Бога и существования, весь абсурд мира и человека соединились в душераздирающие диссонансы, в неистовые и невозможные созвучия. Ничего на свете нет неустойчивее, чем цепочка этих аккордов. Так невозможно заканчивать симфонию; нельзя человека оставлять со столь неразрешимым вопросом, нельзя его бросать в таких неуверенности и неопределенности. Проклянут меня и осмеют за эти аккорды! Так еще не писал никто, так написал я.

Я закрыл все такты моей партитуры. Я поставил точку. Спасибо жизни, которая так долго терпит это неказистое тело, эти мышцы, эти кости, это сердце и эту кожу. Мне следует взять все слова свои, и все звуки, и все смыслы обратно. Отныне есть один лишь смысл, одна красота, те, что в этой музыке, в этой чертовой музыке. В этих проклятых созвучиях, разноголосицах и внезапностях.

Вспыхнул свет. Свечи горели на столе сиротливо. Предо мною лежала толстая стопка исписанных партитурных листов. Мне теперь не надо пересматривать напи-

санное: там нет ни ошибок, ни помарок, там не надо ничего поправлять. Вот только... титульный лист...

«Мирослав Неспалов», — написал я. Хотел было прибавить пониже слово «симфония», но остановился. И приписал: «Поэма Распада». Что под сим разумел я, не знал и сам.

— Я закончил, — сказал я. — Слышите, Альфонс Янович? Я закончил.

Я огляделся. В комнате не было никого, кроме лежавшей на диване Ольги, ну и меня, разумеется. Свечи я погасил.

82.

— Я очень устал, — сказал я. — Худбин, вы не композитор, вы не знаете: такие симфонии не пишутся в несколько часов. Они пишутся за недели. Что вы со мной сделали? Зачем вы меня в это втравили? А кстати, хотите куриных крылышек?

Но тот не ответил. Он снова притворился курткой с раскинутыми в разные стороны рукавами. Тогда я сходил за крылышками, принес несколько штук на тарелке. Стал есть их прямо холодными.

— Разогрел бы, — сказала мне мертвая Ольга.

— Вкусно, — сказал я с набитым ртом.

На сей раз она промолчала.

— Ольга, ты знаешь, во что он меня втравил? — сказал я. — Ты думаешь, здесь плата — его деньги?

— Не делай этого, — тихо попросила Ольга, кажется, обо всем догадавшись.

— Я не могу, — развел я руками.

— Ты сможешь выдержать? — спросила Ольга.

— Сейчас проверим.

Я замолчал, усердно обглаживая крылышки, выпил еще рюмку рома. Он мне должен был еще пригодиться. Потом я отнес посуду, тщательно вымыл руки, прополо-скал рот, вернулся в гостиную.

— Я не могу на это смотреть, — сказала мне Ольга.

— А я могу, — отозвался Худбин. — Чего вообще только не увидишь.

Я не стал разговаривать с ним, я говорил с одной Ольгой.

— Это главная моя вещь, — сказал я. — После нее я не нужен, я не обязателен. После нее меня может и не быть. Но она мне не дана в дар, я купил ее. И теперь должен заплатить настоящую цену. Худбин неумен, он полагает, его бумажки чего-то стоят. А его бумажки ничего не стоят.

— Все равно, — шепнула Ольга.

— Я сейчас, — сказал я.

Я принес все необходимое, я сложил его на столе. Ром, пачка анальгина, льняное масло, блюдце, десертная ложечка, маникюрные ножницы с загнутыми концами, салфетка, стакан воды, пустой стакан, зеркало. Партию я отложил подальше, у нее и так уже две страницы заляпаны кровью.

— Неспалов, — сказала Ольга.

— Он не решится, ни за что не решится, — усмехнулся Худбин. — Симфония стоит обещанных денег. И он может их получить.

С ним я по-прежнему не хотел говорить.

— Аванс свой он, конечно, профукал, — развел руками Альфонс Янович. — Но это уже вопрос не ко мне.

Это почти те же самые завернутые веки, немного труднее, немного больнее, нужно лишь проделать это методично и аккуратно, сказал себе я. Сначала я про-

глотил анальгин, шесть таблеток, тщательно разжевывая и запивая водой. Вкус омерзительный; у меня онемел рот на последней таблетке и половина лица. Пауза шесть тактов. Потом — ром и стакан. Я выпил рома два с половиной стакана. Капнул масло на ложечку и размазал его пальцем. Может, во мне есть что-то от немца? Иначе откуда во мне столько методичности?

После рома и анальгина я почти не чувствовал себя. Спасибо тебе, мой безвестный поклонник!

Ольга коротко простонала и отвернулась.

— Ты тоже любишь власть, Неспалов, — удивленно сказал Григорий. — Только над собой.

Я отмахнулся от этого нелепого человека.

Ложечка звякнула, когда я брал ее с блюдца. Пальцами левой руки я оттягивал веки правого глаза. Зрачок же я старательно скосил к переносью. Я стал заводить ложечку под оттянутые веки, потом за глазное яблоко, одновременно с силой надавливая на него пальцем. Первые несколько миллиметров ложечка продвигалась довольно свободно. Потом стало больно, но я уже не останавливался.

Ольга как-то так захрипела, как будто эту операцию проделывали над ней, Григорий хрюкнул, вполне по-мальчишески, его это, кажется, забавляло. Худбин поцокал языком. Я покачивал ложечкой и все более надавливал на нее. Масло помогало ей проталкиваться все более за глазное яблоко. Мне все что-то мешало, но я был уже почти у цели.

— Так? — спросил я у Григория.

— У тебя мания беспорядочного, — отвечивал он.

— Депрессия на знамени многих нынешних поколений, — отвернувшись, подтвердил и Худбин.

Ольга тихо постанывала.

— Довольно трудная задача, — сказал я.

Тут настал черед маникюрных ножничек. Я стал аккуратно заводить изогнутые их концы за доньшко ложечки. Где ж там этот чертов жгутик?! У меня не получалось, ничего не получалось, впору было попросить кого-то о помощи! Но кто ж мог помочь мне? Я мучился несколько минут, зато глаз был еще цел; я вовсе не собирался его повреждать. Капала кровь, и вот наконец я изловчился и... перекусил. Я сразу понял это, хотя мне показалось, что глаз еще видит. Нажатием ложечки я вытащил его, тот упал на блюдечко, огромный и окровавленный, я быстро склонился над блюдечком, чтобы падать было не так высоко. Тут голова у меня закружилась, я схватился за стол, чтобы не потерять сознание. Наконец выправился, приложил салфетку к глазнице моей, пустой и обиженной.

— Получилось, — хрипло сказал я.

Я обмыл глаз водой, снова положил на блюдечко.

— Это и есть минимальная цена. Теперь заплачено, — сказал я.

— Ну, Неспалов, — сокрушенно развел руками Альфонс Янович.

— Можете забирать вашу партитуру, — сказал я.

83.

На улице была ночь. Самое главное, самое грандиозное, самое болезненное и нестерпимое, что я мог сделать в жизни, я уже сделал. Ольга выглядела застылою и заострившеюся. Я бережно накрыл ее пледом. Моя партитура могла бы стать причиной каких-то неведомых новых воплощений, подумал я. Но, вероятно, для того симфония должна быть исполненной.

Я подошел к окну, разбитому Сотниковым, сдернул с него покрывало; снова был холод, нечеловеческим холодом тянуло от этого окна. Я прижался к окну, взялся за подоконник, чтобы не вывалиться, не выпрыгнуть теперь в морозное ночное пространство, набрал полную грудь воздуха...

— Я написал! — крикнул я. — Водопроводчики! Вы где-то там прячетесь, я знаю! Потому что вы — хитрецы! Саша! — крикнул я. — Аскольд! Это ничего, что вы хитрецы! Я и сам хитрец! Я написал эту чертову симфонию, и я заплатил за нее, поэтому она теперь моя... и она — ваша! Я заплатил глазом, это — небольшая цена. А вы можете ничего не платить. Просто скажите этому человеку... ну, вы его знаете, он искал меня деньгами... скажите ему, что я написал! Скажите ему только одно слово: «Симфония!» — и он, если надо, восстанет даже из мертвых. Не верите? — кричал я. — Попробуйте! Убедитесь! А следователя я не убивал. И никого не убивал. Я раньше сомневался. Меня специально подталкивали, чтобы я сомневался. А теперь я узнал точно.

На улице кто-то остановился под моими окнами. Я не видел, кто именно.

— Вы там остановились, — кричал я. — Я не вижу, кто там остановился. У меня тот глаз, что остался, плохо видит. Вы тоже просто скажите: «Неспалов написал симфонию» — и все! И если вас остановят или даже будут убивать, скажите: «Неспалов написал симфонию» — этого достаточно. Инспектор... Он, должно быть, спит. Инспектора спят по ночам. Вы и ему скажите про симфонию. Он — хороший человек, он оценит, он удивится. Теперь я понимаю, это нужно было сделать. Но я просто боялся. Я боялся за себя. И вот я немного опоздал. А симфония эта особенная... — сказал я.

Я не знаю, как они зашли. Я еще стоял у окна, я еще корчился подле бездны, но в комнате был уже Чанский, с его причудливой нижней губой. Я увидел его губу и сделал какой-то комплимент. Не губе его, разумеется, но — отзывчивости. Мне понравилось, что он появился у меня ночью и без промедления. Появился и Шутко. Голоса водопроводчиков я слышал в прихожей, в гостиную они не заходили. Потом мне сделали укол. Осматривали тело Ольги, я все встречал с объяснениями. Но меня не слушали. Удивлялись моему глазу, рассматривали его с опаской и с уважением. Я указывал на партитуру. Партитура здесь была всего важнее. Ну, конечно, не глаз же!

Худбин! Меня занимало, что сделалось с ним, но мне этого никто не говорил. Лишь успокаивали, как могли. Я что-то еще говорил, что-то хотел высказать. Такая долгая жизнь — ради каких-то жалких секунд счастья, ради коротких вспышек величия, ради мгновений тоски! Справедливо ли это? Гуманно ли, разумно ли? Не уверен. Глаз. Меня победил мой глаз. Он сломал меня. Глаз мой злой и заброшенный. Меня оставили одного в кресле, говоря о чем-то своем, и вот вдруг все перемешалось: и глаз, и кресло, и нота «си», такая близкая, такая многообещающая и обманчивая, и Моховая, и бутылка из-под рома, закатившаяся под стол, и холод, и казенные голоса, и сирена «скорой помощи» под окнами, и лицо Альфонса, которое я то ли видел, то ли оно мне пригрезилось, и нищенка, зашедшая на огонек полюбопытствовать о случившемся, но которую отчего-то не прогоняли, и качнувшееся кадило, и тело Ольги, и руки врача, шупавшего мой пульс, и сморщившиеся мои веки, я тогда сказал что-то, но, против обыкновения, не услышал своего голоса, я лишь вздохнул судорожно, вздохнул трепетно, и больше не было ничего.

84.

Третью неделю меня держат в Большом драматическом. Здесь госпиталь, много военных; спектакли еще играют изредка, не чаще двух раз в месяц, тогда сцену и зал

временно освобождают от коек, но после возвращают на место. На спектакли я не хожу. Кто-то меня узнает, и тогда донимают меня разговорами. Меня здесь не любят, полагая надменным. Это так: я дик и надменен.

Человеки-черновики. Горе сочинителям! В этой жизни высшая доблесть — уклончивость. Да.

Я теперь не хочу писать музыку, я вовсе не хочу ее писать. И не буду!

Двое-трое солдатиков восторженно пытаются пересказывать увиденные спектакли. Я затыкаю уши.

Что же такое ум мой? — иногда думаю я. Фонд искаженных цитат и неудобоваримых мотивов.

Кажется, цена конструктивности в мире — изнеможение. И только мое изнеможение исключительно бескорыстного свойства. О чем это я? Трудно припомнить.

«Точно ли язык дан тебе для недостижимого? — еще иногда говорю себе я. — Точно ли смысл дан тебе для содрогания?»

Друг мой — смерть — уже приходила ко мне, была раздосадована моими горестями и дала мне отсрочку на срок весьма малый, на срок сокровенный. Так что теперь извини, мир! Нынче мне не до тебя!

Мне приносили на примерку стеклянный глаз. Я попробовал его. Он теперь лежит у меня в тумбочке. Пожалуй, он даже хорош. Слишком хорош. Едва ли не идеален.

Сердце мое все время трепещет, будто флаг на ветру.

Бедствие, только лишь бедствие — самоощущение мое в рамках отпущенной мне, свершающейся и дотлевающей жизни.

Немало мне известно бранных слов, но слово «реализм» из них наиболее омерзительное.

Шутки и Чанский приходили ко мне. Принесли с собой водянистые китайские груши в пакете, задавали вопросы, в том числе и о следователе, и о Гольдфарбах, но ни в чем не обвиняли меня. Что-то стало уже забываться. Хотя я помнил веревку и я помнил шило. Груши я раздал соседям по палате. Резали те их ножом. Липким соком груш обливаясь. Еще здесь есть радио, они все время слушают новости. Ни дня без новостей, и те сначала были тревожные, потом еще тревожнее, но в один прекрасный момент как будто заглохли, словно бы их решили скрывать.

Вообще-то я готов безропотно переносить грязь, ужас, насилие, неустройство, лишь бы была торжественность. Торжественность и простота. Но торжественности нет. Простота же нам дана в обращение, простота такого свойства, что лучше бы ее не было вовсе!

Трудно вообразить себе подлость безобразнее загробной жизни.

Была еще Лиза, она почти не переменялась. Не смог даже прогнать ее, то есть — не сумел. Сони нет. Совсем нет. И не будет. Стиснутые зубы. Волк. Надо молчать!

Цветущее становится немощным, отточенное — расхристанным и приблизительным, осанистое — согбенным, энергичное — дряхлым, и все в пределах одной твоей микроскопической жизни. Ведь верно, что жизнь твоя микроскопическая? Или ты полагаешь ее необозримой? Или ты мнишь ее величественной?

Снова — радио.

Подлинные искусства производят и мгновенные сумасшествия. Мое же (единственное) временами кажется мне затянувшимся.

Многие ожидали чего-то совсем уж катастрофического. Я знал, что симфония существует, поэтому следует делать поправку на самый факт ее существования. Надо только понять, в чьих она теперь руках. Ни Чанский, ни Шутко ответить мне не могли. Они теперь не то чтобы умалились, но как-то так обрели свои действительные размеры. И размеры эти невелики. Следователь и инспектор.

День вчерашний не стоит того, чтобы им жить. Завтрашний — тем более. Технология мимолетности. Бог — *чуингам* человек, закосневших в бескрылости. Он всегда там, где скудость и прободение духа.

Если бы все же дана мне была долгая жизнь, то дана была бы, возможно, для какой-то парадоксальной новой праведности. Ныне праведности уместны только парадоксальные, необъяснимые, небывалые. Иные праведности и не нужны, не примет душа их. Душа, душа со всеми ее колченогими стропилами и лживыми арматурами.

Я тоже трудился когда-то, не покладая рук.

85.

Молодой капитан с простреленною ногой, находившийся здесь на излечении... ему принесли из дома аккордеон, утром в субботу, а хотелось веселья и ему, и столь же беспечным товарищам его, и вот прямо с утра были залихватские вальсы и еще много народных мелодий. Двое загипсованных бойцов затеяли танцы с медсестрами, с кареглазой татарочкой и шатенкой белокожею с именем — Люба. Новые лица, суббота, солнце на улице, снег сверкающий, снег слежавшийся; потом, будто бы откашлявшись, заговорило радио, и тут все замолкли и прильнули к приемникам. Стало быть, произошло что-то особенное, чего, возможно, ожидали или чего, быть может, страшились...

— Тысячелетняя история... — сбивчиво говорил диктор. — Наше измученное отечество... давным-давно изжившее себя федеративное устройство... Разгул криминала... Утраченное управление... Сползание к катастрофе... Новая страница, новая вежа... — звук плывет и будто бы глохнет, кто-то плачет, жадно ловят каждое слово. Треск, шипение. Потом другой диктор приходит на выручку. Этот побойчее, этот поухватистее, этот врет звонче. — В обстановке консенсуса... единственный выход... Восемьдесят пять субъектов... восемьдесят пять суверенных государств... мы прощаемся сегодня с Россией, со словом, с понятием, со страной, с самими собою, с самим духом...

— Что же это? Как же так? — шептал кто-то.

— Да, правильно! Давно пора! — гудит кто-то в ответ.

— Была тюрьма народов, тюрьма народов и есть!

— Можно подумать, что-то переменится!

— Переменится не переменится, а порядка будет поболее.

Будто бы воробьи — все эти слушатели радио. Заклинатели воробьев — эти дикторы...

— Но Россия жива, и дух ее в каждом из восьмидесяти пяти новых государств... Русский дух, русский смысл, наша идея...

Потом что-то слышится с площади, будто военный парад, реактивные самолеты, их рев не перепутать ни с чем.

— Мы выстрадали обыкновенное человеческое счастье, мы выстрадали наш покой, — снова собирается с силами первый.

— Право субъектов на самоопределение...

— Было одно отечество, а теперь его станет в восемьдесят пять раз больше...

— А теперь наше прямое включение... заседание правительства Вологодской республики...

Лицом к стене я лежу, но после поднимаюсь. И мне это нелегко. Я не знаю еще, куда они клонят. Но куда-то клонят несомненно. Отчего-то — волнение!

Придите, взгляните на прежнее мое фиаско, великое мое фиаско, что я носил по граду и по миру в заплочном мешке своем, как единственное достояние единственного бытия своего. А ваши фиаско высоки ли? Значительны ли? Любите ли вы свои фиаско? Или, быть может, вы даже не способны осознать их? Не способны восхищаться ими? Не можете предложить тем достойные пьедесталы, грандиозные обрамления? Быть может, вы, любя жалкие успехи свои, пренебрегаете великими своими фиаско?! Так, так и только так, о подлейшие из людей, о препустейшие из двуногих и прямоходящих! Меж тем, недооценивая наши фиаско, мы недооцениваем и саму жизнь. Истинно вам говорю.

Вовремя я поднялся. Треск понемногу стихает. Слышу свое имя, кто-то отчетливо произнес мое имя... ах да, в этом чертовом радио. После — пауза, и вдруг... аккорды вступления. Те самые — торжественные, неумолчные, бронзовозвонные! Застываю. Губы немеют. На меня оборачиваются, на меня смотрят. Боже! Так вот какое употребление предназначено моим проклятым звукам, моему вдохновенному полководью, моей магме, моему неистовству! Боже, отчего так столкнули вы меня с отечеством моим, отчего поставили меня пред ним виновником, отчего позволили мне, с жалким, полузрячим духом моим, вторгнуться во дни, в судьбы и всякие смыслы его?! Имя мое теперь с бесчестьем смешается, станет символом и синонимом того, и мне не сказали этого, позволили петь, сочинять и витийствовать, играя на бедном самолюбии моем. Как мне теперь восстать против того, когда всякое восстание мое лишь, я знаю, еще больше запутывает меня? Оркестр, впрочем, звучал хорошо.

Истина? Вы говорите: истина? В этом слове, мне кажется, есть все же что-то хамоватое и бесцеремонное.

Капитан, на костыль опираясь, подошел ко мне. Он был бледен, и губа дрожала его. Показалось, что хочет ударить.

— Это сделали вы? — сказал он. В лицо мое глядя и еще в глаз пустой глядя.

Что мне еще оставалось? Я виновен пред миром своею нерассудительностью, я всю жизнь писал одни звуки, одни ноты, и вот теперь мне вдруг возмнилось, что на мгновение удалось воспроизвести смысл и красоту, боль и великолепия, самые главные, которые, может, вообще возможны в музыке, а им тотчас же найдено применение самое сомнительное и ужасное, самое корыстное и катастрофическое, я видел, что десятки пар глаз уставились на меня в ожидании, в напряженном и пресловутом ожидании, я знал, что не оригинален, я знал, что повторяюсь, и даже гордился тем, что не оригинален и что повторяюсь, и потому сказал:

— Это сделали вы!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

* * *

Пером и кистью по зиме
Поземка пишет акварели.
Дрожат ресницы старой ели
И серебрятся в полутьме.

С зеленоглазою луной
Играет старый кот в гляделки.
Вживаюсь в роль ночной сиделки,
Поскольку сам себе — больной.

Пузатый чайник на плите
Пыхтит, вздыхает и бормочет,
Как будто мне напомнить хочет
О законной красоте.

Звездам нет счета, бездне — дна —
От белой зависти немею,
И все же выдохнуть посмею:
Россия — это тишина.

ПЕТЕРБУРГ

Лужи на мостовой,
Словно и нет зимы.
Варежкой дождевой
Зачехлены дымы.

Переполох огней.
Бронзовый всадник хмур.
Не карнавал теней —
Месиво контркультур.

Изморось, гиль и хмарь —
Слипшийся видеоряд:
Вписан красный фонарь
В неба черный квадрат.

Владимир Иванович Шемшученко родился в 1956 году в Караганде. Окончил Киевский политехнический, Норильский индустриальный, а также Литературный институт им. А. М. Горького. Работал в Заполярье и Казахстане. Автор нескольких поэтических книг. Член СП. Живет в г. Всеволожске (Ленинградская область).

Мокнет в Неве вода.
Ветер сердит и крут.
Люди туда-сюда,
Словно улитки, текут.

Лижет волна гранит.
Двор проходной — дыра.
Если луна спит,
Значит, и мне пора...

* * *

Черемуховый обморок. Безумье соловья.
Подслеповатый дождь, крадущийся по крыше...
Скучают во дворе веревки для белья,
И, кажется, земля волнуется и дышит.

На цыпочках рассвет по лужам пробежал
И в спешке обронил роскошный куст сирени...
Он долго на ветру качался и дрожал,
Роняя на траву причудливые тени.

Откуда ни возьмись нагрянули скворцы,
Снуют туда-сюда... И важные такие...
И тотчас воробьи — на что уж храбрецы! —
Расстроили свои порядки боевые.

И, кажется, что зла на свете вовсе нет,
Зато добра вокруг — невыпитое море:
И от костра дымок, и яблоневый цвет,
И соло василька в большом цветочном хоре!

МАРИНЕ

1.

Перебранка полешек, бормотанье огня
И волос твоих рыжих волнующий запах...
Я тебя назову — свет осеннего дня
Или, лучше, — предзимье на заячьих лапах.

А еще — из камина возьму уголек
И на белом листке (только бы не проснуться!)
В простоте напишу всего несколько строк,
До которых потом не смогу дотянуться.

Полутон, полужест — между явью и сном
(Только ты помолчи, а иначе — разбудишь!) —
Это снег! Это — первый, большой за окном!
Я его полюблю так, как ты его любишь!

2.

Смахнул снежинки с темной шубы
И сразу понял — опоздал:
Тебя в обветренные губы
Мороз уже поцеловал.
Глаза в глаза! И задохнулся!
И растворился! И пропал!
Ненужным словом поперхнулся
И поражение признал.
Я — снег! Лепи меня руками,
В азарте пальцы обжигай,
Взрывавай белыми стихами
И междометьями стегай!
И смейся! Смейся до упаду!
Я вечер — бел. Я ветер — тих.
Приму как высшую награду
Прикосновенье рук твоих!

3.

Скрипит под ногами ледок,
Чирикает воробьишка.
Меняет и наш городок
На плащик худое пальтишко.
Любимая, вот и весна!
Снега уползают в овраги...
Вот брякну в сердцах: «Не до сна!» —
И двину из греков в варяги,
Минуя веселый Париж,
В котором полно чернокожих,
Где снежные хищники с крыш
Не прыгают на прохожих,
Где каждый случайный сугроб
Сметанен и даже — заморожен
И всякий любовный микроб
Опознан — и уничтожен!
И веник у них не цветет...
А наш, посмотри, — расцветает!
Любимая, я — идиот —
Европа стихи не читает!

Не смейся, родная, прошу...
И пусть непростительно трушу —
Я лучше ТЕБЯ напишу:
Слушай!

ПО ОТВЕСНОЙ СТЕНЕ

1.

Выглянул месяц, как тать из тумана,
Ножичком чиркнул — упала звезда
Прямо в окоп... В сапоги капитана
Буднично так затекает вода...

Через минуту поодаль рвануло.
Замельтешили вокруг светлячки...
Встать не могу — автоматное дуло
Прямо из вечности смотрит в зрачки.

2.

Белый день. Белый снег.
И бела простыня.
Бел как мел человек.
Он белее меня.

Он лежит на спине,
Удивленно глядит —
По отвесной стене
Страшновато ходить.

«Помолчите, больной... Не дышите, больной...» —
Говорит ему смерть, наклонясь надо мной.

3.

Остывают страны, народы
И красивые города.
Я плыву и гляжу на воду,
Потому что она — вода.

А она и саднит, и тянет,
Словно соки земные луна...
Жду, когда она жить устанет
Или выпьет меня до дна.

Я плыву, как вселенский мусор...
На другом берегу реки,
Наглотавшись словесного гнуса,
Чахнут звездочки-паучки.

Из какого я рода-племени?
Кто забросил меня сюда?
Скоро я проплыву мимо времени,
Опрокинутого в никогда...

* * *

Луна продырявила дырку
В небесной большой простыне.
Сработаны, как под копирку,
Стишата, что присланы мне.
Вот, думаю, — делают люди,
Печатают эту пургу...
А я, словно овощ на блюде,
Стихи сочинять не могу.
И я совершаю ошибку,
И в корень не тот зрю...
Но сплевываю улыбку
И сам себе так говорю:
«Зачем тебе глупая драка
За место на полосе...
Пиши — говорю, — Собака!
Печататься могут все!»

РОДИНА БЕРЕЗОВЫХ ЛОЖЕК

Повесть

1

Когда начались обстрелы, наш дом задело одним из первых. Артиллерийским снарядом ему снесло верхние этажи. Словно гигантской болгаркой срезало. Тогда я был на уроках и подробности узнал позже. Много подробностей. Ими делились щедрые на отчаяние и страх соседи. Те, кто выжил. И те, кто оказался рядом. «Шесть человек, погибли шесть человек», — бормотал Александр Никифорович, глуховатый педиатр из соседнего дома.

Из этих шести я знал лишь старуху Фадеевну, державшую у себя орду кошек, и дверь в ее квартиру, поставленная еще при Союзе, скорее для вида, нежели для защиты, не могла сдерживать ядовитой вони. Чудовищного запаха, который я помню даже сейчас. Впрочем, саму Фадеевну я видел всего два или три раза (она старалась не появляться на людях): сгорбленная остроглазая старушонка в болоньевом плаще и с ржавой «кравчучкой». Она приманивала кошек и на лестничную площадку, расставляя корм в баночках из-под сметаны.

Когда снаряд уничтожил верхние этажи, кошатница Фадеевна ушла из нашего города навсегда. Как и ее питомцы. Было ли мне их жаль? Нет. Было ли мне жаль ее? Тоже нет. И за это трудно себя осуждать. Смерть — даже после разрушенного дома — еще не казалась реальной, а была чем-то абстрактным, удаленным, не вызывающим слез. Я в принципе не задумывался о ней. И вот за это можно себя осуждать.

Мама говорила, что соседи, пересказывающие историю о нашем доме, смаковали подробности. Наслаждались ужасом. Точно в кино. Но я так не думаю. Они просто боялись. Как и все мы. И в то же время радовались, что это был не их дом. Да, знакомых, но все-таки не их дом. И не они мертвы, а другие.

Я получил эсэмэс от мамы на уроке географии: «Выйди». Поднял руку, вида ее, дистрофически-худой, обтянутой старомодной рубашкой, как и всего себя, я жутко стеснялся: «Извините, можно выйти?» Географию вела Акулина Степановна, дама строгая, но справедливая, страдавшая мигренями. «Нет». Я набил маме ответное эсэмэс, объяснил ситуацию. И оставшуюся часть урока просидел в судорожном волнении. Потом, уже на перемене, мама прокричала мне в трубку: «Срочно беги домой!»

Вернувшись, я увидел всклокоченных соседей, разрушенный дом, вооруженных ополченцев и раздавленную несчастьем маму. Она не встречала меня. Она рыдала, сгорбившись у дальней стены.

Платон Беседин родился в 1985 году в Севастополе. Автор романов «Книга Греха» (2012), «Учитель» (2014), сборника рассказов «Рёбра» (2014) и книги публицистики «Дневник русского украинца: Евромайдан, Крымская весна, донбасская бойня» (2015). Рассказы переведены на итальянский, английский и немецкий языки. Публиковался в изданиях «Дружба народов», «Наш современник», «Юность», «Новая Юность» и др. Также выступает как публицист и литературный критик. Живет в Киеве и Севастополе.

Я подошел, не в силах говорить, касаться, дышать, с сердцем, колотящимся до чугунного звона в ушах. Просто стоял рядом, потупившись, оплывая книзу, точно свеча. А мама рыдала. Худенькие острые плечи ее, будто под светлой курточкой был не человек, а вешалка, ходили вверх-вниз, до изнеможения. И лицо стало бледным, выжатым, точно вывернутым наизнанку. На нем еще больше, чем раньше, выделялись огромные печальные глаза, делавшие маму похожей на Богоматерь с икон.

Наша квартира сохранилась. Скарб уцелел. Но жить в ней было нельзя. Обрушились верхние этажи, повредились железобетонные перекрытия. С давно не беленного потолка крошилась пыль. Но мама все равно хотела остаться. Рыдала, билась, твердила, что нам некуда — она страшно завывала на этом слове, и я отворачивался, зажимая уши, — идти. А человек из служб Народной Республики — зачуханный, испуганный, но пытающийся выглядеть уверенно — говорил, что нас пристроят, что все будет нормально. Стандартный набор банальностей, от которого делалось лишь хуже.

Однако за ним стояло решение, вбитое клином в нашу прежнюю жизнь. И пришлось собирать документы, гроши, три чемодана вещей и мой рюкзак. «Ненадолго», — звучало обнадеживающее слово, но ему не верили, его отталкивали, в нем сквозила второй свежести фальшь.

На желтом «Богдане», еще с десятком людей, нас отвезли в пустующее здание школы. Там уже жили такие, как мы, и когда я подошел к свободной кровати, выскочил рослый мальчик, постарше и покрепче меня, и, не дожидаясь, сунул мне костлявым кулаком в челюсть, не сильно, так, для профилактики. «Это моя!» — крикнул он, а я покорной овцой согласился.

Мне отыскивали койку похуже, с продавленным, как в больницах, матрасом. Ничего, я не напрягался — главное, чтоб рядом дышала мама. И так было, хотя она не говорила со мной, а все терзалась, даже в темноте, когда легли спать. Она, как маленькое дитя, всхлипывала во сне, а я пялился в окно, искал звезды — не находил, закрывал глаза, сжимал их до боли, мысленно считая животных, боясь встать в туалет, хотя очень хотелось. Уснул я лишь ближе к утру, когда холодными красками забрезжил суровый донбасский рассвет.

2

Школу закрыли через неделю после того, как снаряд попал в наш дом. И на фирме у мамы не стало работы. Денег давно уже не платили, с этим мы смирились, но раньше хотя бы давали продукты, а теперь исчезли и они. Людей распустили по домам на неопределенный срок. И мы окончательно обосновались в общем бараке.

Мне всегда отвратительно туго давалось общение, а здесь, в замкнутом, душном пространстве, оно превратилось в тягчайшее преодоление себя. Пришлось смириться и с рослым мальчишкой, страдающим зудом костлявых кулаков, и с шумными тетками, устраивающими перепалки из-за еды и стирки, и с поддатými мужиками, изображавшими из себя больных или раненых. Мы все должны были мириться друг с другом и с ситуацией вокруг. Даже не знаю, что нам давалось труднее.

Я потерял сон, стал еще бледнее обычного, и мама, глядя на меня и вздыхая, начала выдавать мне апельсин или яблоко, по одному в день. Я съедал их вместе с семечками, до терпкой белизны выгрызая корки. Не знаю, где мама брала деньги на фрукты. Я в принципе многого не знаю о том времени. И уже, наверное, вряд ли узнаю.

Мозг отключился, перешел в новый режим. Как телефон, не принимающий и не передающий сигналов, так и я отбросил все лишнее, сосредоточившись на выживании. Прежде всего на моральном. С физическим было чуть лучше: нас корми-

ли два раза в день — кашами и бурдой, похожей на суп, иногда давали кусочки бледно-розовой разваливающейся тушенки и нашинкованную капусту, политую чем-то вроде растительного масла. А вот принять новый быт морально я не мог, как ни старался. Оттого проводил время за территорией барака. Мама запрещала, но я все равно убегал.

Гулял по тополиным аллеям, вернее, по тому, что осталось от них: много деревьев было вырвано с корнем или торчало обрубками. Блуждал меж подбитых, еще не заштопанных зданий. Натыкался на вооруженных людей, оравших, чтобы я не шлялся под пулями. И всякий раз я хотел идти к нашему дому, хотел подняться по лестнице на родной третий этаж, читая знакомые хамские фразы на стенах, чтобы в итоге оказаться там, где я прожил четырнадцать лет, всю свою жизнь. Но я не доходил, останавливался, думал о взорванной крыше, об одинокой маме и неизменно возвращался назад.

3

Мама не ходила на референдум одиннадцатого мая. Боялась. И так объясняла свой страх: «Проголосую честно — со мной разберутся, а если иначе... совесть замучает. Да и мы в любом случае проиграли».

Последнюю, обреченную фразу мама позаимствовала у соседки — тети Жанны. Та была сытая и холеная, вся цветастая, в рюшечках и кудряшечках, будто нарядный пудель из кукольного театра. С мамой она общалась только лишь потому, что всякий раз могла подчеркнуть свои достоинства и преимущества.

У нее был муж — дрянной, пьющий, но все-таки муж, которого она часто не пускала домой, и он, лежа перед запертой дверью, матом перечислял, за что он свою жену ненавидит. Еще у Жанны была машина — оранжевое «шевроле», залепленное патриотическими наклейками так, словно из него делали выставочный стенд. Жанне очень нравилось сидеть за рулем — «успокаивало», — и она все рвалась меня покатать, но мама вежливо и стойко отказывалась.

Когда же в наш город зашел передовой вооруженный отряд, Жанна решила уехать, предварительно отлепив с «шевроле» наклейки — все эти георгиевские ленточки и «спасибо деду за победу». У нее, как оказалось, была квартира в Черкассах, и туда они с мужем собирались уехать, «чтобы не получить пулю в лоб».

Перед отъездом Жанна зашла попрощаться. Принесла чай, конфеты. Мама усадила ее на кухне, за накрытый полосатой скатертью стол, и они пили горячий — мама любила обжигающе-горячий — чай из красных пиал, и я тоже уселся в углу, таская из хрустящей коробки шоколадные, с вишневым ликером, конфеты. Потом Жанна ушла домой, забрала мужа, села в «шевроле», заперла квартиру, наказала нам за ней присматривать и умчала. А мы с мамой остались. До попадания снаряда в наш дом.

И я вспомнил о Жанне, потому что, похоже, в главном она оказалась права.

4

Мама решила уезжать из Донбасса в конце июля. Мы жили в лагере, оставшись без жилья и работы.

Когда я все-таки собрался и попал к нам домой, то увидел, что поврежденный потолок обвалился, накрыв всю квартиру. Шел дождь, и я стоял, раздавленный, как и наше жилище, беззвучно плачущий, заходящийся. Улица стыла пустотами, и возвращение домой теперь было окончательно невозможно. Перед глазами вспыхнули

разноцветные круги, и я, оглушенный несчастьем, побрел через остов детской площадки к городскому парку.

Прежнее больше не существовало. Оно отпочковалось, откристилось от нас, и воздух, нагретый июльским зноем, сгустился до невозможности; каждый шаг, каждый вздох давались с усилием, мощным, волевым, как чемпионское поднятие штанги. У бывшего гастронома я увидел здорового ополченца: он стоял, опершись на уцелевший платан, и курил смачными, долгими затяжками. Табачное облако, поднимавшееся в ясное лазурное небо, было как мое прошлое, неуловимое, горькое, за которое не удержишься.

— Дайте, пожалуйста, закурить, — обратился я, и ополченец молча протянул мне сигарету. Я повертел ее в руках, пальцы, обгрызенные в ногтях, задрожали. — И огня, пожалуйста.

— Ни говна ни ложки, — пробурчал он, но зажигалкой чиркнул.

Я наклонился, сделал затяжку. И тут же закашлялся. Ополченец глядел на меня так же, как и прежде — лениво, без интереса. Глаза на его вытянутом, цвета вареной капусты, лице были голубовато-водянистые, потухшие, такие, как будто он давно уже умер. И перед этими глазами я не мог отшвырнуть сигарету, потому курил дальше, кашляя и страдая. Вся эта сцена — в ней было что-то неестественное, наносное — казалась дуростью, фарсом, насмешкой над горем и над собой. Но я все равно курил, делая то, что не получалось у меня в школе, когда под смех и подзуживание выдерживал две-три, максимум четыре затяжки, а тут смог докурить сигарету до половины.

Надсадный кашель не прекращался. Разноцветные круги перед глазами стали беспощаднее, ярче, спаиваясь с тошнотой и головокружением, но это было даже к лучшему, потому что важным стало заместить боль, отчаяние от утраты чем-то физически мерзким, гадким, подобно тому как больной зуб на время вытесняет страдания от несчастной любви. И я добился эффекта: пусть на мгновение, но сигарета оказалась неприятнее, досаднее, чем разрушенный дом. Благодаря ей я смог пережить самый жуткий момент в моей жизни. И «спасибо», произнесенное ополченцу, было предельно искренним.

Я не стал говорить маме о разрушенной квартире. Хотя, уверен, она давно знала о ней, но, оберегая меня, молчала. Никто из нас не хотел сообщать убийственно-черную, подводящую черту весть. Мы знали о разрушенной квартире, не представляли, как жить без нее, но ни слова не сказали об этом друг другу, словно заключили договор, пакт о ненападении дурными новостями. Очень личными, касающимися только нас.

Других бед, общих, у нас хватало — не расхлебать, не вычерпать и за век. Новые люди, жизнь которых растрепала война, набивались в наш барак, точно мерзлая килька, спрессованная в брикеты. Жара, зной усиливали человеческие запахи, подпитывали болезни — ОРВИ, дизентерию, — и мы ходили, словно чумные, толпились возле сортиров, облюбованных жирными малахитовыми мухами. После кто-то принес вшей, и меня обрили наголо, обработав специальным раствором, а женщины, устроив крик, браться наголо отказались.

Лицо мамы — и без того будто списанное с маски вселенской скорби — стало еще мрачнее и, казалось, начало поглощать солнечные лучи. Я, как мог, старался не тревожить ее. Хотя раньше, когда любая проблема — будь то сложное домашнее задание, безденежье или разборки со сверстниками — настигала меня, я обращался за помощью, за советом к маме, зная, что она обязательно поможет, разрешит ситуацию, но теперь в ней было столько тревоги, растерянности, незащитности, что я должен был сам оберегать и защищать ее, избавляя от внимания сотен

глаз, наглости сотен рук, влияния тысяч мыслей и чувств, создавая для нас двоих изолированное пространство, кокон уюта, в котором остались бы только мы.

Раньше, когда у нас не хватало денег и мы жили не то чтобы впроголодь, но до безобразия скромно, что с нами случалось часто, мама говорила:

— Ничего, сынок, главное — у нас есть крыша над головой, а остальное — второстепенно. Человеку всего-то нужен угол, где он может приткнуться...

Теперь у нас не было и этого угла. Мы потеряли первостепенное. Хотя мама и не говорила мне, но я слышал, как она пыталась узнавать о жилье, о переезде и с каждым днем горбилась все сильнее, превращаясь в старуху.

Я должен был побеседовать с ней, сказать нечто по-мужски внятное, это я понимал, но в силу возраста не знал, что именно и как говорить. Оттого безропотно наблюдал, как маму подтачивают, съедают бытовые проблемы и душевная хворь.

Потому когда нам предложили ехать беженцами в Крым, мама не без сомнений, но согласилась. Обещали город у моря, нормальное питание и работу. А потом можно было вернуться. На родину.

Правда, нам возвращаться было некуда, но мы все равно надеялись, и мама не заикалась о доме, я же усердно одергивал себя на фразах вроде «нам стоит взять что-то еще» или «как там наша квартира». Мы густо замешали наше молчание на страхе и постарались привыкнуть к нему, игнорируя любое упоминания о родине. Но все равно слово «вернуться» стало значить для меня слишком много. Город, который я терпеть не мог за грязь, узость, тоскливость, казался мне теперь любимым и важным только лишь потому, что был родным.

Оттого мы уезжали на время — не навсегда. Ехали в новый российский Севастополь. Туда, где жил мой отец.

5

— Такое сейчас сплошь и рядом! — констатировал мой школьный приятель Тимофей Рогачев, Тима, с ушами-локаторами и запятой чубчика.

Он говорил так о разведенных родителях, о детях, растущих в неполных семьях. Акцент Тима делал на «сплошь», и выходило что-то шипящее, подкожно-змеиное, от чего кожа моя покрывалась пупырышками морозца. Тимофей сам рос в неполной семье — без матери, но с жизнерадостным, крепким отцом, который работал на шахте, но выглядел так, будто держал успешный бизнес.

Рогачев-старший, застав нас дома, сел рядом и говорил, не умолкая, всегда об одном и том же — о донецком «Шахтере». Если бы Ринат Ахметов хотел выбрать главного болельщика клуба, то отец Тимы оказался бы вне конкуренции. Он мог начать разговор с прошедшего матча, или с трансферных новостей, или даже с того, как постирал клубную футболку, но тут же расширял, углублял мысль, нырял в прошлое, когда за «Шахтер» «играли достойные люди: Старухин, Соколовский, Кондратов». Дальше следовал образцовый исторический экскурс, в котором неизменно отыскивалось место новым, ранее не озвученным фактам.

Я завидовал Тиме, завидовал, что у него такой замечательный отец, и когда обижался на маму, шел к Рогачевым в гости и там находил покой. Вот только Тима поступал точно так же: мне не хватало отца, ему недоставало матери, и я думал познакомиться, свести Рогачева-старшего и мою маму, но их единственная встреча прошла в такой тишине, что идея моя сразу же была отброшена и забылась.

Правда, Тима, в отличие от меня, никогда не жаловался. И на все мои возмущения реагировал неизменным:

— Такое сейчас сплошь и рядом!

Это его «сплошь» раздавливало и злило. Я скучал по отцу, а мама не давала никаких — внятных или невнятных — объяснений его отсутствия, отвечая коротко, без эмоций:

— Ушел.

Вот и все объяснение против моей тоски, против моего одиночества. «Ушел». Такое же гадкое словцо, как и «сплошь». Особенно когда рядом был жизнерадостный отец Тимы.

Но с началом войны многое изменилось. Рогачев-старший возненавидел ополченцев. Он ходил к ним с проклятиями и угрозами, с карикатурами и плакатами, словно городской юродивый, и я не узнавал этого ставшего за несколько суток другим человека, расстроенного, как гитара пьяненького уличного музыканта. Он изменился и внешне: осунулся, исхудал, щеки впали, появились темные круги под глазами, кожа покрылась красными шелушащимися пятнами. Но самая страшная перемена произошла с глазами: мрачной густоты добавилось в них. Теперь когда Рогачев-старший видел нас с Тимой, он, как и раньше, садился рядом, но заговаривал уже не о «Шахтере», а о предательстве, о военной экспансии, о бандитах и подлецах, уничтожавших его родину. Ополчение он ненавидел, люто, отчаянно. Никогда я не видел, чтобы человек так ненавидел. Всем собой, без остатка. Словно душу дьяволу продал и еще доплатил.

Тима, несомненно, тоже чувствовал, что я боюсь его нового отца, что он мне неприятен, но заговаривать об этом стеснялся — терпел, сглатывал обиду и страх. Мы оба понимали, хоть было нам по четырнадцать лет, что не сегодня-завтра Рогачева-старшего убьют, и когда я, не выдержав, рассказал об этом маме, она рассудительно, как всегда печально, чуть растягивая слова, произнесла:

— По-своему он, конечно, прав, но так, — она пожевала бескровные тонкие губы, эта ее привычка всегда раздражала меня, — он вряд ли чего добьется. Ему уезжать надо...

Я передал эти слова Тиме. И он, налившись кровью и злобой, орал на меня, чтобы я не лез не в свое дело, что пусть лучше я своего отца поищу, и вообще предъявил много такого, за что ему, конечно, потом было бы стыдно. Ему бы и было, но иное чувство — боль утраты — вскоре захлестнуло его.

Последний раз я видел Рогачева-старшего в понедельник. Знаю точно, потому что за день до этого мы ходили с мамой гулять в парк, а наши совместные прогулки всегда случались по воскресеньям. Рогачев-старший был расшатан и болен, едва не в бреду, и вся его колоссальная сила, питаемая жизнерадостностью, бесследно исчезла. Он шепелявил, по-стариковски пускал слюну и клялся, что ненавидит всех их, проклятых ополченцев, что они быдло и маргиналы, что клейма на них негде ставить. Ярость и ненависть жрали его, будто рак или какая другая чудовищная болезнь.

Но слова, вылетевшие из его рта, покрытого вокруг язвочками и прыщами, мне запомнились, вгрызлись в память: «Ни один приличный человек не поддержит их». Приличные вроде были — например, наш учитель литературы. Да и не только он. Но слова Рогачева-старшего все равно не забывались, сидели во мне паразитами, и, присматриваясь, я действительно наткнулся на жутковатых типов с оружием в руках.

Рогачева-старшего нашли рядом с его домом. С простреленной головой. Сваленного в канаву. И собаки, говорят, вертелись рядом. Были и другие подробности, но я их не слушал. Сразу набрал Тиму. Телефон не отвечал. Был без связи. Он так на нее и не вышел — пропал.

Я ходил к нему в квартиру, стучал в запертые двери, интересовался судьбой Рогачевых у соседей и видел в их глазах нагой страх. Все они молчали, все не хотели

ни на что отвечать. И тогда, набравшись смелости, родившейся во мне как реакция на отчаяние, я сунулся к ополченцам.

Меня встретили люди в форме, экипированные, будто в компьютерной стрелялке, с огромными блестящими автоматами-пушками. Лиц я не видел — только глаза, выглядывающие через прорезы в балаклавах; у всех разные, но в то же время похожие своей холодной сосредоточенностью. Я спросил, что с Рогачевыми. Мне не ответили. Не услышали даже, были заняты. Один только боец, чуть прихрамывающий, задал пару вопросов, а потом выдал мне звонкий качественный подзатыльник:

— Давай дуё отсюда, пацан! — гаркнул он с акцентом уроженца не этих мест.

И я свалил, действительно испугавшись. И когда мама узнала об этой моей вылазке, то выпорола меня — впервые с младших классов, наверное — тем, что попало под руку. А попалась бельевая веревка, и мама била меня ею, не щадя, не прицеливаясь, сама же и плача при этом.

Я рыдал уже после. Не столько от боли, сколько от шока. И еще больше от осознания того, что потерял и лучшего друга, и его отца, отчасти, в определенные моменты, заменявшего отца моего, которого я никогда не видел.

6

Как мы и хотели, нас отправили по распределению беженцев в Севастополь. Я никогда не был там, но мама приезжала туда, и город ей очень понравился. Когда я спросил: «Какой он?», мама ответила: «Как рафинад».

Описание мне понравилось. И в душном автобусе, пока нас везли из Донбасса в Крым, я представлял сахарный город, воображая его белые искрящиеся улицы и то, как буду гулять по ним, свободно, без ограничений, и ни один человек в форме не зыркнет на меня, не прикрикнет: «Эй, пацан, а ну-ка вали отсюда!» Все это останется в прошлом. Но лишь на время. Потому что военные уйдут, крышу нашего дома восстановят — и я обязательно вернусь в родной город. А пока — сахарный Севастополь.

— Воспринимай это как поездку на море, как летний отдых, — то ли всерьез, то ли полушутя сказала мама, стягивая каштановые волосы в неизменный тугий хвостик.

Многие из тех, кто ехал с нами в Крым, действительно так и воспринимали эту поездку — как летний отдых. Покупаться на море, позагорать. Фруктов крымских поесть. У них были деньги. И в автобусах такие люди появились лишь потому, что узнали — можно поехать в Крым. Дальше нам обещали распределение на Сахалин, в Тюмень, в другие малозаселенные регионы России, но до этого бы не дошло: мы все — ну или почти все — собирались вернуться домой, на родину. Просто одни ехали, так как остались без жилья и пропитания, а другие — чтобы весело провести время.

В автобусе мама читала книгу с запомнившимся мне названием — «Солнце мертвых». Я спросил: «О чем это?» Мама подумала и ответила: «О Крыме. И о войне».

Всех нас, перегнанных через переправу на огромном, похожем на древнюю черепаху пароме, поселили в лагере на Северной стороне Севастополя. Мы добрались туда поздно ночью, через один работали фонари, и я успел рассмотреть лишь гигантские шатры-палатки, в которых нас и разместили. Выжатый духотой, измочаленный зноем, я рухнул на застеленную кровать и тут же заснул, напоследок успев поймать обжигающий запах свежих простыней, по которому так соскучился.

Утром я встал раньше мамы. Жара не давала спать, обезвоживала. Я чуть приподнялся на локтях, осмотрелся. В палатке было еще, наверное, два десятка человек. Храп, пот, грязь — все это подхватывалось и усиливалось душным пеклом.

Я встал, вышел из палатки. На улице, несмотря на раннее время, сушило и плавало жестокое крымское солнце. Я пошел вдоль палаток. Лагерь, похоже, разбили на бывшем футбольном поле. В двух концах огороженной каменным забором площадки сохранились ворота. Впрочем, кто мог играть здесь — вопрос, потому что ржаво-бурая земля, покрытая редкой белесой травой, была щедро усыпана камнями, гравием, щебнем; упали кто — разбился бы в кровь. По периметру, вместо трибун, шли металлические, с облупившейся краской трубы. Большую часть лагеря занимали огромные шатры-палатки из блестящего кислотного синего материала. Если не знать, кто и почему жил здесь, то можно было бы решить, что приехал цирк. У ржавых входных ворот примостился шестигранник металлической будки; такие обычно ставят на автомобильных стоянках, усадив туда пенсионера-охранника с подзаряжающимся от сети фонариком и крошечным телевизором. Также перед воротами стояло небеленое кирпичное здание, за ним тянулись столы, сбитые из свежеструганых досок, еще пахнувших спешкой плотников.

Увиденное мне не понравилось. Сделано все было «на отшибись», как говорила мама. И я понял, что лагерь этот на время, на месяц, на два максимум, а потом нас перекинут в другое место. Да, я все равно собирался вернуться домой, на родину, к заводам и терриконам, но вдруг? Вдруг придется застрять на этой выжженной солнцем мертвых земле.

— Эй! — окликнули меня из кирпичного здания. — Ты что тут делаешь?

— Я, — растерялся, — я из лагеря. Из Донбасса.

— Беженец?

— Ну да.

— Так иди в палатку, здесь нельзя лазить.

— А как же?

— Иди, я кому сказал!

Мужик, окликнувший меня, был нечесан и хмур, и эта его застоявшаяся суровость контрастировала с цветастыми гавайскими шортами.

Я вернулся в палатку расстроенный, с вконец разболевшейся головой. Мама уже проснулась и теперь причесывалась, глядя в крошечное зеркало пудреницы. Я думал, она станет ругаться из-за того, что я ушел на прогулку без спросу, но она, повернувшись и улынувшись грустно, только сказала:

— Вот мы и дома...

7

С нами в палатке жила толстая молодая женщина по имени Рая. С ней лишней раз не связывались. Не то чтобы ее боялись, но обходили стороной, даже присматривающие за лагерем. Рая, как и все мы, ожидала получить в Крыму иное. Но в отличие от нас не скрывала своего разочарования, переходившего в бурное многословное раздражение.

Когда в лагере три дня не было питьевой воды и мы пользовались той, что отдавала мокрой псиной, из-за чего страдали поносом, а лекарств в медпункте не оказалось, Рая подняла бунт, и нам привезли нормальную воду в огромных красных цистернах. Рая же потребовала поставить нормальные туалеты, и из свежеструганых досок нам соорудили будки с фаянсовыми унитазами, водруженными на «очко». Впрочем, какие-то сволочи все равно ходили не в них, а рядом, на покрытый пятнистой фанерой пол. Рая пробила увеличение числа душевых, пусть и с жуткого вида, протекавшими кранами. Но мы были довольны. Особенно в такую жару. Воду хоть и экономили, а все равно шли под прохладные струи.

Если бы не Рая, жизнь наша оказалась бы куда отвратительнее, невыносимее, а так она преодолевала многие препятствия, решая большинство жизненно важных проблем. Мама называла ее Амазонкой: Рая, с копной как смоль черных, до поясницы, волос, с чуть раскосыми, вечно пылающими глазами, с массивной, но не теряющей женских форм фигурой, действительно напоминала воительницу.

Но на беду, эта ее решимость, всепробиваемость имела и обратную сторону: как она была требовательна к чужим, так же обращалась и со своими, устраивая один скандал за другим. Ее койка стояла напротив моей (мне разрешили остаться с мамой), и часто утром я видел, как она спит, раскинувшись звездой на кровати, открыв ткань однотонных трусиков и целлюлитную рябь бедер. Проснувшись, Рая тут же принималась отдавать указания, выяснять отношения; ее сперва, как могли, игнорировали, но после, не стерпев, отвечали — и начинался бой, в котором она не знала удержу.

Когда засветиться перед телекамерами к нам в лагерь приехал местный большой начальник с лицом спившегося боксера, одетый, несмотря на жару, в блестящий синий костюм, Рая прорвалась к нему и принялась по-македонски стрелять обвинениями и требованиями одновременно. Почему такие условия? Почему воды питьевой не было? Почему кормят только кашей и просроченной тушенкой? Почему в медпункте лекарств нет?

Все это было верно, да, но лично меня больше всего раздражали насекомые: пауки, сколопендры, жуки — они заползали в палатки, вызывая, в зависимости от контингента, легкую или бурную панику. Одну женщину (ей в принципе не везло: то она подвернула ногу, то провалилась в сортир) укусил тарантул, и дежурный по лагерю, из местных, не знал, что с ней делать. Ментам, пригнанным откуда-то с Урала и вечно спавшим в дальних, цвета хаки палатках, было все равно, а эмчээсники, дядьки более решительные и волевые, перекладывали баул ответственности на медиков, которых в лагере не оказалось. Пришлось сообщать начальнику, и пока решали, женщине — ее звали Тамара, а фамилия точно в рифму была Хмара — стало до беспамьяства худо. Наконец ее увезли на «скорой», но в приемном покое с украинскими документами принимать укушенную тарантулом отказались. В итоге Тамару все-таки приняли, спасли, но не без последствий для нервной системы: слишком много времени прошло после укуса.

Рая попыталась рассказать большому севастопольскому начальнику и об этом, но ее оттеснили, она еще раз прорвалась и крикнула истерично, взхлеб:

— Да вы бы пожили в таких условиях! Барин!

Чиновник покраснел и стал объяснять, что не все зависит от него, что он сам человек простой, подневольный, а главное — беженцам сострадающий, что живет на съемной квартире, получает весьма умеренную зарплату, на что Рая закричала еще истошнее:

— Да что ты врешь? У тебя часы за двадцатку «зелени»! Я из Луганска, думаешь, не отличу?

Перепалка, конечно, в телехроники не вошла, а вот Рая пропала. И если одни волновались за нее, то другие не слишком открыто, но все же радовались ее исчезновению. Причем чувства не зависели от того, как кто к ней относился; часто более или менее ладившие с ней выглядели довольнее тех, кто бранился.

Но спустя двое суток Рая вернулась. Тихая, увядшая, чуть согнувшаяся в поясице. Я уже видел этот надлом, знал эту жуткую перемену, когда встретил маму, рыдавшую у разрушенного дома. В лагере зашептались о Рае, думали, что с ней «провели беседу», избили, но следов побоев на лице и теле ее не было.

И все-таки Рая взбунтовалась еще раз — напоследок. Когда нас заставили выдирать город для будущего расселения. Я из-за плеча мамы смотрел и выхватывал

взглядом некоторые названия: Тюмень, Мурманск, Петропавловск-Камчатский. Некоторые беженцы записывались добровольно, но таких оказалось мало: большая часть не хотела уезжать из Севастополя в ледяные края. И Рая, вспомнив себя прежнюю, хоть и запал подрастерявшую, закричала, набирая тон и нерв:

— Мне что, в одних трусах в Сибирь ехать? У меня и одежды нет! А там мороз! Вы что делаете, сволочи? Я землянку здесь вырою, буду в ней жить! Никуда вы меня не сдвинете! Ни-ку-да!

Ее протест в лагере поддержали. Беженцы попросили начальство еще раз обсудить условия переселения, пересмотреть ситуацию, но делать этого не стали, а вопрос решили быстро. Начали кормить по талонам, которые перестали выдавать тем, кто отказался вписать себя для добровольного расселения. Тогда многие определились — Мурманск или Тюмень. А Рая пропала совсем. Не физически — морально.

8

Мама не советовалась со мной, какой город для переселения выбрать. Да и спроси меня — я бы не ответил. Что Мурманск, что Благовещенск — все одно: далекое, холодное, а главное — чужое.

Я и к жизни в лагере-то не привык. Сам Севастополь мне не особо нравился. Он был замусоренный, вальяжный и дорогой. Хоть первое время я и наслаждался морем, куда меня строго по распорядку отпускала мама. Я избегал общественного пляжа, заваленного пластиковыми бутылками и полиэтиленовыми пакетами, где люди вечно ругались на вонь общественного туалета и резались о стекло битых бутылок, уходил от всей этой суетливой грязи подальше, идя вдоль берега туда, где торчали одинокие черные камни с прилипшей краснотой мха и зеленью водорослей. Только там и можно было купаться — или в моем случае барахтаться, потому что плавать я так и не научился. Но все равно тоска по дому к вечеру, когда садилось солнце, подкрадывалась, наваливалась, не давала уснуть.

Я вспоминал промышленные кварталы, тополиные аллеи, захламленные подворотни, черные, в копоти, дома — и все это, безрассветное, невыносимое, теперь зазывало назад, тянуло, требовало моего присутствия. Я скучал, я тосковал, я хотел вернуться. Но путь домой был закрыт.

Война, о которой я, уезжая в Крым, думал, что она скоро кончится, наоборот, отожравшись на кишках и мясе жертв, только окрепла, разохотилась, расвирипела. И наш город стал одним из ее любимых трапезных мест. Мама не сообщала мне новостей из дома, но по ее грустным, припухшим глазам, по доходившим слухам, по редкой связи с теми, кто там остался, я знал, что погибают или мучаются наши общие знакомые, что те, кто жив и не ранен, но не может уехать, доедает последнее или уже доел, что голод страшный, такой, как в рассказах стариков, которые приходили к нам в школу девятого мая. Я знал это, ощущал беззащитностью кожи, но все равно хотел вернуться.

Мама же искала варианты остаться. Действовала как взрослый человек, понимавший, что и возвращение в наш родной город, и переезд куда-нибудь в Сибирь — это мука и в перспективе погибель, моментальная или отсроченная. Потому она разыскивала отца. Мама познакомилась с ним в Саках, на лечебных грязях, куда он приехал из Севастополя, а она — из Донбасса. Тогда меня и вписали в проект бытия. Но свадьбы не случилось, с отцом ее в принципе быть не могло. Он жил одиночкой и такое существование ценил.

Когда я был маленький, отец приезжал к нам три раза, всегда в феврале. Я помню, что у него были длинный нос и мозолистые руки. Он медленно говорил, точно

гири ворочал, и смотрел на меня уныло, не без стеснения, своими болезненными, табачного цвета глазами. А потом он приезжать перестал, отключился, забыл. Я скучал по нему, скучал даже по такому отцу, пробовал выпрашивать у мамы, общаются ли они, но она уходила от ответа или отмалчивалась, хандрила, и мне удалось понять лишь то, что иногда отец напоминал о себе деньгами.

Вот и сейчас, в Севастополе, мама не стала бы разыскивать его, если б не я. Но меня, оставшегося без жилья, без средств, без школы, без зимней одежды, надо было как-то пристраивать. И отец мог помочь в этом. К тому же больше знакомых в Крыму у нас не нашлось.

Днем мама уходила из лагеря, оставляя меня одного, наказав при этом, чтобы я вел себя осторожнее на море. Одно время она вообще пыталась искоренить мои походы на пляж, но быстро сообразила, что шансов на то нет и быть не может, особенно в ее отсутствие. Возвращалась мама ближе к вечеру, уставшая, изможденная и жарой, и безответностью своих поисков. Я боялся спрашивать о том, как она провела день, а она сама вскользь говорила что-то пустяковое, к делу отношения не имеющее и, скорее всего, выдуманное.

Кроме прочего, мама искала работу. В нашем городе, до войны, она работала бухгалтером — здесь ей, максимум, предлагали подработку уборщицей или посудомойкой за гроши, издевательские даже для Украины, а для Крыма, с его новыми российскими ценами, просто кошунственные. Но на другую работу, за другие деньги ее как беженку брать не хотели и всячески это подчеркивали, часто в надменно-издевательском тоне.

Все чаще я заставлял маму плачущей, отчаявшейся. Первое время я пытался успокоить ее, унять боль, но быстро понял, что это тщетно, и теперь всякий раз при виде ее, подавленной, сторбленной, у меня из груди, тошнотой упираясь в кадык, поднималась ярость, отдававшаяся в плечах тяжестью и ломотой, будто на них восседал кто-то; в ушах дребезжало, сердце бухало, и я мог унять это предельное состояние только бегом, по мере которого выплескивал все то дерьмо, что накопилось во мне за день и что в раздражении я хотел швырнуть в лицо людям. Бежал я без цели, лишь бы бежать, но, так или иначе, чаще всего оказывался на холме, с которого открывался вид на море. Большая часть холма была обнесена забором из сайдинга — кто-то вел здесь застройку, оставалась лишь узенькая полоска вытоптанной земли, и на ней были расклеены листы А4 с распечатанными цитатами из Библии («блаженны страждущие...») и указанием церкви, в которую стоило обратиться. Церкви с красивым и настораживающим названием.

Но однажды — день для Севастополя был выдающийся: накрапывал летний дождь — мама сообщила, что берет меня с собой.

— Мы едем к твоему отцу, — шепнула она.

Мы вышли на причал, прошли мимо груд гниющего мусора и торговых палаток, заваленных лакированными ракушками, тельняшками, бескозырками, футболками с Путиным, прочими крымскими сувенирами, сели на катер, пришвартованный на другом берегу Севастополя. Здесь был иной город — действительно сахарно-рафинадный, с колоннадами и барельефами, с лестницами и памятниками, но в эту белую, чуть пожелтевшую от времени, как зубы от кофе, архитектуру были воткнуты современные, из бледно-голубого стекла, высотки, смотревшиеся так, будто на сбор нумизматов заявлялась группа скинхедов.

Дальше мы ехали на маршрутках, «мерседесах-спринтерах», которые местные называли «топиками». Втиснуться в них оказалось проблемой, даже стоя — был сезон, и в салон набились шумные туристы и сердитые местные. Мне повезло: я ехал рядом с двумя загоревшими до цвета тыквенного масла девицами в купаль-

никах и коротеньких белых юбках. Они были низенькими и грудастыми, любящими выставить себя напоказ.

А вот место, куда мы добрались, оказалось менее симпатичным — почти отвратительным. Я старался думать о девицах в купальниках или о рафинированных колоннах, это чуть помогало, но вот от смрада подворотен спастись не удавалось. Мы нырнули сначала в одну, потом в другую, миновали покосившиеся хибары, крытые битым шифером, затем двор, столь густо заросший акациями, что через чащу пришлось продирааться, и наконец оказались в коридорчике, ограниченном двумя сырыми стенами, прошли и его, очутившись в еще одном дворе, посередине которого стояла облупленная бледно-желтая ванна, а за ней чернело пепелище, судя по запаху, еще недавно бывшее домом.

Увидев его, мама обмерла, пошатнулась и рухнула бы назад, ударившись о бетон затылком, но я успел поддержать ее, лоя и обмякшее тело, и горестный стон. Казалось, она, еще секунду назад бывшая напряженной, нервной, но вместе с тем относительно здоровой, воодушевленной, теперь бредила, лепетала, и я не узнавал ее, едва находя силы тащить на себе, дабы усадить на бетонный кругляк, крытый трухлявой доской. Я думал, что так облегчу ее состояние, но, обретя точку опоры, мама забилась в истерику еще сильнее, зарыдала так громко, что из открывшейся двери — я не сразу заметил, но в этом колодезном дворе было много дверей — выползла растрепанная баба с красным, опухшим лицом, запахнутая в куцый халат.

Она взглянула на маму, потом на меня, еще раз повторила последовательность и ошалело заматерилась. Кроме брани, я не мог разобрать ни слова, не понимая, чего она хочет от нас, а мама продолжала рыдать, и от такого напряжения я, четырнадцатилетний пацан, который должен был стать, как мне наказали, хозяином семьи и опорой матери, разрыдался сам, по-девчачьи судорожно и сопливо.

Тогда шальная баба зашла обратно в дом и вернулась уже с бутылкой водки. Протянула ее сначала маме — та глотнула, потом мне — я повторил и тут же, сморщившись, выплюнул горечь. Но спиртовая гадость, как сигареты тогда, у разрушенного дома, привели в подобие чувства. Я перестал хныкать, а мама забормотала бессвязные обрывки страданий:

— Была... живой... Господи...

Баба уселась рядом. Глотала водку из горла и похлопывала маму по худым, костлявым плечам. Давала выплакаться.

Вскоре по горчичному зерну я начал склевывать смысл происходящего. Мама уже приходила сюда, в этот забракованный Богом и санэпидстанцией двор. На днях. Встречалась с отцом. Он жил в доме, который теперь стал пепелищем.

— Хата сгорела. Три дня назад, — продираясь сквозь колющий мат, понимал я краснолицую бабу, — а Колька выжил. Стоял тут бухой, лепетал. А после умотал куда-то...

Слова не произносились ею, а скорее, отваливались от нее, будто корка от раны. И тем больнее для нас, что в такой момент рядом оказался именно такой человек. Впрочем, может, оно и к счастью. Будь кто душевнее, сентиментальнее — и он бы полез в душу, что-то такое бы говорил — утешающе-важное, от чего становилось бы еще тоскливее, гаже. А так была эта баба, без возможности пожалеть кого-то, даже себя.

— Куда умотал? А ты родная, что ль? — мама кивнула.

Баба задумалась:

— К мамке, наверное. Куда ему еще деться? Тебе адрес дать?

9

Так мы оказались у бабы Фени. Вернее, таковым стало начало. Новая наша жизнь, запущенная бегством отца.

Баба Феня жила в крымской деревне. Под Симферополем. Там когда-то были ферма, винзавод и элеватор. Но теперь ничего этого не осталось. Деревня стояла мертвая, пожухшая, и я быстро, за три дня, исследовал ее жалкий остов. Обошел, шныряя меж крошащихся развалин и облупившихся стен. Будто по родному городу после войны пробирался. Только здесь войны не было. Во всяком случае, той, что с «буками» и с «градами». Но общий пейзаж был так же уныл.

Домик, в котором жила баба Феня, оказался ему под стать. Сложенный из глиняных кирпичей, давно не беленный, он крошился и обрушался. Доски, которыми настелили пол, были проломлены в нескольких местах. Черепичная крыша подтекала. Внутри пахло сыростью, затхлостью и полынью, которую баба Феня разбрасывала, дабы отпугнуть неприятные запахи. На кроватях лежали взбитые пирожки пуховых подушек.

— Из Москвы привезла! — глядя на них, с трепетом говорила баба Феня.

Слова «привезла из Москвы» были отметкой высшего качества. Раньше, когда баба Феня уже была старой, но еще чувствовала себя молодой, она, как и десятки лет до этого, ездила в российскую столицу. Что-то продавала, что-то покупала, неизменно волоча все на себе.

— Это ничего, а вот девочкой...

Тогда ей было совсем тяжело. Невмоготу. Она жила в Брянской области с матерью и двумя сестрами и ездила на подножках поездов торговать яблоками в Москву. Те годы она вспоминала как «страшное время».

Мы долго привыкали к этим ее болезненным воспоминаниям, думая, что они могли обозлить бабу Феню. Но нет. Характер у бабы Фени хоть и оказался не из нежно-пуховых: она была требовательна и к себе, и к другим, часто казалась груба и сурова, — но злобы той, что жалит, как змей, и выедает, как червь, не наслоилося в ней ни на грамм. Баба Феня гнала ее отзывчивостью и добротой, щедрая к каждому, кто бы к ней ни обратился. Мы оказались одними из них.

После того похода к пепелищу отцовского дома мама звонила — при мне и нет — в наш родной город. Вернее, пыталась дозвониться, так как знакомых там почти не осталось. Многие разъехались, кто-то погиб; война или рассыпала, или разварила людей, как пшено. И через несколько дней, в очередной раз не получив талон на питание, мама согласилась ехать в Петропавловск-Камчатский. Своей рукой она вписала этот далекий город в пресно-серый бланк переселения.

Тем вечером я пошел на морской берег, устроился на выщербленном солью и бризами валуне, ощущая его остывающий, накопленный за день жар, и смотрел на волны, мерно накатывающие на узкую полоску песка, на облака грифельного цвета и, прощаясь, грустил о Севастополе. Так же было у меня и с родным городом: я не очаровывался им, когда жил там, но расставание вызвало трепетное, щемящее чувство. Вот и Севастополь я полюбил тогда, когда мне надо было с ним попрощаться.

Возможно, нечто похожее произошло бы со мной и в Петропавловске-Камчатском, если бы нас отправили потом куда-то еще — ведь Россия большая, очень большая, — но сейчас, ловя теплые брызги волн и запах йода, ехать туда, в холод и забвение, в чужой город, мне не хотелось. Весь я противился этому и, вернувшись в лагерь, зло смотрел на дежурных, на ворота, на объявления — на все свидетельства той власти, что отправляла нас в зябкую отчужденность. Все дальше от донбасского дома.

Той ночью я, конечно, не спал, тарасился в синий шатер палатки, слушал стрекот цикад, всхлипывание мамы, храп беженцев, шебуршание насекомых. И это затянувшееся свидание с ночными тревогами, ползущими одна за другой, как полиэтиленовые пакеты, потянешь один из мешка — пристанут и остальные, раздавливало безысходностью. Я тихо встал, сунул ледяные, несмотря на жару, ноги в резиновые шлепанцы и вышел на общий двор.

У ворот топталось двое пьяных, раздетых до пояса мужиков. Я видел одного из них, мелкокалиберного суетливого парня, днем: он лежал рядом с палаткой, и со спины его, с плеч, рук, будто старые обои, посаженные на клейстер, сползала сгоревшая под безжалостным крымским солнцем кожа. Его звали Витя, и он как-то по-собачьи откликался на это имя. Был одним из тех мужиков, здоровых, крепких и вечно пьяных, которые появились в лагере после нас. Большую часть времени они ошивались в городе или на пляже, а когда появлялись в лагере, то кучковались в сторонке с видом матеряющих уголовников. И тетки, я слышал, шептались, почему такие здоровые лбы не остались там, на войне, Донбасс защищать.

В этот раз дежурный вновь пустил их. Они, пошатываясь, побрели к палаткам. А потом он заметил меня, прикрикнул: «Иди к себе, поздно уже!» И пришлось подчиниться.

Вечером же следующего дня многое изменилось. Мама явилась не то чтобы радостная, но бодрая, воодушевленная. Отвела меня в сторону, попросила пройтись. Мы, по привычке взяв с собой все самое ценное, вышли за территорию лагеря, бесцельно побрели мимо панельных девятиэтажек и зарослей ежевики.

— Я сегодня была у твоей бабушки, — мама начала без предысторий.

— Бабушки?!

Я не сообразил, о чем она говорит. Я знал только одну бабушку. Ту, которая жила с нами в донбасской квартире, но умерла, когда я пошел в первый класс. Перед этим она долго болела, и мне, шестилетнему, пришлось научиться менять ей памперсы; теперь мне кажется, что ими, испачканными, пахнут все старики. Другой бабушки у меня не было. Дед же погиб в Великую Отечественную войну при освобождении Польши.

— Помнишь, ту женщину возле дома... отца? Пьяную.

— Да.

— Она же дала мне адрес. Разыскать твоего... отца.

Мама помолчала. Стала бледнеть.

— Я поехала. К его матери. К твоей бабушке, стало быть.

— К бабушке? — все еще недоверчиво повторил я.

— К бабушке, — кивнула она. — Отца там не оказалось, баба Феня давно не видела его, но когда я все рассказала... она предложила нам пожить у нее.

Так мы избежали снегов Петропавловска-Камчатского, оставшись под солнцем мертвых в Крыму.

10

Это было непросто — приспособиться к жизни в деревне у бабы Фени. Возможно, так же непросто, как и к жизни в лагере. И главное — я не мог уяснить, упрочить в сознании, что она — моя бабушка. Моя бабушка! Я даже не мог называть ее так. Просто — баба Феня. Когда мама услышала это мое обращение, то тут же выказала недовольство.

— Она ведь может обидеться!

- А как же мне ее называть?
- Бабушка!
- Ну ты же не говоришь ей — мама...

Она растерялась. Большие печальные глаза ее потупились. Мама всегда говорила: «Феодосия Самсоновна» — и никак иначе. Сказать «мама», наверное, было так же непросто, как и мне «бабушка». Так обращаться мы не привыкли.

Собственно, весь этот переезд в деревню еще не воспринимался нами. Мы никак не могли уяснить, что будем жить здесь дольше, чем месяц или два, что это не просто очередное временное убежище, где все — от скрипящих кроватей до воды в бане — чужое, нам не принадлежащее, которое в любой момент отнять могут, — а большая, полноценная остановка, наш новый дом.

Нет, мы не рассчитывали, что кухня, дверь в которую была обита зеленой лысой клеенкой, тронутый ржавчиной холодильник «Минск», столы, заваливающиеся, как хромые собаки, старенький кинескопный телевизор, ожидающая дров печь — что все это теперь принадлежит нам, как в своей грубоватой, простецкой манере настаивала баба Феня. После того как у нас отняли то небольшое, что мы успели скопить, в том числе и здоровье, нервы, такая щедрость не могла восприняться сразу — требовалось время. И внутри по-прежнему сидел червячок, свербящий, ноющий: а вдруг все снова отнимут? Одно мгновение — и жизнь выдаст издевку, принесет горе, как тогда, у изуродованного снарядом дома, или у сгоревшей лачуги отца, или в лагере с сопротивляющейся Раей. Мы не могли даже помыслить новую жизнь — не то что принять ее.

Но постепенно все же обтесывались, привыкали друг к другу. И тут больше всего помогал совместный труд. А сделать в деревне многое надо было. И в хате, и на огороде.

Однажды, устав так, что у меня поднялась температура, я ядовитым шепотом пожаловался маме:

- Может, баба Феня нас батраками взяла?

Сказал — и тут же получил по губам.

Сама баба Феня не терпела лени. Плохо спавшая, кряхтевшая и сгорбившаяся, она поднималась с первой зарей, несмотря на жару, обматывалась платками и, надев сиреневые калоши, шла в кухню. Пила там чай, съедала кусок хлеба с плавленым сырком «Дружба». И так — каждое утро. А после ковыляла на огород — крошечная, с двумя клюками (меня раздражал их стук по разваливавшейся бетонной дорожке); она напоминала жука-сизифа, день за днем волочившего свою ношу. Работа уже не давалась ей легко, как раньше, отзывалась ломотой, травмами, болью, и, отпахав, сколько могла, баба Феня отлеживалась на тахте, выпив корвалола и обезболивающего. Чтобы после идти трудиться вновь.

Работала она ежедневно, приучая к труду и нас. Мы вычесывали, вылизывали огород, сеяли, боронили землю, завели петуха и семь кур, на которых баба Феня выделила свою пенсию, латали забор. Я видел, как к вечеру устает мама, но вместе с тем в бледности ее изможденного, озабоченного лица замерцал свет, которого не было раньше, и восковая безысходность, будто нечисть изгнали, ушла из него.

Мама была городская, но деревенские дела схватывала охотно, вертко. Они давались ей не без напряжения, но давались, а вот я, сколько ни старался — впрочем, старался я так себе, — раз за разом получал нагоняй от бабы Фени. Она ругала меня за вовремя не набранные ведра, за неровно вставленные дуги, за неумение растянуть пленку, за испорченные саженцы, за брошенные на огороде вещи. В такие моменты баба Феня прикрикивала, пыталась делать сама, но часто не справлялась, падала и корила меня:

— Эх ты, негодный малый...

Слов она не выбирала. Говорила так, как в свое время, наверное, говорили ей. И, понимая это, я старался не поддаваться поднимающейся изнутри, точно изжога, горько-едкой обиде, но она все равно душила, подчас доводя до надсадного писка, от чего баба Феня принималась ругаться сама, еще шибче прежнего, пока вдруг не шикала, останавливая кутерьму спора: «Тише! Чего людей дивишь?» Эти ее заглядывания на то, как живут другие, и без ссор раздражали: какой у ее знакомой сын смысленный, и как дружны Рябчиковы, и как соседская девочка до ста научилась считать — подавалось все это в жалостливой, старчески-унылой манере, раздражавшей меня даже больше, нежели сами слова. Но как только перебранка стихала и мы успокаивались, баба Феня тут же забывала причину ссоры, будто только что и не было наговорено друг другу столько бестолково-вздорного. Ни на кого она не держала зла.

Хотя жизнь покромсала бабу Феню прилично. Мужа она потеряла в песчаном карьере, где его придавило, когда он пошел за землей для постройки кухни, а сын — «непутевый» — с ней почти не общался, только денег хватал. «Он и мальцом такой был: лындаль все где-то», — шамкала баба Феня о моем отце, которого на самом деле безмерно любила — вся хата была в его фотографиях, и я наконец в полной мере смог рассмотреть родное лицо, от которого мне достались мясистые губы и чуть изогнутые дугами брови.

Часто одними и теми же фразами баба Феня расспрашивала нас о том, как жили отец с матерью, и маме приходилось выдумывать чудаковатые семейные истории, которые я дублировал после. Баба Феня слушала, кивала — ей приходилось говорить в правое ухо, им она слышала хорошо, а вот левое совсем оглохло — и вроде бы соглашалась, но, похоже, скорее для вида; она была крайне проницательна.

Я же никак не мог привыкнуть к ней. И, думаю, мама тоже. Не было ощущения, несмотря на всю ее милосердную доброту, домашнего очага, близкого родственника — хоть баба Феня и представляла нас всем как своих «родичей», — но дело было не в ней, а исключительно в нас: мы разучились верить в доброту, в отзывчивость, верить в самих людей. Особенно когда случались конфликты, день выдавался тяжелым, росли непонимание, напряженность, тогда этот морщинистый человек рядом переставал быть даже бабой Феней, а не то что бабушкой и превращался в надоедливую старуху, отчего-то пустившую нас пожить в свой дом, но мы не ведали, не догадывались, сколько еще могут продлиться эти ее щедрость и доброта. Слишком долго мы были несчастными, чтобы наконец-то поверить своему счастью.

Но оно было. Или, точнее, набросок его. И мы жили в нем, убеждая себя, что так, именно так должно быть.

11

В сентябре, когда наступило первое Минское перемирие, — старенький телевизор, до нашего приезда стоявший безмолвно, теперь ежедневно работал по вечерам, мы смотрели новости — мама собралась ехать домой. Она не стала обсуждать это с бабой Феней, но та догадалась сама и, не щадя, устроила нагоняй. Мамино настроение, еще минуту назад решительное, быстро обратилось в покорно-унылое, затем в плаксивое, и она зарыдала, как всегда, по-стариковски сгорбившись. Но баба Феня, напирая, настаивая, продолжала выговаривать ей за безрассудство, при этом похлопывая по плечу, успокаивая: «Сама так жила, но не сейчас, матушка, не сейчас...»

Ночью, когда скандал поостыл, а в доме повис резкий запах сердечных капель, я подкрался к маме и попросил, чтобы она взяла меня с собой — домой, на Донбасс. Я несколько раз, точно заговоренный, повторил эти слова, действовавшие на меня как теплое молоко с медом. Но мама сказала, что никуда не поедет, смысла в этом нет, и теперь плакал уже я, коря себя за совсем немужскую слабость.

А вскоре обстрелы возобновились. Мама нашла работу — продавщицей в магазине «У Лукьяна». Платили издевательски мало, но больше ее никуда не брали, а тут сжалился хозяин — беззубый краснощекий татарин, — по каким-то родственным делам ездивший на Донбасс, в Стаханов, и с тех пор до валидола переживавший за там происходящее.

Я остался с бабой Феней один на один, и она тут же нагрузила меня работой. Свята для нее была лишь моя учеба, ее она никогда не прерывала, и оттого я частенько делал вид, будто занят уроками. На деле же я к ним обращался редко, в школе учился на «удовлетворительно», хотя в Донбассе был почти отличником, но здесь, в крымском селе, оказался изгоем и для учителей, и для сверстников. Они не трогали меня, не били — не было всего того, что делают с теми, кого не любят, но, по правде, я принял бы и избиения — любой контакт оказался бы лучше, чем то непроницаемое равнодушие, что вклинилось между мной и остальными. Мне не говорили «привет», не говорили «пока», в принципе ничего не говорили. Не просили списать, я сам не мог попросить помощи у кого-то. Мне даже не адресовали случайных взглядов. Иногда казалось, что я не существую, что меня нет. Это стало вскоре навязчивой идеей.

Но в доме у бабы Фени внимания было, наоборот, слишком много. Я не мог уединиться, не мог остаться с собой и собой тоже — она контролировала все мои действия, и если видела, что я ничем или недостаточно занят, то тут же выдергивала и нагружала делами. Я старался не бывать ни в школе, ни у бабы Фени, а шатался по селу, осматривая крошащиеся дома, заброшенные фермы, раскисшие дороги, незасеянные поля и свалки мусора. Это помогало. Хандра деревни, ее неприкрытая окоченелость уверяли меня, что не я один такой — отвергнуто-изолированный, но вся жизнь вокруг.

В тот день лил дождь, и деревня превратилась в разваренную гречневую кашу; я не стал бродить по улицам, а поплелся домой, к бабе Фене, и мы сцепились почти сразу же, как только я заглянул на кухню, сцепились из-за еды. Так часто уже бывало. Баба Феня пыталась усадить меня за стол — есть ее вечно пересоленный, жирный суп из крахмалистой домашней лапши, а я не хотел, я сопротивлялся, меня и так подташнивало от съеденной за углом малиновой хубба-буббы.

К тому же в школе я получил низший балл по истории, которой, приехав из Донбасса, знать, конечно, не мог — ее и крымчане-то не знали, откуда? — но расстроился я даже не из-за оценки, а из-за того, как высмеял меня перед классом наш историк, молоденький парень, бесстыдно пялившийся на девчонок, наглый и туповатый: он сделал мне неадекватно грубое замечание, мол, я не на той земле оказался, а я, не сдержавшись, ответил на срыве, что не ему, студенту, это решать, и он тут же, будто только того и ждал, принялся выговаривать мне так, словно он не учитель, а старшеклассник, добравшийся до жертвы, выбранной им заранее из тех, кто помладше. А после наступил классный час, историк успел пожаловаться нашей классной руководительнице — больной нервной женщине с родимым пятном на щеке, и она отругала меня жестко, но без хамства, не выходя из так называемых рамок приличия, хотя на задних партах все равно издевательски хихикали, и в результате к бабе Фене я вернулся раздраженный, распаренный, внутри клокотало так, словно гремели дьявольские автоклавы, и я не хотел никого видеть,

хотел уединиться, обособиться, но баба Феня моего состояния, как всегда, не почувствовала и тут же, шамкая и кряхтя, принялась доставать меня просьбой поесть «свеженький, горяченький суп», попутно пичкая расспросами и комментариями, на которые приходилось отвечать, а так как она была глуховата, то отвечать криком, от чего мы оба нервничали все сильнее.

Общение наше кончилось дурной сценой, когда я сорвался в истерический крик и, желая сделать гадость, причинить боль — не бабе Фене, конечно, а тому историку, что унизил меня, тем одноклассникам, что посмеялись надо мной, и, наконец, тому миру, что разрушил мой дом, — схватил со стены висевшие там деревянные ложки и швырнул их в кухонный угол, туда, где стояла тяжеленная стальная кровать, накрытая десятком пуховых, шерстяных, байковых одеял. Ложки могли попасть в них — в нечто мягкое, амортизирующее, но они ударились о белую стену, и одна из них, треснув, раскололась пополам.

Баба Феня ахнула, заковыляла к углу. Подняла расколотую ложку. Уставилась на нее, точно на раненое дитя, своими слезящимися, подслеповатыми глазами, а потом расплакалась. И я, до этого никогда не видевший ее старческих слез — старики плачут особенно жалобно, — попятился назад, осел, распозлся по стулу. Гнев мой на миг сменился вяжущим отчуждением, но тут же ошалело вернулся, ворвался в меня, словно злой дух, обретший новые силы, и я, не контролируя себя, закричал на плачущую бабу Феню, что она виновата сама, что довела меня до такого вот состояния и что я хочу домой, на Донбасс, что мне не нравится здесь, в ее убогой хибаре, а она плакала, не переставая, не отвечая, и тогда, резко крутанувшись на пятках, словно выполняя прием фигурного катания, я выскочил на двор, в морозящий дождь и, заколотившись, разрыдался сам. Жуткая нервная сцена.

Почти сразу же мне стало стыдно. Я не умел обижаться долго. И когда случалась ссора, либо прорастал обидой внутрь себя, либо, наоборот, выплескивал гнев наружу, как с бабой Феней: криком, угрозами, оскорблениями. Однако и то и другое быстро сходило с меня, будто иней солнечным днем, и тогда цветом зла распускалось иное щемящее чувство — вины, досады на себя за то, что я обидел другого человека.

Так случилось и с бабой Феней. Она не говорила мне ничего больше, не судила, не кидала претензии — жила, как жила до этого, но во взгляде ее, в голосе, дрогнув, появилась обиженная, трагическая нотка. Ложки она убрала в стол, скрипя ту, что переломилась пополам, скотчем. Но однажды, зайдя в кухню, я застал ее, смотрящую на них, тосковавшую. Я понял: она печалилась не из-за меня, не из-за моих криков, но из-за сломанной ложки. Они, не случайно висевшие в кухне на видном месте, были дороги ей.

На следующий день я извинился. Мне хотелось сделать это сразу после ругани, но я не находил в себе сил, решимости, да и сама баба Феня казалась отстраненной, чужой, той, для которой все мои слова были бы бесполезны. И все же, решившись, я подошел к ней, лежавшей на своей громоздкой, застеленной периной кровати, и, как мог, попросил прощения. Она приняла мои извинения сразу, попросила прощения сама, обняла, но мне показалось, что этого мало, и вздумалось поговорить:

— ...баба, извини, что сломал ложки. Я склею, прости.

Она взглянула на меня так, словно в душу ознобом нырнула, и через усилие прошептала:

— Это память. О родине. И о добрых людях...

Я не понял ее, но почувствовал, что слова эти о самом важном, о том, почему и она, и мы все еще здесь. Меж тем я ничего не знал о ней, хоть она и была моей родной бабушкой, которую я так и не смог принять, прописать в своей голове, в сердце, а сделать это был, несомненно, должен. И тогда я стал просить ее рассказать

о себе и о ложках, о жизни своей, чтобы успокоиться, понять и раскрыться. Баба Феня отнекивалась, отмахивалась вялыми движениями рук, она была не из рассказчиков, не из трепливых, но в итоге все-таки согласилась, выпрямилась, сев на кровати, и начала говорить.

12

— Как началась война, в сорок первом, отца сразу забрали. Нас четверо осталось. Я за младшими доглядала. Яшенька тридцать шестого был, пятый год шел, а Катьке — двенадцатый день. Отец, когда уходил, взял ее на руки и плакал. Сказал матери: «Не бросай их, доглядай за ними». И ушел.

Погиб он сразу же. На Десне. Перед этим письмо нам прислал: «Гонят нас, а снарядов никаких нету. Гонят к Десне. А жив буду или нет — не знаю. А как жив буду — пришлю письмо». И не прислал. Погиб.

Мы когда-то ехали на машине там, нас одни добрые люди возили — скока там наших погибло! Потому что пришли, а никаких снарядов нет. И говорили солдаты: «Сталин всех сдал». Но это неправда. Он по радио говорил: «Я никуда не ушел. Я с вами буду». У него сын в плен попал. Ему немец настаивал: «Отдай нам начальника, мы твоего сына отпустим». А он: «Начальника на солдата не меняют». Таков человек был.

В сентябре к нам немец пришел. Уже в деревню. И вот когда немец шел, наши партизаны выходили из леса, солдаты бывшие, скидали одежду с себя и руки вот так поднимали — сдаемся. А немцы с танками, мотоциклами шли дальше. Партизаны — за ними: мы в плен сдаемся, нам не нужна советская власть. И даже люди наши, некоторые, с иконами выходили. Предавали русских.

Ну что, немцы пришли — живем. Куда деться? Тогда все еще посеяно было. А партизаны из леса выйдут — пук из винтовок! Немцы тогда злятся, смотрят на село, говорят — это партизанское. И палят всё. И у нас всё попалили. И людей перебили. Одну бабу поймали, привезли на кладбище. Мы жили как раз подле него. Поймали ее и заставили себе яму копать, и она копает и плачет. Недобитую ее, живком закопали. Она как кричала — земля аж подымалась!

Побегли мы в лес. Он недалёко — семь километров. А немец — за нами. Яшенька — маленький, плачет и на коленки падает. И Катька ревет. Мы под бугром тогда спрятались. Слышим — немец ищет. И рот я Катьке зажала, чтоб не плакала. Яшенька сам замолчал — догадался. А немец нас ищет. Рот Катьке зажала — держу, не отпускаю. Потом думала — задохнулась она. Такой грех взяла бы на душу. Не смекнула, что делаю. Но Господь уберет: Катька жива осталась. В Самаре сейчас живет.

И так мы ушли в лес. К партизанам. Делали ямки, жили там. Я в село за картохами лазила. Немец уйдет, партизан подползет, говорит: «Пока немца нет — идите». И я ходила, картохи копала. А еще ели щавель, лесные яблоки, аниски, траву. Жили.

А потом партизаны говорят: «Жители, вы идите — сдавайтесь в плен. Вон у соседнем лесе четыреста шестьдесят человек убили. И вас убьют». Один только мальчик остался живой. Но он в воду влез, спрятался, двенадцать лет ему было. И вот мы сдаемся в плен. Руки подняли. Идем, а немец нас гонит. У немца огромные овчарки были, лютые. А мы плачем, кричим, жмемся друг к дружке. Выгнали нас в поле, посадили на клевер — и четыре пулемета над нами поставили. Мы все пообнялись, плачем. Ждали, когда начальник приедет. Расстрелять.

А среди нас один старик был. Он на коленках к немцу подполз и говорит: «При чем тут простые люди? Партизаны вас бьют, солдаты, а мы при чем?» И этот немец смилостивился — отпустил нас.

Пришли мы тогда домой. А все попалено. Одна хибара торчит. А так нема ничего. Люди сели на пожарище и сидят. Что делать? А старик этот, который нас спас, он говорит: «Жить надо!» И начал ямку свою искать. И мы начали.

Мы, когда в лес уходили, в ямки вещи поклали. И лесу сверху накидали. Но ямки нашли, все позабрали. Это полицаи брали. Наши русские полицаи, кто немцу продался. У дядьки маминого зять был. Дочку приемную взял, сына. Хороший до войны мужик был. А потом немцы пришли, и он пошел у полицию. И людей бил. Потом к дядьке партизаны пришли и убить хотели. За то, что зять его, полицай, русских людей бьет. Но жена дядьки вышла, кричит: «Бейте тогда меня! Бейте!» И дядьку не тронули. Так она заступилась. А то хотели убить, что зять его — полицай.

Но мы ямки кой-какие нашли, картошку там отыскивали. Негодную — проросшую, склизкую. И не поешь, и садить поздно — май. Что из этих картох вырастет? Но куда деваться? Стали пахать на себе. Потянем плуг. Картошки посадим. Боронили тоже на себе. Две семьи собирались и пахали. И картошка хорошая зародилась. Господь нам помог, не оставил Заступник.

А старик, тот, что нас всех спас, вот эти ложки из березы делал. Он и блюда, миски долбал. Чтоб в них что-то есть. Один поест, другим отдаст. А я ложки те сохранила. Как память. Что все друг дружке тогда помогали.

Но настает зима. Жить негде. Сидим в бурьяновых шалашах. Покойная мама говорит: «Давайте возить лес, будем строить землянку». И начали строить, но не построили. Куда там? Думали, поумираем с холоду. Но нас люди пустили. Зимовать. И зимовали мы в их землянке. Тем и выжили.

А седьмого апреля, на Благовещение, Яшенька наш погиб. Мама меня одну оставила — на хозяйство, а сама уехала в город. Я Катеньку доглядала, а Яшенька гулял, потом прибег ко мне и давай сон рассказывать, как он в реке купался. Рассказал и водички у меня попросил, чтобы дальше бежать. А сам мокрый, половода тогда была. Мама наказала, чтоб я его гулять не пушала. Иди, говорю, домой, не пушу я тебя гулять и воды не дам, а он засмеялся, затанцевал и побежал. Слышу через время — бах! И подумала: Яшеньку нашего убило. Выбежала — люди голосят. Говорят: «Яшку пришибло!» И девочке тогда еще одной глаз ранило. Праздник был, дети вокруг бегали, а большие ребята снаряды кидали. И разорвалось. Яшеньку нашего осколком убило.

Мне после сон снился. И до сих пор снится. Иду я по горе. По левую сторону — речка, а по правую — луг. А там — маленькие детки. И Божья Матерь, во всем белом, высокая, с ними: собирает деткам цветы. И бежит ко мне братик Яшенька. А я ему: «Яшенька, пойдем домой, я тебя тогда не пустила, ты весь мокрый был, а теперь воды дам. Пойдем домой!» А он говорит: «Феня, не пойду я домой. Мне тут крепко хорошо. Вы только не плачьте, что я мокрый». — «Яшенька, что у тебя болит?» — ему говорю, плачу. А он: «У меня только пальчик болит». — У него мизинец во время взрыва оторванный был. И осколком в висок попало. Сказал мне это и побег обратно — к детям и Божьей Матери. «Только не плачьте», — нам говорит. Я до сих пор Матерь Божию вижу и братика. Как живых.

А перед тем, как немцы ушли (это летом уже), к нам спустили с парашюта солдата. Немцы видели, как он к нам в погреб залез. Они за ним пришли. А он натягивает на себе соломку и говорит: «Как мне хочется остаться живым! У меня пять братьев, и все погибли. Один я остался». Немцы вытащили этого солдата. И убили. Тут же, возле погреба. Но солдат нам тогда сказал: «Наши тут близко, в соседнем селе. Но никак не выбьют. Крепко фрицы позакопались!»

Это потом уже, в сорок третьем, на рассвете, Левитан кричал: «А Катюша громко бьет, Ванюша лопочет! Немцы серут у штаны, а русские хохочут! Немец до хуто-

ра Михайловского без штанов побег!» А мы в погребе сидим. Одна высунулась, хотела поглядеть. А снаряд ей как бух! И руку всю отсекло. Учительницей она была.

В сорок третьем немца от нас отогнали. Мы колхоз стали устанавливать. Все на себе делали: боронили, пахали. Вот трудная была жизнь! Хотя и теперь, говорят, трудная. Помню, подъехало начальство из Севска. Одна у нас, такая шустрая, стала песню петь: «Мамочка родимая, работа лошадиная — только нету хомута и ременного кнута». И ее на бричку посадили и повезли. Чтоб больше не пела. И не вернулась она. Тогда строго было. А у ей отца убили, мать умерла. И двое детей осталось.

Так и жили. Как война кончилась, на крышах поездов в Москву ездила. Яблоками торговать. Стану, жду, когда кто в кино идет, парами. А я: «Возьмите яблочки...» Соберу денег, прикуплю кое-что.

Но это другое, ты это слышал, а так заморилась я. Натрынделась, голова болит, не вмоготу. Отдохнуть надо.

— Так а ложки?

— А ложки я из села привезла. Потом, в сорок девятом. Чтобы родину помнить. И людей... Да, такую я жизнь прожила. И живу.

14

Через неделю после нашего разговора о березовых ложках баба Феня скончалась. «Во сне, как святая, не мучаясь», — сказала мама. И расплакалась.

Баба Феня умерла ночью. И мама, рано ушедшая на работу, не стала ее будить, казалось, спящую. Потом, правда, она не раз вспоминала, что тем утром насторожилась: почему баба Феня до сих пор спит, может, случилось что? Но о смерти мама, конечно, не думала. Да и кто бы подумал?

Потому первым встречать смерть довелось мне. Я собирался в школу, намыливал уши, чистил зубы, но, войдя в комнату сказать «до свидания», увидел мертвую бабу Феню, оцепенел. Она лежала на пыльной перине, словно загодя сложив крестом на груди руки. Лицо ее было покойно, чисто, даже морщины, казалось, разгладились. Кротость ее, спокойствие гипнотизировали. Все суетное, волнительное испарилось, исчезло, и баба Феня предстала такой, какой задумывалась — выстоявшая перед жизнью, смиренная, но непоколебимая, она уходила достойно.

Я позвонил маме, и она тут же примчалась домой, отпросившись с работы. Новое потрясение состарило, взломало ее. В первые минуты, когда она увидела бабу Феню, ее пробил озноб, она разрыдалась.

Но в комнате не оказалось никого, кто мог бы помочь ей, не на кого было положиться. Лишь в углу топтался испуганный, потерянный я. Хотя, возможно, именно мой испуг заставил маму собраться, действовать — материнский инстинкт: защитить сына от неприятностей.

Она вышла в кухню, нагрела воду, обмыла труп. Передела. Закрыла глаза, связала ноги — так полагалось. Накинула простыни на зеркала в доме. Переложила тело бабы Фени на скамью в центре зала, зажгла восковые свечи, окропила дом святой водой. Все это мама проделала с обморочно-похоронным лицом, но руки и плечи ее не дрожали — похоже, она контролировала себя. И покой, растекшись по дому, застыл, будто студень; лишь на дворе, гремя миской и звеня цепью, внадрыв лаяла кудлатая псина.

После я остался в комнате один на один с мертвым телом. Мама ушла: сообщить о смерти соседям, заказать крест, купить гроб, договориться о том, чтобы выкопали могилу. Я же сидел, всматривался в ровное лицо бабы Фени и вспоминал, что в родном городе, впервые увидев труп с выпученными, будто налитыми свин-

цом глазами — на улице Ленина, после бомбежек, — чудовищно, до онемения пальцев испугался, но тут, когда ушла мама, страх скукожился, испарился; осталось лишь упертое желание понять, расшифровать смерть, а вместе с ним и самого человека. Накатила родственная ноющая тоска, и шепотом, едва-едва, осторожничая, я произнес: «Ба-буш-ка». И еще раз, добавив с нажимом: «Ба-буш-ка Фе-ня».

Меня вдруг согрела мягкость этого имени, нежность его звучания. Имя пахло, как свежий хлеб, как новогодние мандарины — я успокаивался и согревался им. «Бабушка Феня, бабушка Феня», — зашептал я, сползая с кресла на пол, подвигаясь ближе к лежащему телу, заключая холодную руку в свою, теплую.

Мы хоронили бабушку Феню на следующий день, в среду. А вечером вторника мама отправила меня на кладбище — отнести закуски и выпивки рывшим могилу. Собрала черного хлеба, прикопченного сала, квашеных огурцов. Дала литровую банку яблочной самогонки, которую гнал наш сосед — кривой, вечно взволнованный дед Егор.

Когда я пришел на кладбище, мужики еще не докопали. Двое сидело в яме, третий — на соседней оградке. Все курили и пахли так, будто только что растерлись спиртовой настойкой золотого уса. У бабы Фени имелась такая — болотно-ржавая, с разбухшими листьями на дне банки, — она натиралась ею от болей в суставах. Мужики были хмельны, но они всегда, наверное, были хмельны. В них меня смутило другое — хамовато-надменное отношение к горю.

— Здравствуйте, — приветствовал я.

— Здорово, — откликнулись они.

— Перекусить вам принес.

— О, это не помешает.

— Но яму бы докопать надо.

— Это ты не волнуйся — будет...

Они поглядывали на меня исподлобья, открывая беззубые рты. Молодые ребята, но уже состарившиеся, готовые умирать. У одного, того, кто сидел на оградке, на шее вздулась огромная красная шишка, покрытая белесой шелушащейся коркой; я старался не смотреть на нее, но жуть, как это бывает, притягивала.

Тогда, на недокопанной могиле, я вдруг ощутил новое чувство — чувство личной ответственности за происходящее. Я сообразил, что если сейчас отдам этим живым мертвецам самогонку, то они раздавят ее прямо тут, закусив черным хлебом, сосав прикопченное сало, а дальше расслабятся, бросят копать. И могилы для бабушки Фени завтра не будет. Так я подумал, напрягся и выказал свои опасения, на миг явив раздражение, крик, а они слушали, соглашались и обещали, что все будет кончено в срок и в должном виде. Обещать им ничего не стоило, обещания они раздавали, как промоутеры флаера, но это, данное мне, они сдержали.

И когда я вернулся домой, то, глядя на суетящуюся, навалидоленную мать, понял, что отныне должен стать ее защитником, ее героем — таким, каким своим настойчивым кряхтением и добродушным поругиванием меня научала быть бабушка Феня. Оттого на похоронах я старался успеть везде. На кладбище в основном собрались старухи, и периодически кому-то из них становилось плохо: они охали, ахали, падали, а я подносил воду, нашатырь, валидол — и старухи держались, едва-едва, стоя у гроба через, казалось, давно ушедшую силу; кто-то плакал, мама рыдала, но больше всего людей молилось.

Из-за беготни я не вникал, не задумывался о происходящем. И только когда гроб уже почти закидали бурой землей, я остановился, замер, прикрыв глаза. В деталях, как прописанное мастером, я представил лицо бабушки Фени: ее чуть скособоченный нос, маленькие глаза цвета старых латунных пуговиц, беззубый рот, седые

волоски вокруг рта — и это лицо, в сущности своей некрасивое, мне показалось родным, возвышенным, точно икона.

Купаясь в его свете, я вспомнил о березовых ложках. Одна из них, целая, лежала в кармане. Я достал ее на бледный солнечный свет, всмотрелся, вдумался, ища ответ — какая сила заключалась в ней и почему это было столь важно. На миг показалось, что я услышал голоса десятков людей, говоривших со мной о пережитых страданиях: они являли мне их без жалости и уныния — только крепость и сила, только счастье оттого, что они живы и могут дарить жизнь другим, были в них. И когда голоса смолкли, прощаясь шелестом березовых листьев, я быстро кинул ложку в могилу, и ее тут же забросали бурой землей. Три старухи, заметив мое движение, удивленно обернулись, но я лишь кивнул им, не без достоинства, и они, согласившись, кивнули в ответ.

15

В доме пахнет полынью и одиночеством. Мы возвращаемся с похорон, после скромных поминок, заказанных в скромном сельском кафе: пирожки, суп, котлеты, пюре, немного салатов, принесенная с собой яблочная самогонка. Мама тут же ложится спать, а я иду в кухню.

Открываю ящик стола, нахожу оставшуюся березовую ложку. Она лежит между упаковками мезима и эринита, перемотанная бледным скотчем. Отдираю его, оставляя на дереве темные следы. Пыль пробралась под скотч, сделала свое дело. Я вытираю ее тряпкой, намоченной в воде с нашатырным спиртом. Отчасти это мне удастся. Тогда я кладу ложку на кухонный стол, застеленный клетчатой бело-синей клеенкой. Сажу, смотрю, прислушиваюсь, но голосов, как тогда, на кладбище, нет. Ложка молчит, сердце ее — в тишине.

Иду в чулан, разделенный на две части: одна, большая, отдана под соленья, варенья, другая — под хозяйственные предметы. Между ними — фанерная перегородка. Нахожу клей в маленьком желтом тюбике. Беру его и еще наждачную бумагу, кисточку, возвращаюсь в кухню.

Ложка — по-прежнему на столе. Лежит покойная, нетронутая, чинно-молчаливая. Разломанная на две половины. Там, где дерево треснуло, я обрабатываю его наждачной бумагой, дабы отшлифовать, убрать все лишнее. Затем промазываю края клеем и делаю то, что должен был сделать сразу после того, как сломал ложку, — скрепляю ее, с силой прижимая две части друг к другу. Не ослабляю, держу хватку; держать надо будет долго, потому что поверхность склеивания маленькая — как следует не прижмешь. Надо давить, надо ждать, когда склеится. И главное — надо верить, что склеится.

Одна ложка — в могиле у бабушки Фени, другая осталась у меня. И я хочу ее сохранить как оберег и как память. Потому что нет ничего важнее памяти. Без нее мир рвется на куски, растрачивается попусту. Память есть Родина, и она питает, спасает нас.

Я разжимаю хватку — ложка остается целой. Теперь она есть одно. Осторожно беру ее и несу в комнату. Поближе к себе.

Ложка вновь говорит, ложка вновь утешает. И отныне так будет всегда. Я не знаю, останемся ли мы здесь, в крымском селе, или поедem домой, в родной город, или куда-то еще, — но в любом случае теперь у меня есть новый голос, новое утешение, есть родина березовых ложек.

Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД

ГОГОЛЬ И РОССИЯ

ДАВНЕЕ (ВМЕСТО ЭПИГРАФА)

Рухнула и — бездыханна. На повороте — в кювет.
В пропасть, во мрак. Да жива ли ты? Дай ответ.
Не дает ответа. Вырваны языки ее колоколен.
Крылья обвисли. Скорбен и безглаголен
Ангел с вороньим клювом, застывший поодаль, в вереске.
Повозка и скарб драгоценный — все разлетелось вдребезги...

Гоголь, поэт и монах, разогнавший назойливых муз,
Монастыря не обретший и к жизни утративший вкус,
В бронзовом кресле сидит, не слыша московского шума,
Весь — немота и смиренье, и на челе его дума —
Грузной вороной с рисунка пером Добужинского:
Неугасим ореол наваждения сатанинского.

Чудится мне: перед креслом пылает камин,
Опустошенной душе ничего нет милее равнин,
Снегом покрытых, и бесконечной дороги...
Слышу, как полночь кукует... Кончено: смерть на пороге.
Вижу, как он превращает, обряд совершая таинственный,
В пепел свой горестный свиток, и вспышки, как отсветы истины —

Той, что, измаяв дотла, наложила запрет
На преломленье в словах — его оживляет портрет
В черном металле. И — Боже мой! — как неуместны
Речи, москвичка, твои! как неколебимо отвесны!
Век наш, должно быть, объят мороком летаргическим,
Что не развеять никак тонким свечам литургическим...

Борис Елизарович Лихтенфельд родился в 1950 году в Ленинграде. Окончил ЛЭИС им. Бонч-Бруевича. Публиковался в самиздате (журналы «Часы», «Обводный канал», «Транспонанс»), в журналах «Звезда», «Нева», «Арион», «Волга», «Дети Ра», «Зинзивер», «Крещатик», «Слово/Word», «Плавучий мост», «Семь искусств», в венском славистическом альманахе «Гумилевские чтения» (1982), в антологиях «Лучшие стихи 2010 года», «Лучшие стихи 2012 года. Собрание сочинений» (т. 4). Автор книг «Путешествие из Петербурга в Москву в изложении Бориса Лихтенфельда» (серия «Поэтическая лестница». СПб.: Изд-во Виктора Немтинова, 2000), «Метазой» («Юлукка», 2011). Живет в Санкт-Петербурге.

Вот, — указывает москвичка мне, — тот особняк,
Где умирал он для мира, где дух его мощный иссяк...
Век наш, должно быть, взлелеян неистовым Виссарионом.
Впрочем, и тот уж с небес оком глядит умудренным
На миргородскую новь окаянно-печальную,
В тройке крылатой узнав Троицу Живоначальную.

Чудится мне: перед бронзовым креслом черта,
Что преступить он собрался, или, вернее, врата
В образе прежнем — камина, что вот уж не жар излучает —
Холод могильный, и кто-то оттуда встречает
Душу его полегчавшую, тень, мимо нас шелестящую,
К новой отчизне дорогу молитвой о бывшей мостящую...

ДВА СЮЖЕТА

Поляки ли — подручные Европы —
Московию ослабить норовят,
или грозят Египту эфиопы,
но Радамес идет наперехват —

не впустят католическую ересь
в Святую Русь лихие козаки,
и жениха ревнивая Амнерис
погубит, изнывая от тоски.

Андрей, влюбленный в дочку воеводы,
блокадницу от голода спасет.
Навстречу смерти под глухие своды
любовь свою Аида пронесет.

Тарас неколебим. Воздеты длани
жрецов Изиды: приговор суров.
Изменники не ищут оправданий,
но жалость наша всем дает покров!

В НАЗИДАНИЕ ЮНОШЕСТВУ

И куда ж привело майора его несусветное горе?
Прошмыгнула утрата злосчастная между колоннами.
Он — за нею. И вот уж в Казанском соборе
отвлекает ее от усердной молитвы с поклонами.
Как же можно? Оно, конечно, тогда новодел
и к тому же базилику напоминает римскую.
Разговор хоть и с важной персоной, но как бы, взвинтая, не задел
чьи-то тонкие чувства, настроенные на Херувимскую!

Ну а если вспомнить, что здесь покоится русская слава, то совсем уж нехорошо... Впрочем, фабуле перенос места действия не помешает: состав словесного сплава допускает любую замену — как и этот сон, этот нос, что в музее недавнем вполне бы мог в экспозиции получить эксклюзивную роль, а она бы его страховала от кошмаров пыточной камеры инквизиции (по соседству уместен отдел скоморошества и карнавала). Заспиртованный в колбе или просто муляж, хорошо бы смотрелся объект этот амбивалентный, то плюмажем красуясь, то — что за пошлая блажь! — незаслуженной орденской лентой.

ЗАТВОРНИЦА

И куда ж, Бладобрей, ты окно прорубал,
подчинив чернь и свиту своей паранойе?
Продолжается твой ассамблеющий бал:
пляшут красная свитка и рыло свиное.

Враг из малой России в столицу большой
(чересчур!) отнесет и назад столь же швыдко,
но не сладит с трофейною русской душой —
что ей рыло свиное и красная свитка?

Вырывается из отвратительных рук,
вновь забила в закут — и на черта окно ей!
Отдышалась едва, огляделась вокруг:
те же красная свитка и рыло свиное!

Ей вселенская ярмарка хуже ярма,
благодворен затвор — никакого убытка!
Без пустошных обид, без хлопот задарма,
даром — рыло свиное и красная свитка!

ХРЕСТОМАТИЙНЫЙ ДИАГНОЗ

Взять наших классиков — сплошь русофобская круть!
(Или консилиум возле постели больного?):
и Карамзин ведь... и гОгОль (очки дальнозоркие) —
вот: «когда черт и москаль украдут что-нибудь,
то поминай как и звали...» Наверное, снова
проворовались — давно Щедриным эта оргия
объяснена... Не успеешь и глазом моргнуть,
как, уловив надлежащий настрой с полуслова,
ринутся в бой кавалеры Святого Георгия!

«ИГРОКИ»

Трагедия нашей жизни со всех сторон
и снизу доверху... *Этак Россия вся
должна застрелиться!*.. Но снова, казну тряся,
крапленные лица тасует наш лохотрон...
Несчастливая жертва с рванувшей ва-банк душой
и шулер-бенефициант готовы к большой
игре под призывно-призрачный звон монет.
В ней — высшие тайны, а лицепрятья нет.
Бродячая трупца. Какие-то векселя.
Фиаско. Простор отчаянью и тоске...
Такая уж надувательская земля —
египет финансовых пирамид на песке!

ГИПОТЕЗА ЗЕМЛЯНИКИ

Вероятно, Россия хочет вести войну,
а начальство хочет узнать, нет ли где измены.
У кого не найдется грешок, чтоб вменить в вину
да к стене припереть: не шпион ли иноплеменный?
Не отстанут инкогнито эти, хоть бей себя в грудь,
хоть к монаршим стопам припадай: «Ох, попутала нечисть!»
«На врага работаешь», — скажут и чем найдут припугнуть.
(Самого бы автора, кстати, за такую комедию в Нерчинск!)

БРАНЬ ГОРОДНИЧЕГО

«у! шелкоперы! либералы проклятые! чертово семя!» —
не затихают раскаты обиды, поднесь рассыпаются всеми
так и не сбывшимися мечтами... Не удалось
жизнь обустроить, как было обещано... Горечь и злость
выхода требуют, а если нет выхода — взрыва...
Стоит зажмуриться: тройка летит в никуда, златогрива,
по бездорожью российскому, искрами из-под копыт
бисер заоблачный мечет, злосчастную землю кропит...

ЧИЧИКОВ

Приятный наклон головы
дает направление мыслям
не слишком приятным, увы:
что время уходит и мы с ним,

что вот уже в зеркало глянь —
и в просверке грустной догадки,
сам, дрянью наполненный всклянью,
увидишь, какой же стал гадкий...
Вон рожа кривая, а вон
России дальнейшие виды,
но это — лишь призрачный фон,
и нет на удел свой обиды.
Герой только руки потрет
и жизнь подытожит на пальцах,
чтоб, как записной патриот,
сидеть на своих капиталцах.
Все сбудется, как предрекал
измученный автор — недаром
наставил повсюду зеркал
в поддержку слабеющим чарам.
В его галерее тоски
мы, как в лабиринте, застряли —
и смотрят на нас двойники,
как мертвые души в астрале.

КАПИТАН КОПЕЙКИН

Шехерезада и Семирамида,
чертоги пышные на берегах Невы,
зачем вы русского пленили инвалида?
в леса рязанские зачем загнали вы?
чтобы прекрасного урод не портил вида?
чтобы надежд напрасных не питал?
Беречь Копейкина — он был отважный воин —
твой долг, Империя! — чтоб не нанес пробоин
тебе ж! иль твой расходный капитал
и отблеска твоей победы недостоин?

РУССКАЯ АПОФАТИКА

Насмешка над человеком — над воплощенной ложью,
над уплощенным, пошлым его мирком,
над чертиком в бричке, катящейся по бездорожью,
и над собой, конечно, — чтоб каждому, умер в ком
божественный дух, достался во славу Божью
из будничной грязи слепленный на смех ком...

Выйти из-за кулис — как выйти из всех приличий:
от вкрадчивых искушений, допустим, шмыгнуть в окно.
Любовь и страшит, и тешит, язык обретая птичий:
наши-то смыслы, кажется, стерлись давным-давно.

Перед вторым пришествием немеет и городничий...
В общем, кому-то страшно, а кому-то смешно.

В сущности, страх и смех — соперники-единоборцы:
разнообразных приемов у каждого свой арсенал.
У каждого свой оскал, а в игре искаженных пропорций
глаза велики у первого, второй же мал, да удал.
Славно у нас расцвел экстремальный спорт сей!
Наш самый страшный писатель умел смешить наповал!

Этот космический смех, как подвиг юродства, горек,
а зрителю подавай побольше пустых потех.
На то и актер сгодится — Прохоров алкоголик.
Один только автор хмур, несмотря на шумный успех:
скорей бы уж за границу!.. А царь смеется до колик:
всем, говорит, досталось, а мне, говорит, больше всех! —

подарок вручает, помимо двух с половиной тысяч...
А что же Россия? Генералиссимуса вдова
снова сама себя умудрилась высечь.
Общественные пороки сложены, как дрова,
но искорки добродетели не удастся высечь.
Тело дрожит от холода, а душа — как будто мертва.

Мертва для этого мира... Силы почти иссякли,
а все еще хорохорится, будто наоборот...
Не хочет сходить со сцены, старается — так ли, сяк ли —
заговорить, отвадить стоящую у ворот...
Но медленно опускается занавес в этом спектакле,
и шутнику-малороссу галушки не лезут в рот.

ПРОСТАЯ СХЕМА

Провинция, столица, заграница —
центростремительная целеустремленность.
Сознания больного искривленность
нигде побегу не дает укорениться.

Плоды блужданий бесконечных пожиная,
что толку вспоминать, куда упали зерна?
Нигде нет центра. Всюду окружная
дорога. Цель же — изначально иллюзорна.

Цель — это замысел, намеченный с порога,
разросшийся, как этот путь фантомный:
до эпопеи пусть и не дорос трехтомной —
впрок перепахана колесами дорога.

...Был этот селезень измлада непоседлив,
невыездному Пушкину — антоним,
и на вопрос его «Куда ж нам плыть?», помедлив,
ответил косвенно, что все равно потонем

в безбрежной хляби пошлости житейской.
Чем гуще околесица, тем краше
размытые черты России грустной нашей —
и нет ущерба ей от клеветы злодейской!

ГЛЯДЯ ИЗ РИМА

Невзлюбил, похоже, гранитные берега,
не влекли под веслом шуршащие камыши...
Но Италия столь была ему дорога,
что уже называл ее родиною души.
Словно в грезы юности путник из снежных стран
вновь забрел — и воочью предстала как рай земной,
где веснует любовь роскошная и зимой,
а на каждом углу — духовных яств ресторан.

Отогрелся синьор Никола, воспрял, расцвел,
у княгини Волконской на вилле — желанный гость:
волновал, вероятно, обоих Святой Престол,
кардиналов пурпурных манила спелая гроздь...
Что ж, по вкусу пришлись плоды с обеих ветвей:
слушал мессу в соборе Петра как большой концерт,
а вдали, впереди аскетический ждал десерт —
мудрость оптинских старцев, суровый отец Матвей.

Тут уж не до потех. Карнавал фантомов изжит.
Проступила реальность, потребовав новых средств.
Недовольна публика, возмущена, визжит —
не насытилась, что ли, картинами непотребств?
Есть простые рецепты: исполнить смиренно долг
перед родиной нашей небесной, на внятный зов
устремить к ней сердце, в общем, начать с азов, —
назидал и вдруг, в ожидании чуда, смолк...

Лик России чар колдовских еще не терял:
в червоточинах весь, чертовщина сплошь, но живой.
Коли строишь из грез, не пенять же на матерьял,
превращающий нежную боль в носорожий вой!
До театра абсурда отсюда рукой подать.
В декларациях, как в декорациях — гниль прорех...
Духовидцы учат, что воображенье — грех,
и срывают маски, чтоб излилась благодать.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

России ужасы и страхи
египетской мучительнее тьмы.
Из той смирительной, смертельной той рубахи,
как из шинели, вышли мы.

Не вышли — вырвались и, разорвав, латаем,
пытаемся соединить
в сознании больном Испанию с Китаем,
но смысловую все теряем нить.

Чураясь европейского разброда,
все переписываем наставленья те:
что благородна русская порода —
Бог видит! — даже и в плуте,

что, раздуваясь от гордыни, глухи
к души чувствительным струнам,
что от заслуженной публичной оплеухи,
быть может, польза будет нам,

что просвещеньем изгнанная злоба
вновь проникает в мир дорогою ума,
как сквозь протертости худого гардероба
неотразимая зима,

что испытания нам были лучшей школой —
то Апокалипсис у нас, то Домострой, —
изнурены не то хандрой тяжелой,
не то какой-то мартобрей.

Всё растолковано любимым обскурантом,
все ампула — у нас внутри:
великий инквизитор и тиран там,
еретики и бунтари...

А почерк уж не тот, и нюх собачий,
похоже, притупился... Что-то там
не так... Неужто дух, томимый сверхзадачей,
не исцелить Святым Местам?

На голову не надо только капать
водой холодною! Такая жуть кругом,
что и расхлябанный, невинный русский лапоть
испанским пахнет сапогом!

Так нам и жить, Акакию акафист
многострадальному так нам и петь в плену
у гоголевской матрицы, покамест
земля не сядет на луну!

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Облитые горячими слезами,
уже огнем охвачены тетради.
Весь растворен в молитвенном бальзаме,
сгорает сам художник Бога ради.
Скиталец, сумасброд, самосожженец —
каких он не выкидывал коленец,
пока Москва — холодная могила —
дух беспокойный не угомонила.

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА

Ничего, увы, никем не понято:
вывернуты даром потроха
неисповедимого инкогнито...
О, как ночь московская тиха!
Небо — как земля. Пора бы месяцу
выйти сеять звездную пыльцу...
«Лестницу, подай скорее лестницу!» —
и Господь подал, как праотцу...

В ЗАГРОБНОМ ВЕЛИЧИИ

Что немцу мистика, то русскому проект
внедренья истины во все слои, во всякий
сегмент общественный... Ворчат славянофилы,
во гневе западники — для обеих сект
непостижим, как Вий или Акакий
Акакиевич, вставший из могилы.

Открылось: вот от всех напастей щит! —
и, очарован всласть Фомой Кемпийским,
в монастыре души оцепенел до смерти,
чтоб сон свой вечный, чуть Россия затрещит,
прервать, когда Фома Фомич Опискин
в мир явится — и врассыпную черти.

Осмеянный насмешник от стыда ль
в гробу перевернется, компромисс ли
найдут когда-нибудь шлафрок и власяница —
все ж легкомысленный писатель зорко вдаль
глядел, зернистые разбрасывая мысли:
собрать их в кучу — все и объяснится!

ТАКАЯ ОПТИКА

Чем для него была Россия? Призмой
хрустальной, сквозь которую душа
ловила проблеск истины капризной,
миазмами реальности дыша.
Мгла уплотнялась, но так резво *нечто*
играло перед взором, так влекло,
что вожденный проблеск бесконечно
магическое множило стекло.
То юной ведьмой, то безумным персом —
то перед зоной фокуса, то за —
как будто сам размытый универсум
живые встреч выпучивал глаза.

Елена ЗИНОВЬЕВА

О НАСЛЕДОВАНИИ ИДЕЙ

Исторические труды Карамзина всегда воспринимались неоднозначно, мнения о них сильно расходились еще при его жизни. В правых кругах деятельность Карамзина оценивалась как потрясение не только литературных, но и политических основ; для революционеров и либералов Карамзин, напротив, являлся одним из столпов и символов самодержавия, на которое они обрушивали весь свой праведный пыл.

Одни, как, например, А. Пушкин и П. Вяземский, видели в нем гражданина, заботившегося прежде всего о благе отечества, другие, как попечитель московского учебного округа Голенищев-Кутузов, славший доносы министру просвещения Разумовскому и царю на историографа-«французского шпиона», считали вслед за попечителем, что историограф разливает в своих сочинениях «вольнодумческий и яacobинский яд» и явно проповедует безбожие и безначалие.

Позже, уже в 40-е годы XIX века, В. Белинский, проанализировав литературное наследие Карамзина, счел, что его творения «могут теперь составлять только более или менее любопытный предмет изучения в истории русского языка, русской литературы, русской общественности, но уже нисколько не имеют для настоящего времени интереса». Но «гражданский подвиг Карамзина» в деле воспитания российских граждан критик отметил: создание русской публики, читавшей именно русские, а не французские книги, умение передать свои мысли с целью просвещения русского общества, вклад в преобразование русского языка. И очень высоко оценил роль «Истории государства Российского» в формировании патриотизма русских граждан: «без Карамзина русские не знали бы истории своего отечества».

Огромное влияние Карамзина на сердца и умы современников отметил и русский филолог Я. Грот: «Предметы, особенно обращавшие на себя внимание Карамзина, были: воспитание юношества и вообще просвещение русского народа, возвышение национальной гордости, пробуждение самостоятельности в общественной жизни». «Он не только усиливал в них любовь к чтению, не только распространял литературное и историческое образование; но также возбуждал в массе читателей религиозное и нравственное чувство, утверждал в них благородный и честный образ мыслей; воспламенял патриотизм»

Официальная советская историография приняла концепцию А. Пыпина: Карамзин — консерватор, бесчеловечно угнетавший крестьян.

Вся разноголосица мнений широко представлена в книге «Н. М. Карамзин: pro et contra», вышедшей в 2006 году. Здесь можно найти оценки русских дореволюцион-

Елена Павловна Зиновьева родилась в Ленинграде. Окончила Институт культуры им. Н. К. Крупской. С 2003 года публикуется в журнале «Нева», автор книги «История России. Взгляд из XXI века» (2011), литературно-критических статей в московских периодических изданиях. Живет в Санкт-Петербурге.

ных критиков и историков литературы, оценки высокие и уничижающие, восторженные и пренебрежительные, благоговейные и взвешенные. Представлен и весь XX век: от издевок в лекциях историков-марксистов до уважительных, полных преклонения перед мыслителем исследований выдающихся ученых, филологов и историков. Среди помещенных в книге работ немало таких, которые не переиздавались около двухсот лет, с момента своего выхода в свет.

Сегодня о значении и смыслах исторических трудов великого деятеля русской истории и литературы спорят ученые, историки, философы, публицисты, блогеры. И по сей день Карамзин выступает объектом новых, неожиданных прочтений и интерпретаций.

Можно выделить несколько болевых точек.

Одна из них — достоверность изображаемого историком. Вот цитата с одного из интернетовских сайтов: «Вспомним скрепя сердце о мнимом столкновении Грозного с митрополитом Филиппом, которое сочинитель описывает следующим образом: В разгар казни входит царь в Успенский собор. Его встречает митрополит, полный решимости по долгу сана своего печаловаться, заступаться за обреченных на казнь. „Молчи, — прерывает его Грозный, едва сдерживая гнев, — одно тебе говорю, молчи, отец святой, молчи и благослови нас“. — „Наше молчание, — отвечивал владыка, — грех на душу твою налагает и смерть наносит“. — „Ближние мои, — прерывает Филиппа Грозный, — стали на меня, ищут мне зла. Какое тебе дело до наших царских предначертаний?“ Удивительная детализация разговора! Не правда ли? Где автор мог почерпнуть такие подробности? Что-то я не припомню, чтобы Царь и святитель оставили по себе мемуары. Сколько картинности, сколько сильных эмоций в этом диалоге! Чем не эпизод для остросюжетного фильма? Особенно умиляет выражение „едва сдерживая гнев“. Складывается впечатление, что сочинитель не только обладал чудесной машиной времени, сделавшей его свидетелем означенной встречи, но и был выдающимся телепатическим экстрасенсом, способным определять степень гнева исторического персонажа...»

Но сам Карамзин не скрывал наличия вымысла, «художественной» составляющей своего труда. Писатель не собирался стать историком-исследователем. Он хотел приложить свой литературный талант к готовому материалу: «выбрать, одушевить, раскрасить», чтобы сделать из русской истории «нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и иностранцев». В предисловии к «Истории...» он пишет: «И вымыслы нравятся. Но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина». И в то же время при работе над «Историей...» писатель исповедовал принцип следования правде истории, как он ее понимает, пусть она иногда и горька. «История не роман, а мир не сад, где все должно быть приятно. Она изображает действительный мир».

«История государства Российского» стала отправным пунктом для многих историков XIX века и в отношении теоретических представлений, и как богатейшая источниковедческая база. Если бы в томах отсутствовали примечания, дающие достоверное представление об эпизодах и корректирующие авторский текст, то читатель был бы вправе считать автора сочинителем небылиц. Но Карамзин, давая читателю в «Примечаниях» увидеть подлинное отражение событий в источниках, в самом тексте «Истории» превращает неудобочитаемый текст в захватывающее воображение чтение. С самого начала каждый том делится на две половины: в первой — живой рассказ, «одушевленный и раскрашенный», во второй — сотни примечаний, ссылок на летописи, латинские, шведские, немецкие источники. Небогатые критическими указаниями, «Примечания» содержали множество выписок из рукописей, большей частью впервые опубликованных Карамзиным.

Современных критиков Карамзина особенно волнуют «клеветнические выпады» историка в адрес Иоанна Васильевича, царя Грозного. Да, при изложении событий царствования Ивана IV Карамзин отдавал предпочтение сочинениям Курбского. В том числе заимствовал у него версию о делении царствования Ивана IV: мудрое правление под влиянием Сильвестра и Адашева до 1560 года как время наивысших успехов во внутренней и внешней политике страны, образцовое сотрудничество царя с боярами и внезапное перерождение царя в кровожадного тирана и душегуба. Эту концепцию восприняли дворянские и клерикальные историки XIX века. Но сам Карамзин, обнаружив документы, противоречащие концепции Курбского, изображая дела далеких лет, крайне осторожно подходил к данным источника и никаких обобщений, основанных лишь на нем, не делал. Оценка деятельности Ивана IV у Карамзина двойственная: он все же считал его инициатором важнейших государственных начинаний того времени. В наше время Ивана Грозного можно считать реабилитированным: с цифрами в руках доказано, что на фоне своих собратьев — западноевропейских правителей — он был самым гуманным. По разным подсчетам, жертвами периода опричнины, «пожара лютости», пылавшего в Московском государстве семь лет, стали от пяти до семи тысяч человек, за годы правления современницы Ивана Грозного, Елизаветы, в Англии было казнено 89 тысяч человек, больше, чем всей католической инквизицией за столетия. Во время знаменитой Варфоломеевской ночи в Париже было убито около двух тысяч гугенотов, дворян и офицеров, за несколько дней по всей Франции жертвами резни пали 30 тысяч человек. Карамзин эти цифры не сопоставлял.

Современные ниспровергатели авторитетов вослед Голенищеву-Кутузову увидели, что «в карамзинском труде, как в прогоревшем костре, под монархическим пеплом таился огонь свобод республиканских». Не случайно же «зараженные демоническим желанием крови и мучительства» будущие декабристы зачитывались девятым, посвященным Грозному, томом «Истории...». В сочинении «распоясавшегося якобинца» декабристы увидели небывалый в России феномен: один из великих царей открыто показан тираном, каких мало представляет история. И поспешили использовать это сочинение в своих агитационных целях.

Естественно, в такой интерпретации Карамзин предстает тайным участником мировой закулисы, затаившимся масоном, направившим свои силы на подрыв самодержавия путем компрометации правителей России, скрытым русофобом.

Неплохо бы послушать и суждения самого Карамзина и его современников.

К примеру, повесть «Наталья, боярская дочь» (1792) «русофоб» Карамзин начал вопросом: «Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу?» В письме к А. И. Тургеневу заявлял: «Для нас, русских с душою, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует, все иное есть только отношение к ней, мысль, привидение. Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России, или нет гражданина, нет человека, есть только двуножное животное».

П. Вяземский назвал Карамзина вторым Кутузовым, «спасшим Россию от забвения». «Воскрешением русского народа» назовет «Историю...» В. Жуковский. Сохранились воспоминания, что, захлопнув восьмой, последний том «Истории государства Российского», Федор Толстой по прозвищу Американец воскликнул: «Оказывается, у меня есть Отечество!» Н. Страхов, произнося речь в память о Карамзине, пламенно возглашал: «Русский, русский до мозга костей! Какова сила, каково притяжение русской жизни! Какая способность взять у Запада много, очень много — и не отдать ему ничего заветного!»

Карамзин не стремился, чтобы его книга стала источником вредных мыслей. Он хотел говорить правду. Но правда, им написанная, оказалась «вредной» для самодержавия.

Декабрьский мятеж 1825 года стал для историка трагедией. В мятеже участвовало много хороших знакомых, друзей: братья Муравьевы, Николай Тургенев. Бестужев, Кюхельбекер (он переводил «Историю...» на немецкий). Карамзин наблюдал за происходящим на Сенатской площади («Видел ужасные лица, слышал ужасные слова, камней пять-шесть упало к моим ногам»); не один час провел с императрицей и Аракчеевым в Зимнем дворце.

Спустя несколько дней о декабристах он скажет так: «Заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века».

После восстания Карамзин заболевает — простудился 14 декабря, но еще сильнее сказало потрясение случившимся. Писать Карамзин больше не мог. Последнее, что успел сделать, — вместе с Жуковским уговорил царя вернуть из ссылки Пушкина.

22 мая 1826 года Николай Михайлович Карамзин умер.

* * *

А что касается масонства Карамзина, входившего в юности в кружок Новикова, просветителя и масона, издателя журналов, писателя, «типографщика», то большинство серьезных исследователей полагают, что к масонству Карамзин охладел еще в 1788 году.

Адресованную Александру I «Записку о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» он составлял уже зрелым человеком, пережившим серьезный идейный кризис. Его взгляды сформировались под влиянием событий, свидетелем которых он был, и в результате серьезного изучения опыта российской и мировой истории.

Николай Михайлович Карамзин родился 1 декабря 1766 года в Симбирской губернии в имении отца, помещика средней руки, там же прошло и его детство. Воспитание его продолжилось в частном пансионе Фовеля в Симбирске, затем, в 1775-м мальчик был привезен в Москву и отдан в пансион московского профессора Шадена, где выучил французский и немецкий языки, постигал английский, латынь и греческий. Наилучшей формой государственного устройства его наставник почитал монархию с сильным дворянством, добродетельным, жертвенным, образованным, ставящим во главу угла общественную пользу. В семье видел хранительницу нравственности и источник образования, в котором ведущее место отводилось религии, началу мудрости. Естественно, подобные взгляды влияли на юного ученика. Посещал Карамзин и лекции в Московском университете, где можно было тогда постичь «если не науки, то русскую грамоту».

В 1782 году юноша переехал в Петербург — отбывать военную службу в Преображенском полку, куда его записали еще малолетним. Тогда же он начинает свою литературную деятельность: выходит его первое печатное произведение — перевод с немецкого языка идиллии С. Геснера «Деревянная нога».

По смерти отца в 1784 году Карамзин подал в отставку, вернулся в Симбирск, увлекся светскими успехами в провинциальном обществе и, следуя моде и своим духовным потребностям, вступил в масонскую ложу «Золотого венца».

В конце того же года он возвращается в Москву и через посредство земляка И. П. Тургенева сближается с Н. Новиковым и московскими масонами из его окружения. Масонство притягивало своей просветительской и благотворительной дея-

тельностью, но отталкивало мистической стороной: умственному складу Карамзина оказались чужды и мистицизм, и метафизика. Но идеями французского «Просвещения», «энциклопедистов», Монтескье, Вольтера юный Карамзин увлечен, его привлекают исторические занятия, литературная деятельность. Он участвует в различных периодических изданиях, публикует собственные сочинения и переводы, работает как редактор.

«Роман» с масонами продолжался четыре года, с 1785-го по 1788-й. В 1789 году молодой литератор отправляется в заграничное путешествие, одним из побудительных мотивов принято считать разрыв Карамзина с масонами. Уважая людей, искренне делавших добро людям и занимавшихся нравственным усовершенствованием, он решительно не принимал «нелепой обрядности» масонской ложи. Карамзин предупредил московских друзей, что «принимать далее участие в их собраниях» не будет. Ответ их, вспоминал позже Карамзин, «был благосклонный: сожалели, но не удерживали, а на прощание дали мне обед».

Но существует и мнение, что разрыв был мнимый, так как русский путешественник посетил за границей видных европейских масонов: Гердера, Виланда, Лафатера, Гёте, Сен-Мартена. В Лондоне с рекомендательными письмами был принят влиятельным масоном, русским послом С. Р. Воронцовым. И эти встречи любознательного юнца с кумирами своей юности — единственное, что можно инкриминировать «злостному масону».

Заграничное путешествие длилось восемнадцать месяцев, с мая 1789-го по сентябрь 1790-го. Карамзин побывал в Германии, Швейцарии, в охваченной революцией Франции, в Англии. Свои впечатления он изложил в знаменитых «Письмах русского путешественника»: в течение 1791—1792 годов они публиковались из номера в номер в «Московском журнале», который издавал Карамзин, полностью «Письма...» увидели свет в 1801 году.

* * *

Естественно, при публикации «Писем...» работала самоцензура. Резко отрицательная оценка революции в пятой части «Писем русского путешественника» — это поздний взгляд автора на революцию, а во времена, когда молодой человек находился во Франции, происходящее он воспринимал по-другому. Русский путешественник неоднократно посещал Национальное собрание, слушал речи Робеспьера, завел знакомства со многими политическими знаменитостями, ходил по улицам восставшего Парижа, наблюдал за всем происходящим с настороженным выжиданием, с надеждой на воплощение на практике идеалов Великой французской революции.

Окончательно его отношение к Великой революции сформировалось летом 1793 года, когда из Франции пришли известия о контрреволюции в Вандее, об установлении якобинской диктатуры во главе с Робеспьером, Маратом и Дантоном. Карамзин в это время жил в деревне, в орловском имении, куда, прекратив издавать свой «Московский журнал», перебрался, опасаясь после ареста Н. Новикова подозрений со стороны властей в связях с масонами. Оттуда 17 августа 1793 писал своему другу И. Дмитриеву: «Поверишь ли, что ужасные происшествия Европы волнуют мою душу?.. Мысль о разрушаемых городах и погибели людей везде теснит мое сердце». Неприятие и шок, вызванный реализацией идей «Просвещения» на практике, в ходе так называемой «Великой французской революции» еще резче Карамзин выразил в статье «Мелодор и Филалет» (1795): «Век просвещения! Я не узнаю тебя — в крови и пламени не узнаю тебя — среди убийств и разрушения не узнаю тебя!»

Позднее Н. М. Карамзин напишет: «...ужасы Французской революции излечили Европу от мечтаний гражданской вольности и равенства», ужасы Французской революции, неутешительные итоги эпохи Просвещения, положили начало критическому отношению писателя к «передовым» идеям. Осуществление теории на практике для него оказалось неприемлемо. Воздействие реальных событий оказалось эффективнее всех масонских утопий и построений.

Карамзин пережил глубокий идейный кризис. И этот кризис явился рубежом в его творческой жизни. Единственным приемлемым и правильным он стал считать путь постепенного эволюционного развития, без революционных взрывов и губительных потрясений и в рамках тех общественных отношений, того государственного устройства, которое свойственно данному народу.

Окончательное оформление его социально-политической программы, объективным содержанием которой являлось сохранение самодержавно-крепостнической системы, произошло в первое десятилетие XIX века, то есть ко времени создания «Записки о древней и новой России».

Свою роль в формировании консервативных взглядов писателя сыграли и занятия русской историей, интерес к которой обозначился у него давно. Еще в 1790 году в «Письмах русского путешественника» он изложил свое представление о русской истории: «Говорят, что наша история сама по себе менее занимательна: не думаю, нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить; и читатель удивится, как из Нестора, Никона и пр. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев... У нас был свой Карл Великий: Владимир; свой Людовик XI: царь Иоанн; свой Кромвель: Годунов, и еще такой государь, которому нигде не было подобных: Петр Великий».

28 сентября 1803 года Карамзин обращается в Министерство народного просвещения к попечителю Московского учебного округа М. Н. Муравьеву с просьбой об официальном назначении его историографом, именованным указом в том же году просьба была удовлетворена, и, по словам П. Вяземского, с этого времени Карамзин «постригся в историки». С 1803-го по 1811 год было создано пять томов «Истории государства Российского».

Историк А. Минаков пишет, что погружение в прошлое Отечества убедило Карамзина, что самодержавие представляет собой «умную политическую систему», прошедшую длительную эволюцию и сыгравшую уникальную роль в истории России. В своей «Записке...» Карамзин доказывает, что эта система, «великое творение князей московских», начиная с Ивана Калиты, слабо зависела от личных свойств, ума и воли отдельных правителей, поскольку не была продуктом личной власти, а довольно сложной конструкцией, опирающейся на определенные традиции и государственные и общественные институты. И в основе ее лежал синтез автохтонной политической традиции «единовластия», восходящей к Киевской Руси, некоторых традиций татаро-монгольской ханской власти, сознательное подражание политическим идеалам Византийской империи. Исключительную роль в данной системе, по Карамзину, играла Православная церковь — «совесть» самодержавной системы, задающая нравственные координаты для монарха и народа в стабильные времена, и в особенности, когда происходили их «случайные отклонения от добродетели».

При таких взглядах историка понятно, что критика властителей России — в «Истории...» ли, в «Записке...» — не ставила целью «опорочить» кого-либо, а, скорее, имела «воспитательные» задачи. В «Записке...» историк, просветитель, патриот, заботящийся о судьбе Отечества, предостерегает государя от пути несправедного, кровопролитного, и уповает на разум и волю мудрого правителя, во имя единой и процветающей России.

* * *

Надо ли в истории искать параллели с днем сегодняшним? Приемлемы ли теоретические построения двухсотлетней давности в наши дни? Или они значимы только для той эпохи, когда они создавались?

Не получится ли так, как предупреждал Ю. Лотман: «...либеральное мышление в исторической науке строится по следующей схеме: то или иное событие отрывается от предшествующих и последующих звеньев исторической цепи и как бы переносится в современность, оценивается с политической и моральной точек зрения эпохи, которой принадлежат историк и его читатели. Создается иллюзия актуальности, но при этом теряется подлинное понимание прошлого. Деятели ушедших эпох выступают перед историком как ученики, отвечающие на заданные вопросы. Если их ответы совпадают с мнениями самого историка, они получают поощрительную оценку, и наоборот. Применительно к интересующему нас времени вопрос ставится так: общественно-политические реформы есть благо и прогресс. Те, кто поддерживает их, — прогрессивны, те, кто оспаривает, — сторонники реакции. Время создания „О древней и новой России“ — период проектов Сперанского. Отсюда сама собой напрашивается схема: Сперанский и Карамзин как воплощение прогресса и реакции. Как ни удобна эта картина, но историческая реальность сложнее».

А реальность 1811 года, времени создания «Записки...», была такова. Бурлящая Европа начала XIX века, многочисленные союзы и коалиции, переговоры и договоры, противостояния и попытки столкнуться, перемирия и разрывы; беспредельное расширение Французской империи — «триумфальное шествие» Наполеона, первого самого известного и удачливого «евроинтегратора», по определению публициста Н. Старикова. Карамзин сознавал непрочность Тильзитских и Эрфуртских соглашений между Россией и Францией, де-факто нарушавшихся французами, считал, что внешняя политика правительства России порочна, и понимал, что нападение Наполеона на Россию неизбежно. Он был уверен, что перед лицом сильного и вероломного врага непродуманные, идущие вразрез с многовековыми традициями социальные и государственные эксперименты явно несвоевременны, ибо расшатывают основы государства, подрывают позиции дворянства, важнейшей опоры существующего строя. Резкость критики в адрес Александра I, явленная в «Записке...», была вызвана осознанием обозначившихся угроз.

Стоит ли в истории искать параллели с днем сегодняшним?

Когда-то Наполеон «передвинул Европу с запада на восток», объединив в своей армии солдат разных наций, что в конце концов остались лежать на равнинах России. Сегодня «Европа» вновь двинулась с запада на восток. Вот уже четверть века новая Россия, отказавшись уже не только от многовекового опыта самодержавной России, но и от опыта России советской, идет по неизведанному пути либеральных реформ, примеряя на себе «чужие одежды». И не стихают споры о правильности избранной дороги, о потерях и достижениях, о промежуточных результатах, о конечной цели.

И может быть, историк, посвятивший десятилетия изучению прошлого своего Отечества, сумел разглядеть в глубине веков, сумел увидеть в своем настоящем что-то очень важное для нашей страны?

В предисловии к «Истории государства Российского» Карамзин писал: «Читатель заметит, что я описываю события не врознь, по годам и дням, но совокупляю их для удобнейшего восприятия. Историк не летописец: последний смотрит единственно на время, а первый на свойство и связь деяний: может ошибиться в распределении мест, но должен всему указать свое место».

Современный исследователь биографии и творческого наследия Карамзина В. Муравьев дает такую емкую и сущностную оценку системного его подхода к историческому материалу: «Карамзин рассматривает процесс функционирования Русского государства на протяжении тысячелетия, выявляет закономерности этого процесса, его нормальное течение, нарушения и возвращение в норму. Погружение в такую глубину времен дает возможность увидеть именно те тенденции, которые проявляются в течение веков. <...> Когда Карамзин анализирует политическое и гражданское состояние России начала XIX века, он рассматривает его как конкретное проявление многовековых тенденций. Кстати сказать, конкретные проявления общих тенденций при аналогичных нарушениях в разные века оказывались весьма схожи».

Так какой же «код России» удалось вычислить одному из первых создателей национальной концепции исторического пути своего Отечества?

* * *

Вот уже два столетия идет спор о том, что есть Россия. Часть ли это Европы, неудачная ее подражательница или все-таки уникальная самобытная цивилизация? Вопрос этот, волновавший русских мыслителей, философов и писателей весь XIX век, в веке XX, во времена советские, плавно перетек в учебные пособия и хрестоматии по истории вообще и истории литературы в частности и вновь остро встал на новом историческом витке, в конце 80-х годов прошлого столетия. Споры не утихают и ныне.

Для Карамзина сомнений в особости российского пути не существовало. Не отделяя Россию от европейской цивилизации, он подчеркивал существенное отличие России от Европы, заложенное уже в их государственных основах. «Везде меч сильных или хитрость честолюбивых вводили самовластие... в России оно утвердилось с общего согласия граждан». Европейские страны образовывались путем завоеваний, Российское же государство, с точки зрения историка, началось не вследствие завоевания, а вследствие «беспримерного в летописях случая» — призвания варягов новгородцами: «Хотим князя, да владеет и правит нами по закону». Мнения историков о том, кем были эти варяги, норманнами или представителями славянских племен, их «военизированной» дружиной, кардинально расходились и расходятся. В любом случае, по мысли Карамзина, монархическое государство на территории будущей России возникло в результате добровольного и всенародного «волеизъявления». В работе политологов А. Ширинянца и Д. Ермашова Н. Карамзин назван одним из первых в отечественной политической мысли авторов легитимной модели российской государственности.

Еще в XIX веке в «Предисловии» к «Истории...» Карамзин особо подчеркивал общераспространенный ныне тезис: мирное освоение россиянами новых земель шло «без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями христианства в Европе и Америке». На основании этого он делал и вывод о том, что Россию, имеющую в своем историческом начале добровольный союз, ждет свой, особенный, мирный путь развития, без революций, подобных Нидерландской, Английской и Французской. Он считал, что каждый народ в своем историческом бытии реализует присущий только ему тип культуры, в основе которой лежит создание национальной государственности, а значит, «пароксизм либеральности», европейской, универсальной — не для России, и не находил в социальном строе России каких бы то ни было зачатков будущих общественных или политических конфликтов.

Карамзин ошибся: Россию ждали великие смуты и потрясения. Возможно, как раз потому, что были нарушены некие важнейшие, основополагающие, специфически российские принципы государственного функционирования?

* * *

По мнению историографа, порядок в государстве рухнет и перемены сотрясают его изнутри, производя раскол между едиными частями тела, если поколеблен важнейший, утвержденный веками принцип — особая, духовная связь между государем и подданными. Ибо, провозглашал он в «Истории государства Российского»: «Нет правительства, которое для своих успехов не имело бы нужды в любви народной». Погружаясь в историю, он видел, что мятежи и смута терзали Россию, когда народ усомнился в легитимности Бориса Годунова, когда презрел отеческую православную веру Лжедмитрий, что заговоры «суть бедствия, колеблющие основу государства и служащие опасным примером для будущности» вызваны общей ненавистью или общим неуважением к властителю. О смуте начала XVII века в своей «Записке...» он писал: «Самовольные управы народа бывают для Гражданских Обществ вреднее личных несправедливостей или заблуждений Государя. Мудрость целых веков нужна для утверждения власти: один час народного изступления разрушает основу ее, которая есть уважение нравственное к сану властителей». О более поздних временах: «Бирон и Павел были жертвою ненависти, правительница Анна и Петр III — жертвою неуважения. Миних, Лесток и другие не дерзнули бы на дело, противное совести, чести и всем Уставам государственным, если бы сверженные ими властители пользовались уважением и любовью россиян».

Карамзин был последовательным и решительным апологетом самодержавия, уверенным, что самодержавие — единственно возможная для России форма политического устройства и власти, ядро русской политической культуры. В письме к П. Вяземскому он утверждал: «Россия не Англия, даже и не Царство Польское: имеет свою государственную судьбу, великую, удивительную и скорее может упасть, нежели еще более возвеличиться. Самодержавие есть душа, жизнь ее, как республиканское правление было жизнью Рима».

Всей своей «Историей...» Карамзин стремился доказать российскому обществу, что у нас есть собственное прошлое и собственная традиция: российская государственность, имеющая своей основой принцип самодержавия, в силу которого «Россия развилась, окрепла и сосредоточилась».

Вслед за Монтескье он считал, что огромные по территории государства должны управляться монархом и обширная страна Россия, «мира половина», наиболее приспособлена именно для единовластия. В российском самодержавии он видел исторически подвижную форму государственности, способную эволюционировать в изменяющихся условиях. И верил, что единственная сила, способная удержать российское общество от впадения в крайности революционных разрушений и массовых беззаконий, есть монархия, гарант общественного спокойствия в обществе. Именно такая форма правления, по мнению Н. М. Карамзина, необходима, чтобы охранять духовно-нравственное здоровье народа, способствовать благу людей и обеспечивать «величие государства Российского».

Конечно, рассуждать сегодня о восстановлении монархии нонсенс: эта страница нашей истории навсегда перевернута сто лет назад. И, по словам писателя и историка литературы Алексея Варламова, «даже если предположить, что власть у нас будет передаваться по наследству и каждый уходящий президент будет назначать преемника,

к монархическому способу правления такое „престолонаследие“ отношения иметь не будет. Это в лучшем случае будет говорить об умении правящей элиты манипулировать общественным сознанием, но никак не о нашей подсознательной тяге к династической преемственности. И дело здесь не столько во власти, которая может быть лучше или хуже, сколько в народе, давно уже утерявшем мистическую связь с царствующим домом». Карамзинское религиозно-династическое понимание русской истории едва ли применимо к нынешней России, уверен писатель.

Однако и в нашем настоящем, несмотря на все кульбиты истории XX века, неистребим тезис о том, что в российском «доме» всегда «хозяином» было в собирательном плане государство, а в персональном — «государь», «батюшка-царь», главный судья и защитник от неправедных чиновников. Поразительно, будто и не утратило свое значение сказанное двести лет назад Карамзиным в «Записке...»: «В России Государь есть живой Закон: добрых милует, злых казнит, и любовь первых приобретает страхом последних. Не боятся Государя — не боятся и закона».

Точно так же поразительной выглядит приверженность современного россиянина, человека XXI века, к сильному государству. Ответ на эти вопросы можно найти в истории. Не с Карамзина началась апологетика сильного государства и ответственного монарха. В исследовании современного российского философа А. Замалеева, посвященном истории философской мысли в России, от раннего средневековья и до настоящего времени, важнейшей темой является отношение мыслителей разных эпох к государственному строительству, к форме власти. Крупнейшие мыслители и публицисты от начала любомудрия на Руси погружались в мирские, государственные, проблемы и практически все являлись сторонниками единодержавства как главного залога единства и силы государства, его территориальной целостности. Ученый замечает, что единство государства отстаивали даже волхвы, возглавлявшие народные восстания в период раздробленности. Древние и крепкие корни глубинного отношения к централизованной власти в России, к государству дают свои всходы и сегодня. А. Замалеев поясняет это так: «Надо ясно отдавать себе отчет в том, что интеллектуальная жизнь нации хотя и может прерываться время от времени, принимать иное, нежели прежде направление, но главное остается неизменным — это единство бытия и мышления, единство, в котором основу составляет преемственность, наследование идей».

В свое время наши предки пожертвовали своими вольностями во имя сильного государства и самодержавия. Пожертвовали не сразу. Об этих страницах русской истории Карамзин в «Записке...» повествует так: «Славяне Российские, признав Князей Варяжских своими Государями, хотя отказались от Правления общенародного, но удерживали многие его обыкновения. Во всех древних городах наших бывало так называемое Вече, или Совет народный, при случаях важных; во всех городах избирались Тысяцкие или Полководцы не Князем, а народом. Сии республиканские учреждения не мешали Олегу, Владимиру, Ярославу самодержавно повелевать Россиею: слава дел, великодушие и многочисленность дружин воинских, им преданных, обуздывали народную буйность. Когда же Государство разделилось на многие области независимые, тогда граждане, не уважая Князей слабых, захотели пользоваться своим древним правом Веча и Верховного законодательства; иногда судили Князей и торжественно изгоняли в Новгороде и других местах. Сей дух вольности господствовал в России до нашествия Батыева, и в самых ее бедствиях не мог вдруг исчезнуть, но ослабел приметно. Таким образом, История наша представляет новое доказательство двух истин: 1) для твердого самодержавия необходимо Государственное могущество; 2) рабство Политическое не совместно с гражданскою вольностию. Князья пресмыкались в Орде, но, возвра-

щаясь оттуда с милостивым ярлыком Ханским, повелевали смелее, нежели в дни нашей Государственной независимости. Народ, смиренный игом варваров, думал только о спасении жизни и собственности, мало заботясь о своих правах гражданских. Сим расположением умов, сими обстоятельствами воспользовались Князья Московские и, мало-помалу истребив все остатки древней республиканской системы, основали истинное самодержавие. Умолк Вечевой колокол во всех городах России. Димитрий Донской отнял власть у народа избирать Тысяцких, и, вопреки своему редкому человеколюбию, первый уставил торжественную смертную казнь для Государственных преступников, чтобы вселить ужас в дерзких мятежников».

Самодержавие было принято русским народом в условиях тяжелейшей борьбы с татаро-монгольским игом, «рабство политическое» не казалось чрезмерной платой за национальную безопасность и единство: оно не только ликвидировало иноземную власть, но и внутренние междоусобицы. Как один из итогов этого «согласия» (продолжим цитату): «Наконец, что началось при Иоанне I или Калите, то совершилось при Иоанне III: столица Ханская на берегу Ахтубы, где столько лет потомки Рюриковы преклоняли колена, исчезла навеки, сокрушенная местию Россиян. Новгород, Псков, Рязань, Тверь присоединились к Москве вместе с некоторыми областями, прежде захваченными Литвою. Древние Югозападные Княжения потомков Владимировых еще оставались в руках Польши, за то Россия, новая, возрожденная, во времена Иоанна IV приобрела три царства: Казанское, Астраханское и неизмеримое Сибирское, дотоле неизвестное Европе».

* * *

По мнению Ю. Лотмана, для Карамзина проблема политической свободы никогда не сливалась с проблемой личной независимости. Политическую свободу Карамзин определял как отношение человека к государству и в определенные моменты склонен был признавать приоритет государства как выразителя общих интересов. Но независимость как право человека думать и говорить то, что думает, одеваться и вести тот образ жизни, который ему свойствен, иметь *свою* систему ценностей, не отчитываться в своих эстетических или моральных предпочтениях ни перед кем, кроме своего Разума и Бога, быть самим собой была для него неотъемлемой от самого понятия *человек*. И этой личной независимостью русский мыслитель ни ради чего не поступался. «Он мог огорчить либерального Александра I своими консервативными суждениями, а Аракчеева — нежеланием нанести ему визит, но не мог сказать не то, что считал истиной».

Карамзин был убежден, что подданный в самодержавном государстве должен быть не бесправным рабом, а мужественным гражданином, который обязан безропотно повиноваться монарху, но в то же время иметь возможность свободно и искренне выражать свои мнения и взгляды на государственные дела. С его точки зрения, на единоличную власть самодержца налагались определенные ограничения: проверенные временем или продуманно им же принятые новые законы, обязательные не только для подданных, но и для самого самодержца; законы Божьи; совесть; народные обычаи и традиции.

Как отмечают А. Ширинянц и Д. Ермашов, степень вмешательства государственной власти в сферу народных привычек, обрядов, верований, иными словами, в сферу частной жизни и личного достоинства отдельного человека была для русского мыслителя той чертой, за которой заканчивается самодержавие и начинается деспотизм. А предписывать народным обычаям насильственные уставы не

что иное для монарха самодержавного, как беззаконие и тиранство. Далее они пишут: «Отсутствие или разрушение ценностей народной жизни или, говоря современным языком, национальных ценностей, стоящих выше авторитета власти, автоматически порождает общество тоталитарного типа. <...> Эту закономерность хорошо понимал Карамзин, когда рассуждал о „духе народном“ и приводил конкретные примеры из русской истории, свидетельствовавшие о том, что забвение, разрушение „народности“ всегда вело к вырождению самодержавия в тоталитарный режим или, словами Карамзина, в деспотию, тиранство».

Возвращаясь к истокам русского самодержавия, вспомним требование новгородцев: «Хотим князя, да владеет и правит нами по закону».

Чтобы монархическая власть не превращалась в деспотическую, Карамзин выдвигал условием просвещение граждан и высокоразвитое, хотя бы в политически активном меньшинстве, чувство чести...

Далеко не всякий монарх, с точки зрения Н. М. Карамзина, соответствовал возложенной на него высокой миссии, среди приоритетов которой были забота о благе России и ее подданных, сохранение сильного политически независимого государства, соблюдение обычаев и традиций, ценностей и идеалов русского народа, моральная свобода личности.

Далеко не всякий монарх мог заслужить высокую оценку своей деятельности со стороны подданных. Вместе с тем, считая любое отклонение от норм самодержавия делом случая, Карамзин сохранял веру в устойчивость русской модели самодержавия: даже при резком ослаблении или даже полном отсутствии верховной государственной и церковной власти (например, во время Смуты) мощная и эффективная традиция приводила в течение короткого исторического срока к восстановлению самодержавия.

Для Карамзина монархия имела абсолютное значение, и здесь не играло никакой роли лицо отдельного тирана-самодержца: оно составляло исключение, а не правило, обусловленное личными свойствами самого монарха.

* * *

По Карамзину, следование традициям, сформировавшимся в ходе многовековой истории, является непременным условием успешного государственного устройства. Понятия, нравы и обыкновения народа складываются веками, поэтому «для старого народа не надобно новых законов». И идя по пути просвещения, власть не должна навязывать народу чуждые ему законы и учреждения. «...Законы народа должны быть извлечены из его собственных понятий, нравов, обыкновений, местных обстоятельств», — утверждал он в своей «Записке...» Александру.

В контексте времени создания «Записки...» — предполагаемых либеральных реформ Сперанского — эти слова звучали предупреждением. «Перемены сделанные не ручаются за пользу будущих: ожидают их более со страхом, нежели с надеждой, ибо к древним государственным зданиям прикасаться опасно. Россия же существует около 1000 лет и не в образе дикой Орды, но в виде государства великого, а нам все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто бы мы недавно вышли из темных лесов американских! Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой. Если история справедливо осуждает Петра I за излишнюю страсть его к подражанию иноземным державам, то оно в наше время не будет ли еще страшнее? Скажем ли, повторим ли, что одна из главных причин неудовольствия Россиян на нынешнее Правительство есть излишняя любовь его к Государственным преобразова-

ниями, которые потрясают основу Империи, и коих благотворность остается доселе сомнительною».

В подготовленном при участии Сперанского проекте Уложения гражданских законов Карамзин усмотрел прежде всего перевод Гражданского кодекса Наполеона. Он упрекал авторов проекта в том, что они «шьют нам кафтан по чужой мерке». Карамзин утверждал, что к России вообще неприменимо понятие прав гражданских: «У нас дворяне, купцы, мещане, земледельцы и проч. — все они имеют свои особенные права — общего нет, кроме названия русских».

В России, полагал Карамзин, нужно либо подготовить кодекс, основанный на обобщении и согласовании указов и постановлений, изданных со времен царя Алексея Михайловича, либо издать «полную сводную книгу российских законов или указов по всем частям судным».

«Два Государства могут стоять на одной степени гражданского просвещения, имея нравы различные. Государство может заимствовать от другого полезные сведения, не следуя ему в обычаях. Пусть сии обычаи естественно изменяются, но предписывать им Уставы есть насилие, незаконное и для Монарха Самодержавного. Народ в первоначальном завете с Венценосцами сказал им: „Блюдите нашу безопасность вне и внутри, наказывайте злодеев, жертвуйте частию для спасения целого“, — но не сказал: „Противоборствуйте нашим невинным склонностям и вкусам в домашней жизни“. В сем отношении Государь по справедливости может действовать только примером, а не указом», — внушал он Александру I в своей «Записке...».

Подобные мысли Карамзин высказывал и ранее, в своих журнальных статьях. «Народ унижается, когда для воспитания имеет нужду в чужом разуме». Более того, Карамзин призывал прекратить безоглядное заимствование опыта Запада: «Патриот спешит присвоить отечеству благодетельное и нужное, но отвергает рабские подражания в безделках... Хорошо и должно учиться: но горе <...> народу, который будет всегдашним учеником».

По мнению А. Ширинянца и Д. Ермашова, центральной, по крайней мере с начала XIX века, для русской философской традиции стала оппозиция «Россия—Запад», соотнесение путей исторического развития России и Запада, проблема характера этих путей — эволюционного или революционного. Первым из русских мыслителей, кто откликнулся на эти проблемы и выстроил на основе их анализа более или менее стройную идеологическую систему, был именно Карамзин.

* * *

Этот тезис — насколько правомерно использование заимствованных законов в политической, экономической, социальной, духовной сферах жизни государства в обход традиционных — актуален и сегодня. Спорят политики, спорят экономисты, спорят ученые.

Писатель и историк В. Бочаров в своем исследовании «Неписанный закон. Антропология права», рассматривая действие «неписанных», не отраженных в законодательствах современных государств Востока и Запада законов, обосновывает и особенности «русского юридического мышления»: низкая эффективность писаного закона, размытость границы между формальным и неформальным сектором. Причина та же, что заботила и Карамзина: заимствованные правовые системы Запада не соответствуют местным обычно-правовым культурам. К западному праву Россия обратилась лишь в конце XVII — начале XVIII века при Петре Великом, но при

этом регулятором поведения русских, да и россиян в целом всегда оставались законы неписанные, в том числе в экономике: царской, советской, постсоветской и российской. «Неписанный закон» в России всегда имел первостепенное значение. В Бочаров доказывает, что социокультурные практики России, как, впрочем, и других незападных обществ, не укладываются в научно-теоретические схемы, сформировавшиеся при изучении западных обществ. Коренное отличие Запада от России, стран Востока заключается в том, что на Западе индивид приоритетен по отношению к коллективу, поэтому частное право выдвинуто на первый план; в остальном мире все наоборот: коллективные права доминируют над индивидуальными.

Поразительно, но не только в России, но и в «периферийных» государствах сплошь и рядом именно неформальные, поддержанные общественным мнением обычно-правовые нормы выступают в качестве регулятора реальной жизни, а главное — обеспечивают экономическое развитие данных государств. Так, следование привычным для нас нормам не мешало России достигать впечатляющих результатов в различных областях общественной жизни. И даже к такому явлению, как «теневая экономика», нужны новые теоретические подходы, способные раскрыть данный феномен, а не сбрасывать это явление в «криминал». Следуя своим традиционным моделям общежития, подчас только прикрываясь заимствованными формами «западной демократии», «периферийные» государства не погружаются в царство хаоса, наоборот, к хаосу ведет слом традиционного уклада. Культуры равны, отмечает писатель, но они разные, а поэтому законы, не соответствующие правовой культуре данного социума, не исполняются именно по этой причине, а вовсе не потому, что граждане не способны исполнять законы в принципе.

Выводы современного историка перекликаются с мыслями, что двумя столетиями раньше обосновывал другой историк: каждый народ в своем историческом бытии реализует присущий только ему тип культуры, в основе которой лежит создание национальной государственности.

* * *

В настоящее время почти рефреном к выступлениям политиков стали слова П. Столыпина: «Нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Задолго, почти за столетие, то же самое высказал в своей «Записке...» о великой и сильной России Карамзин.

«Великие переломы опасны», — предупреждал историк, обнаруживая в истории множество примеров того, как разрушительные идеи могут победить идеи созидательные и как легко можно обжечься преждевременной свободой.

Революционным преобразованиям противопоставлялась историческая традиция, древние обычаи и институты. «Всякая новость в Государственном порядке есть зло, к коему надобно прибегать только в необходимости: ибо одно время дает надлежащую твердость уставам», — утверждал Карамзин в «Записке...». Там же провозглашался и другой классический принцип русского консерватизма: «Для твердости бытия государственного безопаснее поработать людей, нежели дать им не вовремя свободу».

Последовательный сторонник эволюционного развития, он враждебно относился к социальным потрясениям и всякому насилию, даже если оно исходило от монарха. И, отрицая необходимость революционных преобразований в обществе, полагал, что изменения должны совершаться постепенно, по мере развития просвещения и нравственного совершенствования человека, под контролем сильной власти.

* * *

Когда-то Карамзин писал: «Державы, подобно людям, имеют определенный век свой: так мыслит Философия, так вещает История. Благоразумная система в жизни продолжает век человека; благоразумная система Государственная продолжает век Государств. Кто исчислит грядущие лета России? Слышу пророков близкогоконечного бедствия, но, благодаря Всевышнего, сердце мое им не верит; вижу опасность, но еще не вижу погибели».

В контексте проблем своего времени он, не боясь навлечь на себя немилость, указывал самодержцу на просчеты и промахи верховной власти, предлагал другие, соотносимые с отечественной традицией решения и делал это с тем, чтобы век великого Государства Российского был долгоден и благополучен. «Падение страшно. Первая обязанность Государя блюсти внутреннюю целостность Государства; благотворить состояниям и лицам есть уже вторая».

Россия пошла по неизведанным путям истории.

Еще несколько десятилетий назад казалось, что консервативные идеи Карамзина, «густо замешанные» на принципах «мудрого Самодержавия и Святой Веры», не более чем предмет для научных — априори критических — изысканий историков и филологов.

В постсоветский период исторические труды Н. М. Карамзина, для которого проблемы сохранения и упрочения русского государства являлись важнейшими и именно с этих позиций размышлявшего о судьбах Отечества, о задачах государственности, о власти, об историческом сознании граждан оказались актуальными. В «Истории государства Российского» он стремился на материале отечественной истории ответить на вопросы, волнующие нас и сегодня: закономерности развития стран и народов, взаимоотношения общества и власти, роль личности в истории. В «Записке...» красной нитью проходит мысль о преемственности «древней» и «новой» отечественной истории, о необходимости в назревших преобразованиях считаться с национальными традициями, о силе этих традиций, среди которых основополагающей ценностью остается сильная государственность, понимаемая как централизованные и твердые формы государственного правления. Самодержавие кануло в Лету, формы правления изменились, проблема роли государства в жизни страны и народа осталась.

Сегодня активно идет переосмысление исторического, публицистического наследия великого русского мыслителя. К нему обращаются ученые, историки, политики: в связи с потребностью в выстраивании единого исторического пространства актуальна мысль о преемственности «древней» и «новой» отечественной истории. Значит ли это, что постепенно границы между катастрофическими историческими водоразделами, когда казалось, что «Россия погибла навеки» — между Россией царской и советской, между советской и постсоветской, — будут стерты?

Подводя итоги анализу уникального образца политического сочинения — «Записки о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении», Муравьев пишет: «Почти два века, прошедшие после написания „Записки...“, подтвердили справедливость замеченных и отмеченных Карамзиным особенностей российской политической и гражданской жизни. Правда, при этом они подтверждают и расхожую истину: опыт истории ничему не научил российских правителей. Наверное, потому, что они просто к нему не обращались, ограничиваясь лишь обвинениями и разоблачениями предыдущего царствования, виною этому их короткая память, куцые знания. <...> Карамзин в „Записке о древней и новой России...“ писал не о сегодняшней злобе дня, а о том, что было вчера, существует сегодня и, видимо, будет завтра».

И сегодня, на историческом перепутье, этот карамзинский документ, где впервые так четко сформулированы масштабные государственные задачи, может стать одной из опор в выборе пути и средств осуществления выстраданных преобразований. Быть может, в нем — ключ к пониманию того, что происходит с нами?

Литература:

- Н. Карамзин. История государства Российского. М., 2010.
- Н. Карамзин. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991.
- Карамзин. PRO et CONTRA. СПб., 2006.
- В. Муравьев. Карамзин. М., 2014.
- Ю. Лотман. Сотворение Карамзина. М., 1987.
- В. Бочаров. Неписанный закон. Антропология права. СПб., 2013.
- А. Замалеев. Философская мысль в России XI-XX веков. СПб., 2015.
- И. Курукин. Жизнь и труды Сильвестра, наставника царя Ивана Грозного. М., 2015.
- В. Мединский. Скелеты из шкафа русской истории. М., 2010.
- Наполеон: Отец Евросоюза. С предисловием Николая Старикова. СПб., 2015.
- О былом и днесь России; Какая история нам нужна? // Российская газета, 05.04.2006; 04.05.2006. Федеральные выпуски № 4035; № 4066.
- История политических учений // <http://www.bibliotekar.ru/istoria-politicheskikh-i-pravovyyh-ucheniy-1/114.htm>
- Николай Михайлович Карамзин как историк и его методы исследования прошлого // Xreferat.com
- Д. Ермашов, А. Ширинянец. У истоков российского консерватизма: Н. М. Карамзин. М., 1999 // http://rvb.ru/18vek/karamzin/2hudlit_/03article/article.htm
- А. Ширинянец, Д. Ермашов. Концепция русской государственности Карамзина // <https://www.kazedu.kz/referat/92198>
- А. Ширинянец, Д. Ермашов. О «месте» и «роли» Карамзина в истории русской мысли. // <http://www.kazedu.kz/referat/92759>
- О. Жданова. Общественно-политические взгляды Карамзина. // <http://cyberleninka.ru/article/n/obschestvenno-politicheskie-vzglyady-n-m-karamzina>
- Н. Кувшинова. Нравственные основания мировоззренческих идей Н. М. Карамзина // <http://cheloveknauka.com/nravstvennyye-osnovaniya-mirovozzrencheskih-idey-n-m-karamzina>
- А. Минаков. Н. М. Карамзин // http://www.portal-slovo.ru/history/35463.php?ELEMENT_ID=35463&SHOWALL_1=1
- С. Нуреева. Н. М. Карамзин — основоположник русского консерватизма. <http://www.center-bereg.ru/1639.html>
- Н. Горбикова. Карамзин. Снимем маску // <http://zlobnoe.info/karamzin-vrag-rossii/> <http://subscribe.ru/group/otkuda-myi-prishli/8701487/>
- О масонстве Карамзина и его клевете на Царя Иоанна Грозного // ruskmir.ru/2014/07/o-masonstve-karamzina-i...ioanna...

Наталья БЕЛЯЕВА

АЛЕКСАНДР КУШНЕР: ВОСЕМЬ ГРАНЕЙ ТАЛАНТА

Все знание о стихах — в руках пяти-шести,
Быть может, десяти людей на этом свете:
В ладонях берегут, несут его в горсти.
Вот мафия, и я в подпольном комитете
Как будто состою —

так Александр Кушнер сказал о себе и о людях, которые знают о стихах всё. Читая его строки, будто вбираешь в себя такое знание о человеке и мире, которое делает тебя лучше, тоньше, умнее и чувствительнее. Оно возвышает тебя как читателя, потому что глубоко понять стихи Кушнера можно, только обладая таким культурным багажом, который нужно копить всю жизнь. Его творчество впитало в себя живительные соки русской и мировой поэзии, чтобы на этой почве расцвел чудесный цветок его многогранного таланта.

Грань первая. Кушнер — наследник русских поэтов-классиков

Если перечислять русских поэтов, намеки на которых можно найти в стихах Кушнера, то, наверное, получится достаточно большой список, но это указывает не на прямое следование традициям, а на переплавку образов, картин, интонаций, ритмов в новой ткани его стихов. Не случайно сам Кушнер когда-то сказал, что «всякий настоящий поэт — это обновление стиха»¹. Когда поэта спросили, какие имена в русской лирике для него особенные, то он ответил: «Если начну перечислять, то назову их слишком много. На самом деле я ориентировался не на кого-то одного, а всю жизнь... на Батюшкова, Пушкина, Баратынского, Тютчева, Фета, Пастернака, Мандельштама, Ходасевича, Заболоцкого. Да, вот еще обязательно надо назвать: Иннокентия Анненского. И Блока, конечно, и Ахматову, и Кузмина. И Некрасова

Наталья Васильевна Беляева родилась в Калининне. Окончила филологический факультет Калининского государственного университета (1972). Заслуженный учитель школы РФ, доктор педагогических наук. Автор многочисленных книг и статей по методике преподавания литературы в школе, двух поэтических сборников, статей о русской поэзии. Член Союза российских писателей и Союза журналистов Москвы. Живет в Москве и в Твери.

¹ Кушнер А. С. Стихи для меня — образ жизни... // Вопросы литературы. 1997. № 3. <http://magazines.russ.ru/voplit/1997/3/kushner.html>

тоже нельзя не вспомнить, и Державина. Начнешь перечислять — не остановиться. И все равно кого-нибудь пропустишь, например Грибоедова»².

В стихах Кушнера можно найти отсылки к русской и мировой поэзии, и порой даже удивляешься, когда читатели, особенно молодые, не видят переключек, которые и комментировать как-то неудобно: так они узнаваемы и органичны. В его стихах живут и «Баратынский с его пироскафом», и Пушкин, подобно которому поэт «посетил / Ту местность, где светил» ему «в молодости луч». Кушнер мечтает поговорить «тихо сквозь века / С поручиком Тенгинского полка» Лермонтовым и желает, как Фет, понять тайны мироздания, подойдя к стогу сена, около которого «Бога не было вверху, / Чтоб оправдать тщету земную». Поэт вспоминает нервную «некрасовскую музу», осмысливая неизбежную «прозу в любви», и героиню Достоевского, когда пишет: «Среди знакомых ни одна / Не бросит в пламя денег пачку». Эти узнаваемые реминисценции поэт адресует читателю и поднимает его до себя в восприятии и понимании поэзии. Читатель его стихов должен быть широко образованным, жить в культуре, чтобы о нем можно было сказать, как когда-то сказал Георгий Адамович о Мандельштаме, который «в разговоре логику отнюдь не отбрасывал, но ему казалось, что звенья между высказываемыми положениями ясны собеседнику так же, как ему самому, и он их пропускал. Он оказывал собеседнику доверие, поднимая его до себя»³. Такое же доверие оказывает читателю и Кушнер, впуская его в мир своей сложной и полной намеков поэзии.

Трепетное отношение к поэтической классике звучит в стихах, обращенных к тем, кто желает в каждом русском поэте найти «изъян»:

Конечно, Баратынский схематичен.
Бесстильность Фета всякому видна.
Блок по-немецки втайне педантичен.
У Анненского в трауре весна.
Цветаевская фанатична муза.
Ахматовой высокопарен слог.
Кузмин манерен. Пастернаку вкуса
Недостает: болтливость — вот порок.
Есть вычурность в строке у Мандельштама.
И Заболоцкий в сердце скупают.
Какое счастье — даже панорама
Их недостатков, выстроенных в ряд!

Неисчерпаемой теме поэта и поэзии Кушнер верен и в новом веке, потому что еще не все смыслы «вычитал» в любимых стихах:

Кого бы с полки взять? Всех знаю наизусть.
Не Лермонтова же, не Пушкина, не Блока...
Мрачнеет Мандельштам. Обиделся? И пусть.
А может быть, он рад, что потускнел немного,
Как Тютчев или Фет, — и значит, что ничем
Теперь не хуже их и, скажем, Пастернака...

² Храмцова Р. А. «И третье, видимо, нельзя тысячелетье / Представить с ямбами, зачем они ему?..». Интервью с Александром Кушнером // Литература. «Первое сентября». 2005. № 7. <http://lit.1september.ru/article.php?ID=200500711>

³ Адамович Г. В. Несколько слов о Мандельштаме // Воздушные пути. 1961. №2. http://www.e-reading.club/bookreader.php/150022/Adamovich_-_Neskol'ko_slov_o_Mandel'shtame.html

Поэт жалеет, что ему «нечего читать! / И в Анненском все так знакомо и любимо!», но вновь тянется к книжным полкам и не без основания надеется:

Ах, может быть, у них за это время там
Написаны стихи, которых я не знаю?

Кушнеру естественно представить, что он с Тютчевым и Фетом беседует на равных:

Так ветер куст приподнимал,
Такой клубился белый цвет,
Плеча касаясь моего,
Как если б Тютчев мне сказал:
Зайдите, будет только Фет
И вы, а больше никого...

По мнению Д. С. Лихачева, Кушнер «не только человек обширных знаний — он способен вчувствоваться, способен к перевоплощению, его стихи растут не на голой почве, своими корнями они уходят в культуру прошлого. Кушнер ощущает свою связь с поэтами-предшественниками. <...> Традиция для него — не трафарет для следования, а стимул и импульс творчества, обогащающий его, необходимый для создания нового поэтического мира»⁴.

Грань вторая. Кушнер — певец Петербурга

Мне кажется, что считать Кушнера только «петербургским поэтом» было бы неправомерно: это сужает общечеловеческий масштаб его стихов. Кушнеровский образ Петербурга похож и не похож на Петербург Пушкина, Некрасова или Достоевского. Поэт живо представляет себе итальянского архитектора, который несет под мышкой «желтой бумаги рулон», похожий на развернутый фасад здания Главного штаба. Кушнер видит «устремленные в Неву / И Обводный, и Фонтанку, / И похожую на склянку / Речку Кронверку во рву», видит «серого оттенка Мойку, женщину и зонт, / Крюков, лезущий на стенку, / Пряжку, Карповку, Смоленку...» Но этот список петербургских речек так и остался бы перечислением, если бы не заключительная строка стихотворения, вписывающая реалии Петербурга в контекст вечности, потому что рядом с «Карповкой и Смоленкой» оказываются «Стикс, Коцит и Ахеронт».

Лирический герой Кушнера зовет свою «героиню»:

Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки,
У стриженных лип на виду,
Глотая туманный и стойкий
Бензинный угар на ходу...
Меж Марсовым полем и садом
Михайловским, мимо былых
Конюшен, широким обхватом
Державших лошадок лихих.
Пойдем же! Чем больше названий,
Тем стих достоверней звучит...

⁴ Александр Кушнер. Персональный сайт // http://kushner.poet-premium.ru/pressa/20050000_buklet.html

Петербургский контекст у поэта наполнен внутренним содержанием, потому что ощущение красоты города и частный факт расставания с любимой становятся неотъемлемой частью его художественного мира, в котором петербургское «сверканье / Листвы, и дворцов, и реки / Возможно лишь в силу страданья / И счастья, ему вопреки!». Все факты жизни в Петербурге мыслятся поэтом звеньями в мировой культуре. Евгений Евтушенко в книге «Строфы века» назвал Кушнера «автором огромной поэмы о своем любовном романе с Ленинградом, в которую соединились все его стихи»⁵.

Грань третья. Кушнер — знаток и апологет истории и культуры

Поэзия Кушнера постоянно отсылает читателя к событиям мировой истории, которую поэт воспринимает как чистый лирик, признаваясь, что ему «в истории нравятся фантазмагория, фанты, / Все, чего так стыдятся историки в ней». Факты прошлого он вписывает во вселенскую ткань взаимосвязей человека, времени и природы:

Был туман. И в тумане,
Наподобье загробных теней,
В двух шагах от французов прошли англичане,
Не заметив чужих кораблей.
Нельсон нервничал: он проморгал Бонапарта,
Мчался к Александрии, топтался у стен Сиракуз,
Слишком много азарта
Он вложил в это дело: упущен француз.
А представьте себе: в эту ночь никакого тумана!
Флот французский опознан, расстрелян, развеян, разбит.
И тогда — ничего от безумного шага и плана,
Никаких пирамид.
Вообще ничего. Ни империи, ни Аустерлица.
И двенадцатый год, и роман-эпопея — прости.
О туман! Бесприютная взвешенной влаги частица,
Хорошо, что у Нельсона встретила ты на пути.

Атмосфера мировой культуры естественна для поэзии Кушнера. В его стихах сосуществуют «Орфей, / Когда тот пошел, камня, к Харону вторично» и «пергамский алтарь на воздушной подкладке», его лирический герой готов прийти на свидание с Карамзиным, назначенное в Константинополе, «под Айя-Софией», а перечень римских правителей — «Цезарь, Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон» — сам собой «лег в стихотворную строчку».

В стихах XXI века поэт снова признается в любви греческим богам, сопровождающим его с детства, потому что без них он не мыслит своей жизни:

Я люблю их, Афин, Афродит,
Артемид, Аполлонов, Гермесов.
Мне забыть их Гомер не велит,
Не смущен ни тщетой, ни прогрессом.

⁵ Строфы века. Антология русской поэзии. Сост. Е. А. Евтушенко. Минск; Москва: Полифакт, 1995.
<http://kushner.ouc.ru/strofu-veka.html>

Не заметить их игр и затей,
Их обидчивость, гнев и кокетство —
Все равно что оставить детей,
Все равно что забыть свое детство.

Музыка для Кушнера — «счастливая сестра / Поэзии, как сладкий дух сирени», она до сердца пробирает, «до нутра, / Сквозь сумерки и через все ступени». Гипертекстом в его стихах становятся даже узнаваемые мелодии, например «Серенада» Шуберта:

Это песенка Шуберта, ты сказала.
Я всегда ее пел, но не знал откуда.
С нею, кажется, можно начать сначала
Жизнь, уж очень похожа она на чудо!

Что-то про соловья и унылый в роще
Звук, немецкая роща — и звук унылый.
Песня тем нам милей, чем слова в ней проще,
А без слов еще лучше, — с нездешней силой!

Музыка для Кушнера — олицетворение Италии, впитавшей культурную память Европы, поэтому узнаваемые музыкальные термины так органично вошли в ткань его стихов. Для Кушнера музыка, поэзия и природа — явления одного смыслового ряда:

Музыка — ты уроженка Милана,
Рима, Венеции, Пармы, Вероны.
Forte, fortissimo, fermo, piano
Или allegro, подъемы и склоны. <...>

Diminuendo, crescendo, staccato,
Дымные пинии, душевные розы,
Лукка, Сиена, холмисто, покато,
Бабочки, пчелы, сухие стрекозы...

В стихах о музыке Кушнер готов говорить «сквозь века» не только с «поручиком Тенгинского полка», но и с Фредериком Шопеном. Поэт берет на себя смелость желать фортепьянному королю оркестрового звучания, которое невозможно без «барабана... и гобоя», «фаготы и трубы», «флейты и скрипки»:

Я готов обратить пожеланье в мольбу:
Постарайтесь избежать ошибки.
Полонез превосходен, прелестен этюд,
Безусловно, прекрасна мазурка,
Но от вас и во Франции большего ждут,
И в тяжелых снегах Петербурга.

В поэтическую ткань Кушнер вплетает и намеки на живописные полотна, например на многочисленные портреты инфант Веласкеса, и сравнивает с ними юные елочки:

Ты мне елочки пышные хвалишь
Мимоходом, почти как детей.
Никогда на тропе не оставишь
Без вниманья их темных затей:
На ветру они машут ветвями
И, зеленые, в платьях до пят
Выступают гуськом перед нами,
Как инфанты Веласкеса, в ряд.

Так природа становится у поэта частью культуры, а культура — частью природы.

Грань четвертая. Кушнер — хранитель тайн природы

Природа для Кушнера — божество, способное творить красоту, рождать слово и чувство, «снимать порчу» с отравленного цивилизацией человека:

Евангелие от куста жасминового,
Дыша дождем и в сумраке белея,
Среди аллей и звона комариного
Не меньше говорит, чем от Матфея. <...>
Ты слеп и глух, и ищешь виноватого,
И сам готов кого-нибудь обидеть.
Но куст тебя заденет, бесноватого,
И ты начнешь и говорить, и видеть.

Всемогущая природа для поэта — «заступница всех», у которой

Камни есть и есть облака,
Как детей, любя и этих и тех,
Тяжела — как те, как эти — легка.
Заморозить ей осенний поток —
Как лицом уткнувшись в стенку лежать.
Посадить ей мотылька на цветок —
Как рукой махнуть, плечами пожать.

Учась у природы «делать чудеса своими руками», Кушнер сожалеет, что «в нашей жизни, печалях, словах / Этой легкости — вот чего нет!»

Михаил Эпштейн заметил, что «природа в стихах А. Кушнера — это спасительное откровение человеку о чистой и счастливой сущности бытия, которая забывается им за страданиями и невзгодами повседневной жизни»⁶. Природа не только «заступница всех», но и «целительница души», вечная утешительница, способная излечить от горьких воспоминаний и душевных травм. Кушнер уверен, что «нас любит облако, нас дерево врачует», что сад «над Невкой Большой» его «от печали спасает», что «цветы способны в наше прошлое, / Леча от старых травм, зарыться».

Поэт восхищен гармонией мира, когда за белым шиповником, который «свеж, аккуратен и чист, — как Пьеро!», расцветает шиповник махровый, как «в ярком трико Арлекин», а за ним «третьим приходит, как шелк ослепительно-алый, / С желтой

⁶ Эпштейн М. Н. «Природа, мир, тайник вселенной...» // <http://kushner.ouc.ru/priroda-mir-tainik-vselennoi.html>

середкой рассеянный гость запоздалый, / Нами любимый всех больше и дикой пчелой». Такой миропорядок обеспечен природой, которая «знает, что делает, прятая за вечною мглой».

Природа и культура для поэта — родственные понятия, а сентябрь, выметающий широкой метлой «хитиновый мусор» умерших насекомых, рождает у поэта мысль, что природа, театр, королевские дворцы, где уместны «манжеты, застёжки, плащи, вечера», радость жизни и неотвратимость смерти — это реалии одного порядка, в котором человеку рукой подать «до кладбища ос, / До свалки жуков, до погоста слепней, / До царства Плутона, до высохших слез, / До блеклых, в цветах, элизейских полей!».

Городские пейзажи Петербурга не противоречат природе вне города, потому что их эстетическая сила способна воспитывать душу человека: «Как клен и рябина растут у порога, // Росли у порога Растрелли и Росси, // И мы отличали ампир от барокко, // Как вы в этом возрасте ели от сосен». Природа — апофеоз культуры, и ее канонам вторит филигранность лепнин и фасадов города. В свою очередь, и в явлениях природы отражается архитектурное изящество петербургских дворцов:

Волна в кружевах,
Изломах, изгибах, извивах,
Лепных завитках,
Повторных прыжках и мотивах;
Волна с бахромой,
С фронтоном на пышной вершине
Над ширью морской.
Сверкай, Борромини, Бернини!

Смерть дерева, даже срубленной к Рождеству елки, ведет поэта к размышлениям о несправедливом устройстве бытия. Рождественская радость, отождествленная с Вифлеемом, становится для поэта олицетворением «тоски и печали», которое Х.-К. Андерсен, создавая сказку «Елка», испытал задолго до Кушнера:

Стройный стан в серпантин будет, в блески одет,
И шары золотые повесят.
Справедливости не было в мире и нет,
Ею только клянутся и грезят.

Таким образом, хотя поэт и признает величие и силу природы-божества, которую он готов принять сердцем, но разум побуждает его вечно искать, а найдя, хранить тайный смысл природных явлений, давать им свое объяснение, считая природу и культуру равновеликими понятиями.

Грань пятая. Кушнер — литературовед и эссеист

Кушнер пишет не только стихи, но и публицистику, эссе, литературоведческие статьи, и мы можем приобщиться к его размышлениям о поэзии и поэтах, о людях, связавших свою жизнь с литературой. Впервые литературоведческая проза Кушнера появилась в его сборнике стихов «Тысячелистник», а затем в поэтической книге «Волна и камень». Поэт рассуждает о роли лирического героя в поэзии и утверждает, что, выбрав себе литературную роль, поэт вынужден и в реальной жизни быть похожим на созданный им в поэзии образ. Но Кушнер считает себя в жизни

обычным, далеким от романтических представлений человеком, который имеет «объективный взгляд на вещи и значительную душевную прочность», и ему не нужно тратить силы на «конструирование в стихах своего образа». Поэтому он относит себя к стихотворцам, у которых нет лирического героя. В книге «Аполлон в снегу», не проводя границы между собой и своим лирическим героем, Кушнер наделяет его чувством ответственности за свои действия и поступки, которая выливается в готовность заплатить за каждое слово собственной жизнью.

Ирина Роднянская справедливо замечает, что «в литературной эссеистике Кушнера, лишенной какой бы то ни было надуманной затейливости... играют не использованные в его стихах, но именно стихам присущие образные блики. <...> Раннее стихотворение Пушкина „забежало вперед, как гонец, объявляющий приближение царского поезда“ — лирики 30-х годов». «Пастернаковская стая (ассоциаций. — И. Р.) летит хаотично, так летают голуби», а у Мандельштама «ассоциации выстраиваются в цепочку — так летят гуси». «Архилох, сказавший: „Пью, опершись на копьё“, делает это и сегодня. Лирическая поэзия живет сегодняшним днем, принадлежащим вечности». «Маяковский улегся на революционную волну, перестал грести и в конце концов, когда огромная волна ушла, — как крупное морское животное, вроде кита, — оказался на мели». Поэзия Фета «так горяча, что над ней клубится пар», а поэзия Вячеслава Иванова «похожа на гипсовые волны»⁷. Поэтому Кушнер и в своей литературной эссеистике остается глубоким лириком, мыслящим самобытными образами.

Интересна статья Кушнера «Прямой разговор о жизни»⁸, посвященная Л. Я. Гинзбург. Ее главной заслугой Кушнер считает создание теории «промежуточной литературы», к которой относятся эссе, дневники, записные книжки, мемуары, автобиографии, невыдуманные рассказы. Ее записи разговоров и событий, их осмысление, мемуарные страницы, эссеистика, прозаические повествования были опубликованы только в 1980-е годы и составили самую «драгоценную часть ее творческого наследия». «Записные книжки. Воспоминания. Эссе» Л. Я. Гинзбург стали для Кушнера образцом прозы о поэтах, о которых создавал свои эссе и он сам.

Грань шестая. Кушнер — детский поэт

Александр Кушнер не только выдающийся лирик и глубокий исследователь русского стиха, но и оригинальный детский поэт, автор более десяти книг для детей. Герой его детских стихов — ленинградский парнишка, любящий свой город и живущий интересной мальчишеской жизнью. Тонкой иронией над собой подростком пронизано стихотворение «Пение», рассказывающее про взрослого дядю Колю, спевшего по просьбе детей... романс:

В нем слова такие были —
Жаль, что мы их позабыли:
Про вскипающую кровь,
Про несчастную любовь.
«Вот, — сказала Таня с чувством, —
Настоящее искусство,
А не песни для детей!»
Мы согласны были с ней.

⁷ Роднянская И. Б. Поэт меж ближайшим и вечным // http://fictionbook.ru/author/i_b_rodnyanskaya/dvijenie_literaturyi_tom_ii/read_online.html?page=7

⁸ Кушнер А. С. Прямой разговор о жизни // Литература. «Первое сентября». 2007. № 5. <http://lit.1september.ru/article.php?ID=200700517>

Одно из самых смешных детских стихотворений — «Не шумите!». Действительно, можно ли считать «шумом» то, что

Андрюша стучал еле-еле
Молотком по железной трубе.
Я тихонько играл на губе,
Пальцем книзу ее отгибая.
Таня хлопала дверью сарая.
Саша камнем водил по стеклу.
Коля бил по кастрюле в углу
Кирпичом, но негромко и редко...

Ведь дети стучали и гремели «еле-еле», «тихонько», «негромко и редко», чтобы Вася «не смущался и пел».

Сколько детских мечтаний воплотил Кушнер в своих стихах, проникнув в психологию подростка! Герой стихотворения «Белая ночь» восхищен этим характерным для Петербурга природным явлением и искренне сожалеет о том, что не может гулять белыми ночами, потому что еще не взрослый.

Кушнер — мастер неожиданных финальных строк, ставящих точку в стихотворении, и в детской поэзии это проявляется особенно выразительно: «Хорошо иметь слона, / Жаль, что комната тесна!»; «Войдет капитан / и не знает того, / что в рубке просторной / я был до него!»; «Держался я строго и прямо. / Смеялись фотограф и мама. / А я рассмеялся за ней. / И вышел я — рот до ушей».

По моделям русских отчеств и фамилий строит Кушнер стихотворение «Игра», которое на самом деле становится игрой слов, веселящих читателя вплоть до последней строки:

Антон Антонович Антонов!
Фонтан Фонтанович Фонтанов!
Вагон Вагонович Вагонов!
Диван Диванович Диванов!.. <...>
Сысой Сысоевич Сысоев!
Болтай Болтаевич Болтаев!
Постой Постоевич Постоев!
Устал-я-больше-не-желаев...

Скрытая улыбка поэта и неповторимая кушнеровская интонация видны в каждом детском стихотворении. Кушнер и юный читатель беседуют как пара мальчишек из знакомого ленинградского двора, и поэт ведет себя не свысока, а как равный с равным.

Грань седьмая. Кушнер — учитель русского языка и литературы

Мне кажется, что Кушнер никогда не забывает о том, что по специальности он школьный учитель, хотя прошло уже много лет с тех пор, как он работал в школе. Школьные мотивы наполняют его стихи разных лет, поэт смотрит в них на жизнь изнутри, например, как взволнованный ученик, пишущий контрольную:

Контрольные. Мрак за окном фиолетов,
Не хуже чернил. И на два варианта

Поделенный класс. И не знаешь ответов.
Ни мужества нету еще, ни таланта.
Ни взрослой усмешки, ни опыта жизни.
Учебник достать — пристыдят и отнимут.
Бывал ли кто-либо в огромной отчизне,
Как маленький школьник, так грозно покинут! <...>

Школьная контрольная оказывается у Кушнера сильнее по эмоциональному напряжению, чем

все неприятности взрослые наши:
Проверки и промахи, трепет невольный,
Любовная дрожь и свидание даже —
Все это не стоит той детской контрольной.

То же чувство детской «оставленности» и «брошенности» звучит и в другом «школьном» стихотворении, написанном уже в XXI веке:

Вспоминай, в каком — в четвертом классе
Или в пятом, может быть, в шестом
Ты писал диктант, на каждой фразе
Обмирая в сумраке степном?

Проницательный читатель заметит в стихотворении отсылку к «Капитанской дочке» Пушкина: «кибитка», «как в степи», «по снегам», «встретился прохожий», «в равном армяке», «повел по бездорожью», но этот частный школьный случай поднимает размышления автора на философский уровень: «Спасенье только в русской прозе / И стихах, другой дороги нет!»

Словесная игра Кушнера со стихотворением в прозе И. С. Тургенева «Русский язык» стала основой удивительного текста, построенного на внутреннем диалоге:

Во дни сомнений (Я не понимал,
Каких еще сомнений?). В дни раздумий
(Каких раздумий? Вставочка в пенал
Укладывалась вроде древних мумий,
Хотя еще не кончился урок).
Ты мне один — опора и порука.
(Или подмога? Кто бы мне помог?
Стихотворенье в прозе, что за мука!
Как это можно выучить? Во дни?)
Во дни сомнений, тягостных раздумий
(Каких? Зачем? В таинственной тени
Тонула школа, сумерках и шуме) —
Зато теперь понятно мне каких...

Причем диалог получается двойной: один между учителем и юным учеником, наивно комментирующему слышанное, и второй — между Кушнером и Тургеневым. Первый диалог обречен на неудачу: учитель не осознает, что его ученики не понимают тургеневского текста, а позиция ученика воплощена в многочисленных вопросах: каких? кто? как? зачем? Второй диалог — между самим Кушнером (или его повзрослевшим учеником) и тургеневским стихотворением — снимает возникший конфликт:

Про черный день стихи, на крайний случай.
Язык и есть Россия. (Для других
Она в другом.) Свободный и могучий.

В раннем стихотворении «Прощание со школой» (впервые опубликовано в журнале для учителей-словесников «Литература»⁹), молодой учитель признается, что он проявляет строгость к ученикам только по должности. Он не дает «топтать полы / И скатываться с горки», проверяет дневники и огибают лужи, потому что так положено учителю, а на самом деле он и ленив, как подросток, и искренне считает мальчишек «правильным народом». В заключительных строках заключен результат образовательного воздействия и квинтэссенция позиции учителя:

Учитесь сами, дураки!
Я больше вам не нужен.

Грань восьмая. Кушнер — защитник русского языка и поэтического слова

Любовь к родному языку и литературе — яркая черта поэтической палитры Кушнера. Поэт протестует против апунктуационной манеры в современном стихосложении, когда в поэтическом тексте отсутствуют знаки препинания:

Пунктуация — радость моя!
Как мне жить без тебя, запятая?
Препинание — честь соловья
И потребность его золотая. <...>

Огорчай меня, постмодернист,
Но подумай, рассевшись во мраке:
Согласились бы Моцарт и Лист
Упразднить музыкальные знаки?

Наподобие век без ресниц,
Упростились стихи, подурнели,
Все равно что деревья без птиц:
Их спугнули — они улетели.

Мотив защиты русской поэзии от плохих стихов является сквозным в лирике Кушнера последних лет. Он противник «затертых», «жалких» и «увечных» рифм к вечным словам «жизнь» и «смерть». Поэтому когда слово «смерть» рифмуется со словом «круговерть», поэт признается:

...дочитать до конца
Стихи не могу: все кончается,
И жалко поэта-глупца.

Слова он уподобляет живым существам, и если в стихах появилось совсем не поэтическое слово «пресмыкающееся», то оно оказалось похожим на ящерику и «впол-

⁹ Волков С. В. А закончим строку многоточьем... // Литература. «Первое сентября». 2008. № 12. <http://lit.1september.ru/article.php?ID=200801201>

зло в стихи, нелепое, / Поджав конечности кривые». Это «малоприятное создание, / Само себя оно стыдится». И отталкивающим в нем становится не только внешний вид, но и лингвистические части в составе этого слова: «суффикс „ющ“, и окончание / Два „е“ с возвратно частицей».

В лирике Кушнера рубежа веков громко зазвучал мотив ненужности стихов. Поэт уверен, что «стихи — архаика. И скоро их не будет», потому что «стих живет без цели, / Летит, как ласточка, свободно, наугад. / И третье, видимо, нельзя тысячулетье / Представить с ямбами, зачем они ему?» Поэтом поэт задается вопросами: «Жизнь и без стихов / Хороша, не так ли?», «Жизнь проходит — жаль. / А стихов не жалко?» Но ответ на эти вопросы один: стихи как цветы — «в отблесках сквозных, / С рифмами по краю... / Как бы я без них / Жил, не понимаю».

Он уверен в том, что хотя «без стихов / На земле обходились веками», но сегодняшней упадок поэзии — это не навсегда, «это пауза, это синкопа». Стихи должны жить и звучать на родном языке, потому что родная страна для поэта «дороже всех: его бессмертье — в ней», и он живет «в стихах своих всю жизнь, превозмогая мрак». Именно в них Кушнер видит путь к спасению страны от бездуховности, отчуждения и уверен, что «не было б места ни страху, ни злобе, / Все б нам простились грехи, / Если бы там, за границей, в Европе, / Русские знали стихи». И стихи Кушнера в первую очередь!

В одной из своих последних журнальных подборок, посвященной китайским впечатлениям¹⁰, Кушнер снова предстает перед нами как поэт-мудрец, поэт-философ. Маленький экскурсионный поезд, едущий по кругу в китайском парке, помогает поэту постичь суть жизни и смерти и приводит к выводу, что

Жизнь не опасна, и смерть не страшна.
Кто бы подумал, что надо за этим
Ехать в Китай? И как будто она
Только китайцам открыта и детям.

Александр Кушнеру, лауреату нескольких десятков престижных литературных премий, — 80 лет! За его плечами шлейф времен, которые не выбирают. Но эта дата не должна ужасать своей масштабностью, потому что с нами поэт, который не перестает плодотворно трудиться, радуя нас новыми книгами стихов и прозы. Нам повезло быть его современниками, читателями, которых он одарил сиянием всех граней своего таланта и твердо знает главное: «смысл жизни — в жизни, в ней самой».

**Редакция поздравляет
Александра Семеновича Кушнера
с 80-летием!**

¹⁰ Кушнер А. С. В Китае // Звезда. 2016. № 1. <http://magazines.russ.ru/zvezda/2016/1/v-kitae.html>



Николай ГУСЬКОВ

«ПОСЛЕДНИЙ ЛУЧ ТРАГИЧЕСКОЙ ЗАРИ» (о забытом проекте Крутицкого)

В комедии А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» есть выживающий из ума чиновник Крутицкий, автор проекта «О вреде реформ вообще». Среди его абсурдных, хотя и не теряющих актуальности суждений есть и такое: «Никакой поэзии нет, никаких благородных чувств. Я думаю, это оттого, что на театре трагедий не дают. Возобновить бы Озерова, вот молодежь-то бы и набиралась этих деликатных, тонких чувств. Да чаще давать трагедии, через день. <...> У меня прожект написан об улучшении нравственности в молодом поколении. Для дворян трагедии Озерова, для простого народа продажу сбитня дозволить. Мы, бывало, все трагедии наизусть знали, а нынче скромно! Они и по книге-то прочесть не умеют. Вот оттого в нас и рыцарство было, и честность, а теперь одни деньги». Многие десятилетия эти слова вызывали смех зрительного зала. В наши же дни, словно по проекту Крутицкого, на народных гуляньях стали продавать сбитень, который четверть века назад ассоциировался с древнерусской экзотикой и едва ли был кому-то знаком на вкус. Уж не пора ли возобновить и Озерова?

17 сентября по новому стилю исполняется 200 лет со дня смерти этого писателя, а никто не вспоминает об этой дате, тогда как 250-летие Н. М. Карамзина и 200-летие со дня смерти Г. Р. Державина отмечаются пышно. Про Озерова не просто не вспоминают, о нем вообще мало кто знает, а ведь еще лет сто назад это был признанный классик, прочно стоявший в сознании образованного читателя

Николай Александрович Гуськов — кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ. Сфера научных интересов — история русской литературы XVIII — первой половины XX века, история русского театра, кинематографа, литературный быт, краеведение, детская литература. Автор книги «От карнавала к канону (Русская советская комедия 20-х гг.)» (2003), нескольких учебно-методических пособий по русской литературе XVIII века, а также о жизни и творчестве А. Сумарокова.

в одном ряду с теми же Карамзиным, Державиным, с Фонвизиным, Крыловым, Жуковским, Батюшковым — с хрестоматийными авторами из школьной программы. Изучали его в гимназиях основательно и до самой революции регулярно переиздавали большими тиражами. К 100-летию со дня смерти поэта в Одессе даже вышла монография о нем объемом почти в тысячу страниц! Вообще, был он известен, и отзывались о нем с уважением и симпатией, хотя ставить на сцене перестали давно.

Выпущенная же в 1991 году увлекательно и популярно написанная книга М. Гордина об Озерове смогла возродить память о забытом классике лишь на тот срок, пока обсуждаются последние новинки. Многие ли сейчас способны ответить: кто такой этот Озеров? Разве что любители О. Мандельштама сообразят: это некто, заслуживший эффектную характеристику, вынесенную в заголовок нашей статьи. Да, пожалуй, внимательный читатель «Евгения Онегина» припомнит строки о театре:

Волшебный край! Там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил...

Почему поэт назвал восторги публики невольными? Пушкин не любил Озерова, не раз ругался из-за того со своим другом князем П. А. Вяземским, обладателем острого ума и тонкого вкуса. Признавая сильное воздействие трагедий Озерова на зрителя, Пушкин приписывал это внешним обстоятельствам, прежде всего игре младой Семеновой, исполнявшей все главные женские роли. Неодобрение Пушкина тоже повлияло на незавидную репутацию Озерова, но заслуженно ли? Можно ли поставить три хороших спектакля по бездарным пьесам так, чтобы они не сходили со сцены три десятилетия? Не стоит ли прислушаться к голосам князя Вяземского и других поклонников Озерова? Хотя бы в дни его печального юбилея...

Фигура писателя, сочинившего всего пять трагедий и несколько стихотворений, была для современников «культовой». По отношению к Озерову, его пьесам и к причинам его смерти судили о литературных пристрастиях.

Творческая судьба Озерова подобна классической трагедии, произведению того жанра, который его прославил и погубил. В наши дни не принято читать такого рода тексты целиком. Большинство довольствуется кратким их изложением. Не будем на этот раз противиться духу времени, да и как еще передать жизнь человеческую?! Итак, пять трагедий — пять актов...

Действие первое

В 1798 году Владислав Александрович Озеров поставил на столичном театре свою первую трагедию «Ярополк и Олег». С лучшими творениями французской Мельпомены ее равнять нельзя, но для дебюта это была добротной исполненной драма, достойная пера Я. Б. Княжнина, того самого, которого Пушкин прозвал переимчивым, а Озеров считал своим учителем. Пьеса «Ярополк и Олег» не прошла незамеченной: в ней усмотрели выпады против графа Кутайсова, временщика, фаворита императора Павла, и вскоре после премьеры ее сняли с репертуара.

Сочинитель по тем временам уже не считался юношей: ему шел 30-й год, он успел изведать и военную, и гражданскую службу, воевал с турками, преподавал в кадетском корпусе, состоял в Лесном департаменте и достиг генеральского чина! Какая блажь заставила опытного и высокопоставленного господина пуститься на театральное поприще, не слишком уважаемое в солидных кругах, да еще и с намеками на царского любимца в ту пору, когда это грозило нешуточными последствиями?

Обращение к стихотворству не было для Озерова случайным. Он учился в Сухопутном шляхетном корпусе, где в течение всего XVIII века литературным творчеством занимались не меньше, чем военной подготовкой. С тех пор как это заведение окончил первый русский драматург А. П. Сумароков и именно здесь разыграл свои первые пьесы, целое столетие с корпусом так или иначе связаны все главные деятели нашего театра, кроме Фонвизина. В годы, когда учился Озеров, здесь преподавал и упоминавшийся уже Княжнин. Воспитанники любили его как порядочного и чувствительного человека и гордились, что лучший тогдашний драматический писатель — их наставник; впечатляла и его внезапная смерть, окруженная слухами о преследованиях за политическое свободомыслие. Многие подражали ему и стали впоследствии литераторами. Уже в корпусе писал стихи и Озеров, но это была лишь пространная дилетантская забава.

Кадетский корпус при Екатерине II воспитывал не просто офицеров, а, по справедливому выражению императрицы, был рассадником великих людей. И. И. Бецкой, ведавший многими учебными заведениями, мечтал создать новую породу людей, благородных и просвещенных. Для этого мальчиков на 15 лет полностью изолировали от семьи и обучали по особой методе, в меру строго, в меру гуманно на лучших античных и иноземных образцах, вдали от предрассудков и пороков несовершенного мира, который нередко ужасал столкнувшихся с ним идеалистов-выпускников. Озеров по окончании корпуса, как многие из лучших воспитанников, остался там служить и не вернулся бы в пугающую его реальность, если бы она сама не вторглась в кадетскую идиллию: умер граф Ангальт, начальник, создавший в корпусе подобие утопического ордена, новый директор М. И. Кутузов переменял порядки...

Как во многих кадетах, в Озерове совмещались чувствительность и заносчивость, склонность к страстной дружбе, платонической любви и желание блеснуть в модных салонах. Он был идеалистом, страшился жизни и жаждал благородной, возвышенной славы героев Плутарха, презирая почести, которые куплены интригами, унижением, лестью, взятками у вельмож большого света. Театр открывал блестящие возможности: это целый мир, подвластный не законам жестокой реальности, а истинам, которые внушили ему наставники; здесь вкушают вожденную славу и высказывая собственные сокровенные чувства устами действующих лиц, и свершая вместе с ними подвиги возвышенной души, немислимые наяву. Первый опыт оказался не вполне удачен, но жребий был брошен.

Аристотель говорит, что в основе трагедии — роковая ошибка, которую герой совершает помимо воли и по незнанию, но потом ее уже нельзя исправить, чтобы избежать катастрофы. Таким шагом и стало решение Озерова посвятить себя драматургии.

Действие второе

В 1804 году состоялась премьера второй трагедии Озерова «Эдип в Афинах». Античные сюжеты появлялись на русской сцене редко, преимущественно в переводных пьесах и казались экзотическими. Это в наши дни слишком многие слышали про Эдипа, по крайней мере — о том, что у него был известный комплекс.

Озеров же по понятным причинам не читал Фрейда, до подсознательных стремлений героев доходил собственной интуицией, впечатляя тем современников, столь же простодушных, как и он. Не читал поэт, по-видимому, и Софокла, зато основательно ознакомился с творениями модного драматурга Дюсиса, забытого французами не менее прочно, чем нами Озеров. В подражание Дюсису за основу был избран сюжет не знаменитого «Эдипа-царя», а менее известной вещи Софокла — «Эдип в Колоне»: уже ослепивший себя в наказание за невольные грехи и изгнанный сыновьями, герой скитается, сопровождаемый любящей дочерью Антигоной, и обретает убежище в Афинах у царя Тезея, который чтит Эдипа, считая, что тот искупил страданиями вину, и потому не боится приютить его.

Действие ведут фигуры аллегорические — Тезей и Креон. Первый — мудр и порядочен, превыше всего ставит чистую совесть. Когда Креон склоняет его к войне против былых союзников, которые могут польститься на богатства Афин и напасть, Тезей отвечает:

Нет, страх твой за меня, Креон, есть страх напрасный!
 Нам замыслы царей союзных не опасны;
 Нас победить им мысль мечтаться не могла.
Креон. Но что удержит их, Тезей?
Тезей. Мои дела.

Действительно, невозмутимая убежденность Тезея в том, что всякий получает по заслугам и нельзя ради выгоды действовать против справедливости и милосердия, обезоруживает всех. Хотя все страшатся, что Эдип несет Афинам несчастья, а народ периодически требует изгнать странника, принести в жертву богам его дочь или его самого, каждый раз Тезей легко разубеждает толпу, которая покоряется его воле не из страха перед властителем, а из доверия к нему. Несколько раз обезоруживает Тезей и честолюбца Креона, который, мечтая о фиванском троне, убедил сыновей Эдипа изгнать отца, посеял между ними вражду; не найдя в Тезее союзника, вредит ему, похищает Эдипа, настраивает народ против его дочери, но все это легко пресекается великодушным афинским царем.

Слепой страдалец и верная Антигона психологически обрисованы более жизненно, зато они пассивны, беззащитны, покорны судьбе, лишь вознося жалобы на свои мучения и мольбы о скорейшем их прекращении. На упрек дочери, зачем он убеждает себя в том, что отвергнут землей и небом, Эдип отвечает: «Ах, я Эдип!», словно зная, что имя его обретет нарицательный смысл. Эта сентиментальная реплика потешала критика Белинского, который, впрочем, к Озерову был благосклоннее, чем ко многим, а к трагедии «Эдип в Афинах» питал явную симпатию.

И все же в конце, когда появляется преступный сын Эдипа Полиник, изгнанный братом и раскаявшийся, молящий прощения; когда народ требует пролития царской крови, чтобы умиловить разгневанных богинь мщения, — здесь уже всем приходится действовать. Во храме разыгрывается трогательная сцена: Антигона, Эдип и Полиник оспаривают друг у друга право стать искупительной жертвой.

Озеров готовил зрителям страшную развязку, но И. А. Дмитревский, престарелый прославленный актер, посоветовал изменить ее, покарать зло и прославить добродетель, как было принято в русских трагедиях XVIII века, чаще заканчивавшихся благополучно. Драматург, еще не избалованный успехом, решил уступить традициям: отец прощает сына, а небесный гром убивает злодея Креона, ибо именно его крови жаждали боги.

Скажут: примитивно, схематично, назидательно, мелодраматично, слезливо, оперные страсти... Быть может; но ведь в России не видели тогда таких трагедий, к которым привыкли мы, почти не знали Шекспира и считали его «пьяным дикарем» (так выразился Вольтер). В трагедиях XVIII века герои были прежде всего цари, а уж потом люди. Политический долг боролся в них с любовью, и — горе, если она побеждала. В героях Озерова впервые царское заслонено человеческим. Хотя о страдании и сострадании здесь беседуют правящий и изгнанный монарх, их родственники и вельможи, но говорят они так, что эти речи уже нельзя декламировать нараспев с завываниями и жестами античных статуй, как того требовали правила театральной игры. Поэт изменил актерскую манеру, упростив ее, сделал естественнее, искреннее — и оттого более разительной и волнующей.

Русский зритель наконец приобщился к шекспировским страданиям, правда, трактованным еще в том сентиментальном духе, в каком переделывал Шекспира все тот же Дюсис, но и эта прививка разбавленного шекспиризма таила источник мощного катарсиса. Эдип и Антигона у Озерова, пожалуй, ближе не к своим древним прототипам, а к королю Лиру и Корделии в «карамзинской» обрисовке:

Увы, родитель мой, гоним людьми, судьбою,
 Без помощи моей что б сделалось с тобою!
 Ты древнюю главу к кому бы преклонил?
 На чью, на чью бы грудь ты слезы уронил?
 Прохлады в жаркий день в моей ты ищешь тени;
 Я сяду, ты главу мне склонишь на колени;
 Среди густых лесов, в жестокость бурных зим,
 Ты согреваем мной, дыханием моим.
 Ах, свет, забывший нас, взаимно мы забудем
 И утешением один другому будем!

Подобные стихи способны тронуть душу и теперь. Читающий их забудет, что действие происходит в Греции, и представит себе дочь, которая согревает отца своим дыханием суровой русской зимой среди дремучих северных лесов. Возможно, то же воображали и при Озерове. Впрочем, тогда казалось, что наконец явилась на сцене подлинная античность с ее строгим величием и гармонией, с ее мудрым и жутким фатализмом. Именно такой предстала тогда Греция в поэзии Шиллера и Гёте. Настала эпоха ампира — моды на классические формы, за которыми скрыто сентиментальное содержание. Скоро вспомнят, что Аристотель считал целью трагедии катарсис — душевное очищение посредством ужаса и сострадания...

И зрители Озерова уже переживали бурный катарсис, хотя в трагедии погибал только злодей, но чувства публики все время были напряжены до предела. «Я не мог, — писал в дневнике современник, — хорошо запомнить стихов, потому что плакал, как и другие, и это случилось со мною в первый раз в жизни, потому что русская трагедия доселе к слезам не приучала». Это не единственное свидетельство: острота ощущений не проходила — «Эдип» не сходил со сцены до середины XIX века.

Мы редко плачем в театре, а если и плачем, то стыдимся своих слез, и едва ли прольем их над наивной трагедией Озерова. Между тем непреодолимая власть рока, выбор между выгодой, страхом и совестью, отношения отцов и детей, да и сами прославленные фигуры царя-скитальца и верной его спутницы — утратило ли все это свое значение и трагизм?

В 1804 году публика была в экстазе. В салоне президента Академии художеств А. Н. Оленина Озерова встречали как великого поэта, а ведь там собирались законо-

датели вкуса. Пьесу переписывали, заучивали наизусть, ее одобрил чувствительный император Александр I, щедро одарив актеров и сочинителя. И пусть довольны оказались не все, включая Державина, которому посвящена трагедия, успех окрылил Озерова, и он увереннее пустился по роковому пути служения Мельпомене.

Действие третье

Через год поставлена третья трагедия со странным для нас названием «Фингал». В те времена, впрочем, никто не видел здесь ничего неуместного и неприличного. Так звали главного героя поэмы Оссиана, мифического древнешотландского поэта, мода на которого держалась в Европе еще с 1760-х годов. Мы ведь сами недавно были свидетелями увлечений друидами, рунами, сагами, Мерлином, эльфами, так называемой «готикой» и вообще северной европейской псевдомифологией, перемешанной, адаптированной и переосмысленной в духе новейшей массовой культуры. Вот и сверстники Озерова переживали те же увлечения, только окрашенные в сентиментально-героические тона ампира.

Само обращение к оссианическому сюжету было слегка скандальным. Считалось, что такие темы уместны в опере, в балете, пригодны для эффектного зрелища, но для высокой трагедии немислимы: способны ли дикие нравы варваров сильно взволновать и уж тем более поучать просвещенного зрителя? Однако Озеров был уже уверен в своих силах, он не собирался оглядываться на догматы критиков, на старомодные вкусы. «Фингал» — самое искреннее и, если угодно, авангардное (для того времени, конечно) его творение. От него уже веет мрачным романтизмом, который пришел в литературу гораздо позже. Премьера принесла новый триумф и бурные споры. Все признавали очарование пьесы, но не могли понять, в чем оно. Привычные законы жанра нарушались, поэтому одни критики видели причину успеха в постановке и игре актеров, не учитывая того, что все театральные эффекты прописаны драматургом в тексте; другие хвалили стихи, но осуждали построение действия, не видя их глубокой и прочной связи.

Сюжет и правда прост: шотландский царь Фингал завоевал страну скандинавского царя Старна, в честном поединке убил его сына Тоскара, но полюбил дочь Старна Моину и отказался от своих завоеваний, посватался и получил согласие на брак. Итак, в начале пьесы бывший завоеватель вернулся в Локлин как жених. Старн же не может забыть о сыне и утешиться, ненавидит Фингала, мечтает отомстить ему, видя в том единственный смысл своей жизни. Он и на свадьбу согласился, чтоб легче осуществить свое намерение, и ожидает обрести в дочери помощницу. Оказывается, однако, что она отвечает убийце брата взаимностью и так влюблена, что даже не понимает мрачных намеков отца, который мысленно ее проклял. Молодая пара счастлива своей любовью и не подозревает о замыслах Старна, а ему для мести нужно обезоружить врага и изолировать его от верной дружины. Старн придумывает все новые уловки, на которые прямодушный гость поддается, а если упрямится, то его уговаривает уступить Моина: мечтая сблизить дорогих ей людей, она невольно помогает отцу. В финале, когда все складывается против Фингала и Старн бросается на него с мечом, Моина заслоняет собою возлюбленного и умирает от руки отца. Старн, исполнивший мечь, закаляется, Фингал же, желавший последовать его примеру, вспоминает о своей ответственности за поданных и остается жить и страдать.

Вместо положенных пяти актов в трагедии всего три, но чего только они не вместили! Действие сопровождалось музыкой знаменитого композитора Козловского,

автора тогдашнего гимна России на слова Державина («Гром победы, раздавайся!»). Оперные знаменитости в облике бардов и юных дев пели под аккомпанемент арф. Актеры уже научились читать стихи Озерова без аффектации, но с чувством. Их речи прерывались балетом, имитацией языческих обрядов, воинских состязаний и сражения. Сам Оленин, которому посвящено произведение, оформил сцену в оссианическом вкусе: здесь были и скалы, и храм Одена и могила юноши под мощным дубом, и отдаленное суровое море. Над сценой курился туман.

Скажут: это уж не только примитивно, схематично и т. д. (см. выше), а попросту — безвкусное гламурное шоу.

Не готов судить о том, чего не видел, но текст трагедии, по-моему, и сейчас не оставляет равнодушным, несмотря на архаичный слог. Конечно, в ней не стоит искать исторической достоверности. Моина рассказывает о себе не как дикая северянка II века, а как почитательница философии Ж.-Ж. Руссо:

В пустынной тишине, в лесах, среди свободы,
Мы возрастаем здесь как дочери природы,
И столько ж искренны, сколь искренна она.

В стихах Озерова есть более важное правдоподобие — психологическое, заставляющее сопереживать героям, речь которых чрезвычайно поэтична. Образ обманчивого моря, несущего то надежды, то гибель и изображенного на декорации, проходит через всю пьесу и сопоставляется с настроением персонажей. Вот Моина открывает сердце Фингалу:

Поверь, Моина здесь не менее Фингала
Терзалась мыслию, разлукою страдала.
Как часто с берегов или с высоких гор
Я в море синее мой простираю взор!
Там каждый вал вдали мне пеною своею
Казался парусом, надеждою моею,
Но, тяжело опустясь к глубокому песку,
По сердцу разливал мне мрачную тоску.

Неудивительно, что молодежь начала XIX века заучивала подобные строки, записывала их в альбомы, пользовалась ими, когда хотелось выразить собственные переживания, а слов не хватало. Сила любви, изображаемой Озеровым, непреодолима: Моину она заставила простить убийцу брата, а Фингала и вовсе преобразила. Он признается царевне:

<...> мыслью дик, любовь я ненавидал,
Считал ее мечтой и слабостью умов;
Как стужа наших зим, был дух во мне суров.
Твой взор переменял нрав дикий и суровый;
Он дал мне новую жизнь, дал сердцу чувства новы
И огонь, палящий огонь, пролив в моей крови,
Мне дал почувствовать страдания любви,
Уныние, тоску, отчаянье разлуки
И страх немилым быть, и ревности все муки.

Изведав любовь, благородный, но суровый воин обрел терпимость: он искренне сожалеет, что причинил горе Старну, с уважением вспоминая поверженного Тоскара, готов заменить будущему тестю сына, защищать его царство от врагов и выполнять его прихоти, хотя и считает их предрассудками. Не будучи сам способен на сознательное зло, он не предполагает коварства и в других. Так относится к окружающим и Моина.

Это рождает симпатию, уважение и жалость к благородным влюбленным, которые совершенно пассивны, лишь уступают напору Старна и обречены стать его жертвами. На этот раз Озеров не пощадил простодушных героев, и это возмутило многих современников, которые сочли такой финал безнравственным. На самом деле драматург не ратовал за зло и далек был от назидания, а просто выразил свое мрачное ощущение жестокости мира, где нередко счастье призрачно, а сильный и великодушный человек слеп и беспомощен.

Публика столкнулась с новым для нее, но очень понятным нам типом трагизма. Зритель с самого начала знает все намерения Старна и видит, что юные герои, ни о чем не догадываясь, неотвратимо стремятся к гибели. Это напоминает страшный сон: на глазах у тебя совершается несчастье, а ты бессилён помочь, даже предупредить. Поэтому, несмотря на событийную бедность, статичности, в которой упрекали Озерова, в «Фингале» нет. Здесь происходит внутреннее движение: напряжение зрителя возрастает, он ожидает, что вот-вот герои прозреют и спасутся, и все мучительнее становится неспособность вмешаться в их судьбу. Финал оказывается апофеозом не только страданий героев, но и ужаса и сострадания зрителя.

Особенно ранят двусмысленные реплики Старна, вынужденного скрывать свою ярость и говорить комплименты, но знающий о его замыслах зритель понимает зловещий подтекст любезностей, например, похвал дочери за послушание:

О дочь, принеся родителю отраду,
Получишь вскоре ты достойную награду,
И чувствам твоим готовлю я покой.

Нетрудно вообразить, насколько для Старна отрадна готовность Моины выйти за Фингала, какой награды он считает ее достойной и какой покой готовит ее чувствам!

Наиболее жутко от двусмысленностей делается, когда Старн приводит врага на могилу своего сына:

На холме мрачном сем, на камнях сих надгробных,
Провел течение я дней моих прискорбных;
И утро каждое, и каждый вечер дня
Встречали в роще сей стнящего меня.
Тоскара грустна тень со мною здесь стонала;
Она тебя, Фингал, к могиле призывала
От стран твоих отцов, из-за пучин морей.
Ты отдохни, о тень! от горести твоей
И боле не скорби Фингаловой победой!
Утешит вскорости тебя своей беседой
И радость принесет он сердцу моему.

Последние строки можно понимать двояко: Фингал произнесет достойное надгробное слово, чем утешит покойного и порадует его отца, либо скоро погибнет и станет собеседником Тоскара в ином мире, к удовольствию Старна.

Монологи Старна, однако, показывают, что он не обычный трагический злодей, охваченный врожденной ненавистью к окружающему миру. Причины его мести если и не извинительны, то понятны. Потеряв сына, он не может утешиться и простить тем, кто уже позабыл о несчастном юноше. Считая несправедливым удар судьбы, он не желает исцеляться от своей печали:

Печаль забыть? Сей дар,
 Один оставленный сердцам в несчастной доле!
 Без грусти я бы жить не мог на свете боле. <...>
 С ней прелесть нахожу я в бурях, в непогоде;
 Со мною говорят и ветров страшный рев,
 И моря грозный шум, и томный скрип дерев.
 Во всем мне слышатся сыновние стенанья.
 Я чувствую тогда тех камней содроганья,
 Под коими лежит Тоскара холодный прах;
 И он мне зрится сам со бледностью в чертах,
 На персях тяжкую указывая рану <...>

Старн глубоко страдает и безмерно одинок. Счастливые влюбленные, как нередко бывает, недостаточно чутки к чужому горю. Сила же ненависти неодолима, как и сила любви. Удивительно ли, что старый викинг, не слыхавший о заповеди «возлюбите врагов ваших», вкладывает всю душу в отмщение? Озеров намеренно ввел линию Тоскара, которой нет у Оссиана, и дал герою имя, созвучное русскому слову «тоска».

Старн виновен: он нарушил закон гостеприимства, о чем напоминает ему приближенный. Не зря Фингал обретает символическую защиту против Старна от самого Тоскара, за которого мстит отец: над могилой юноши по обычаю висит его оружие, и застигнутый врасплох Фингал хватает для обороны меч убитого им Тоскара. И все же Старн вызывает сострадание, несмотря на его жестокость и злобу. Быть может, Озеров первым в России написал пьесу не в поучение публике, а для того, чтобы люди ужаснулись злополучному трагизму бытия.

Действие четвертое

Из отзывов о «Фингале» ясно, что завороженная им публика не поняла ни замысла, ни цели нововведений; тех же, кто понял, раздражил отход от традиций. Законодатели искусства редко одобряют новаторов при жизни. Толпа же жаждет новых, но внешних эффектов. Почувствовал ли это Озеров или был слишком опьянен своим успехом? Возможно, он слишком верил в свои силы и надеялся изменить вкусы публики. Судьба же откладывала жестокую развязку и подарила поэту еще один, самый пышный триумф.

Четвертая трагедия «Димитрий Донской» в 1807 году была встречена всеобщим энтузиазмом: реплики героев то и дело прерывались овациями, зал периодически вставал, сборы были неслыханными, хотя спектакли шли ежедневно. Царь пригласил автора и исполнителей главных ролей в свою ложу и вручил каждому по драгоценному перстню. Внимание монарха понятно: произведение благонамеренное (из него вылетела крылатая строчка «Рука Всевышнего Отечество спасла»). Патриотизм одушевлял и публику: окончился военный поход в Европу против Наполеона, русская армия была разгромлена под Аустерлицем, а потом и в Пруссии. Это всех

потрясло, ведь почти сто лет наше войско не знало поражений. Общество жаждало отмщения, и пьеса о Куликовской битве как нельзя лучше отвечала его настроениям.

Сохраняя озеровскую манеру, эта трагедия традиционнее, чем «Фингал»: без хоров и балета, с борьбой между любовной страстью и патриотическим долгом, который торжествовал. Если бы снять по ней черно-белый фильм, то иные специалисты по антропологии соцреализма усмотрели бы там несомненные признаки китча сталинской эпохи, безвкусно стилизирующего Древнюю Русь. Многие, увы, наивно полагают, что победа общественного над личным — измышление советской идеологии! Впрочем, у Озерова так часто поминают божественное Провидение, что даже упомянутые культурологи со второго акта могли бы догадаться, что повеяло стариной.

Неуместная, быть может, аналогия «Дмитрия Донского» с драматургией середины XX века возникает еще и потому, что в обоих случаях конфликт в борьбе хорошего и лучшего, но не ищите у Озерова штампов «бесконфликтности» сталинского времени. Он сделал удивительное художественное открытие: трагические страсти могут кипеть не только при столкновении добродетели и порока, но и тогда, когда противоречат друг другу интересы вполне порядочных людей. В «Дмитрии Донском» нет злодеев, нет даже «плохих» персонажей; все имеют общую цель, уважают друг друга, каждый по-своему в чем-то прав, и дело едва не оборачивается катастрофой.

Озерову удалось добиться того, о чем безуспешно мечтали все предшествовавшие русские драматурги: он создал политическую трагедию об историческом событии, вызывающую патриотический подъем, при том, что интрига — сугубо любовная и персонажи проявляют себя в сфере частной жизни. Обычно в трагедии показывалось, к каким чудовищным последствиям приводит забвение долга во имя чувств, а Озеров вывел персонажей, которые наконец-то преодолели страсти и исполнили долг (впрочем, не предав своей любви). Прославляя такой выбор, поэт показал, что именно следование долгу, а не пренебрежение им и делает трагедию трагедией. Таков жестокий закон жизни: она требует в жертву достойнейших, и отказать ей нельзя. На этот раз, правда, автор пощадил влюбленных и устроил их союз, но добавил в финал горькую ноту: погиб оруженосец Дмитрия, воплощение верной и нежной дружбы. По воспоминаниям Вяземского, единственная фраза, которую запомнил Пушкин из не любимого им Озерова, — отчаянный возглас Дмитрия, озирающего после битвы сподвижников: «Я Бренского не вижу». Забавляясь, великий поэт даже прозвал одну из дам, за которыми ухаживал, Бренским и, не встречая ее на балу, уныло декламировал озеровский стих.

«Дмитрий Донской» не самая совершенная драма. Позднее многие потешались над ее историческим неправдоподобием: нижегородская княжна Ксения, невеста князя тверского, влюбленная в князя московского, в ночь накануне Куликовской битвы с одной лишь подружкой приезжает в военный стан. Эмансипация неожиданная не только для XIV века! Грибоедов написал целую пародийную пьесу «Дмитрий Дрянской», и можно предположить, каким остроумием она блистала, но это глумливое сочинение не дошло до нас, не перешагнуло порога своей эпохи, а трагедию Озерова всякий может прочесть...

Действие пятое

Поэту казалось, что он шествует к славе, но отпущенный на его долю успех был уже исчерпан. Озеров вышел в отставку, надеясь отдаться творчеству, но не получил пенсии, хотя имел заслуги и еще недавно царь ему покровительствовал. Чем он не угодил? История молчит. Публика оказалась не более благодарной, чем началь-

ство. Пятая трагедия «Поликсена» хоть и имела успех, но далеко не столь пышный, как предыдущая. Почему? Об этом спорили годами.

Одни говорили, что пьеса была слабее прежних. Другие считали, что, напротив, это лучшее творение писателя, но оно не было понято и оценено по достоинству. Третьи полагали, что Озеров публике надоел, новых эффектов он не изобретал, а к его манере в целом уже привыкли. Четвертые, соглашаясь, добавляли, что талант драматурга преувеличен, а прежний успех его случаен: мода прошла — зритель от него отвернулся. Пятые настаивали на том, что все дело в театральных интригах, в происках завистников, в соперничестве актрис Семеновской и Ежовой, в каких-то кознях покровителя последней, влиятельного князя Шаховского... Да мало ли можно выдвинуть гипотез о причинах неполного успеха пьесы?

Не будем множить их число. Разбор достоинств и недостатков «Поликсены» здесь не уместен. Важно другое: Озеров не был готов к охлаждению публики. После «Дмитрия Донского», даже несмотря на служебные неприятности, он ждал нового триумфа. Создавая «Поликсену», он, вероятно, стремился разработать античный сюжет по-своему, не делая уже уступок традиционным правилам. Он надеялся, что зрители поймут... Разочарование оказалось непосильным.

Жить в столице Озерову было уже не по средствам. Хоть был он генерал, но казенных денег не крал, хозяйством заниматься с юности был не приучен, да и драмами много заработать не успел, а когда театральная дирекция сократила гонорар из-за понижения сборов, то писателю стало так обидно, что он сгоряча забрал трагедию. Его не кинулись уговаривать, одуматься, и поэт впал в тяжелейшую депрессию. Жил он в бедном и глухом поместье и быстро сходил с ума. Сначала продолжал сочинять, был полон замыслов, но однажды в порыве отчаяния сжег все черновики. Не погибла ли в печке забытого Богом барского домика «среди густых лесов в суровость бурных зим» одна из лучших русских трагедий? Сюжеты, по свидетельствам современников, брались оригинальные. Так, Озеров задумывал трагедию о А. П. Волынском. В годы юности поэта еще живы были люди, помнившие заговор этого министра времен Анны Иоанновны и его казнь.

Отечественная война 1812 года, известия о пожаре Москвы не воодушевили Озерова, а повергли в ужас, ускорив болезнь. Душевный недуг перешел в телесную немощь, и четыре года спустя поэта не стало.

Он уже не узнал, что имя его стало козырем в литературных схватках. Романтики восхваляли его как вдохновенного творца, затравленного коварными и бездарными педантами. Те оправдывались, уверяя, что писателя погубили собственное тщеславие и своевольные фантазии. Но это был театральный разъезд. Занавес жизненной драмы уже опустился.

Это случилось 200 лет назад, а мы, кажется, не до конца еще прочувствовали и обдумали эту трагедию. Не пора ли припомнить ее?

Был один ученик в классе, где я преподавал литературу. Каждый раз на вопрос: не устроить ли нам спектакль к школьному вечеру — он с подкупающей серьезностью произносил: «Давайте поставим „Эдип в Афинах“». Все веселились, не исключая и меня, ставили, разумеется, что-то другое. А все же немного жаль... Может быть, не так уж и безумен был старик Крутицкий, предлагая возобновить Озерова. Не через день, конечно, и даже не через неделю, и не во всех театрах (теперь если пошла пьеса в одном, то жди, что скоро пойдет еще в четырех: скуден мировой репертуар, на всех не хватает!), не во всероссийском масштабе, не в рамках обязательной программы по возрождению национальных духовных ценностей. И все же...

Вообразите: приходите вы в какой-нибудь небольшой и очень экспериментальный театр, для любителей, так сказать, а там на сцене не металлическая кон-

струкция, а суровая скала над бурным морем, курится туман, звучит арфа, и вне-лет зритель, как Фингалу — не в рваных джинсах, а в блистающих доспехах, — до-верчиво Моина открывает не плоть, одеждой скрытую, а трепетное сердце. Не сор-вется ли с уст зрителя вслед за поэтом:

И для меня явление Озерова —
Последний луч трагической зари.

ПОРТРЕТ ПОЭТА

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

«В НЕБОСКРЕБНО-
БЕТОННОМ РАЮ —
ПТИЦЕЙ НА ВЕТКЕ
ТЕМНОЙ»

К 90-летию поэтессы
Валентины Синкевич

Название этих заметок — строчка из стихотворения Валентины Синкевич. В ней, как мне кажется, она сказала о себе предельно точно, хотя и с помощью метафоры. Она — птица, сидящая на «ветке темной» в «небоскребно-бетонном раю». Есть здесь отчуждение от окружающего благоустроенного, но чужого рая, в который она попала после адища войны и подневольной работы в Германии, но есть и еще кое-что, очень важное для понимания этой личности. Валентина Алексеевна Синкевич, поэтесса, эссеист, одна из немногих оставшихся в Америке представителей второй волны русской эмиграции, не равнодушна к природе. В стихотво-

Ирина Чайковская — автор рассказов, повестей и пьес. Критик и публицист, редактор интернет-журнала «Чайка». Родилась в Москве. По образованию педагог-филолог, кандидат наук. С 1992 года на Западе: сначала в Италии, с 2000 года — в Америке. Публиковалась в журналах «Вестник Европы», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Октябрь», «Вопросы литературы» (Россия), «Новый берег» (Дания), «Чайка», «Слово/Word», альманахах «Побережье», «Связь времен» (США). Автор книг: «Карнавал в Италии» (2007), «Любовь на треке» (2008), «Какие нынче времена» (2008), «Старый муж» (2010), «В ожидании чуда» (2010), «От Анконы до Бостона: мои уроки» (2011), «Ночной дилижанс» (2013), «Три женщины, три судьбы. Полина Виардо, Авдотья Панаева, Лиля Брик» (2014). Живет под Вашингтоном.

рении, мне посвященном, она сравнила меня с «птахом», летящим из каменного города в зелень сада. Вот и она — как этот птах. Сейчас, в свои почти 90, ей трудно двигаться, а так обычно она высаживает возле своего деревянного дома в черном районе Филадельфии грядку томатов и всякой другой зелени. Высаживала до последнего, до того, как практически перестала нормально ходить, да и руки начали отказывать.

Привечает она не только растения, но и всякую живность. Знаю, что таким был ее отец, не убивший в своей жизни даже мухи и передавший эту черту ей и ее старшей сестре Ирине. Отец прожил недолго, умер до войны, родом попович, юрист по образованию, после революции он из юриспруденции, ставшей ненужной или исключительно карательной, ушел в школьные учителя математики. Они с женой и двумя девочками оставили Киев (место, где Валя родилась) — там их знали как поповского сына и дочь генерала, а эти сословия подвергались уничтожению — и «забились в щель» в неприметном маленьком Остре.

Когда я собирала материалы о Марии Маркович, писательнице Марко Вовчок, в молодости ставшей чуть ли не классиком украинской литературы, в какой-то книжке прочитала, что она с мужем, украинским учителем, некоторое время жила в Остре. Помню, мы с Валею этому обстоятельству обрадовались обе, я, скорей всего, даже больше, чем она. Я ощутила, что этот почти былинный Остер был реальным городом, с другой стороны, в нем некогда жила неординарная личность, будущая писательница и близкая знакомая Тургенева — Мария Александровна Маркович. Сам Бог велел Вале провести детство в таком уже обжитом «украинским классиком» месте.

Отец Вали обладал красивым голосом — басом, в свое время окончил Киевскую консерваторию, знал много арий и пел их в ее скудном полуголодном детстве.

Не отсюда ли ее особое отношение к опере? А еще она говорила о нем, что он сказал своей семье, что если там, за гробом, что-то есть, он найдет способ оповестить их об этом. Пока, как свидетельствует дочь, не оповещал. Но ведь и жизнь ее еще не кончилась.

Мы с Валею очно друг с другом не знакомы. Встретиться пока не получилось, и не знаю, получится ли. Но я считаю ее самым близким другом здесь, в эмиграции, вдали от России. На протяжении многих лет наши телефонные разговоры были ежедневными и долгими. Обе отводили душу. Сейчас, когда на мне журнал, — а Валя знает, что это такое, так как сама почти 30 лет редактировала поэтический альманах «Встречи», — мы разговариваем реже. И звоню теперь чаще я, беспокоюсь, как она и что. Живет она одна с четырьмя своими кошками, собака Шерка, овчарка, когда-то спасенная Валею от бессердечных хозяев, погибла несколько лет назад. Погибла у нее на глазах, жутким образом...

Когда еще Валя была в силах, лет пять назад, она по ночам выходила со своими зверятами гулять. Впереди шли они с Шеркой — собаку хозяйка держала на поводке, а сзади гуськом двигались друг за другом шесть или семь кошек. Эх, не было рядом фотографа или кинооператора. Какую сцену они упустили! Даже представив ее со слов Вали, я начинаю смеяться. Смеемся обе. Валя любит посмеяться, у нее чудесное чувство юмора, но вообще-то она и «грозной» может быть, я это на себе испытала...

Продолжая разговор о Валиных «зверях», скажу еще вот что. Как-то в интервью она сформулировала важную для нее мысль, я ее потом поставила в заголовке: «Любая жизнь дороже произведения искусства». Я над этим все время размышляю. Все же в конце 1920-х — начале 1930-х в Советской России распродавали картины Эрмитажа, с тем чтобы на полученную валюту накормить страну, технически ее оснастить. Национальная галерея искусств в Вашингтоне наполнена эрмитажными шедеврами, купленными за большие деньги американским банкиром Меллоном.

«Мадонна Альба» Рафаэля, «Венера перед зеркалом» Тициана, Рембрандт, Рубенс, Ван Дейк, полотна великих, в XVIII веке собранные по всей Европе по поручению Екатерины Второй для эрмитажной коллекции, в XX перекочевали в музей Вашингтона.

Советское правительство получило необходимую валюту.

Я не уверена только, что была она потрачена на спасение жизней...

Тут еще вот какой поворот. Когда сегодня в потрясающей Вашингтонской галерее я стою перед рембрандтовским «Портретом польского дворянина» (1637), то в голову приходит, что в этой картине даже не одна жизнь, а несколько. Гениальный, чувствующий прилив сил 31-летний художник дал этому шляхтичу вторую жизнь, вернее, бессмертие, но и сам поделился с ним своей. В лице этого и сегодня узнаваемого типажа столько страдания и муки, несмотря на богатую шубу и цепочку, словно автор портрета, когда его писал, предчувствовал и вкладывал в полотно свою собственную судьбу: смерть Саскии, разорение, нищету.

А сколько вокруг этого поляка путешествий? Сначала он в лихое беспокойное время должен был достичь Голландии, потом попасть в мастерскую Рембрандта, а уже после законченный портрет проложил свой маршрут из Голландии — через Польшу (?) — в Россию, а оттуда в Америку. Разве это не жизнь? Не судьба? Хотя... все это можно назвать софистикой. Я хорошо понимаю Валу, готовую отдать любую картину, чтобы спасти от гибели живое существо. Хорошо понимаю.

Долгое время мы с Валей спорили, кто из нас первый начал знакомство. Она утверждала, что она — после моей статьи о Марине Цветаевой и Муре, опубликованной в «Новом журнале», — я считала, что я. Про ту статью она говорила, что не согласна с моим «оправданием» сына Марины, Мура. По ее мнению, оправдывать его не стоило, но она поняла, что мною руководит жалость к этому избалованному матерью мальчику, чья судьба была непоправимо искалечена сначала приездом в СССР, потом войной. И вот тут, — говорит Валя, — я вам и позвонила.

Я же помню другое. Начав печататься в «Новом журнале», я сразу обратила внимание на статьи и эссе некой Валентины Синкевич. Они выделялись интонацией — заинтересованной и добросердечной, даже простодушной, — а еще основательностью и доскональностью, при которых понимаешь, что автор все свои слова взвесил и проверил, ошибки у него быть не может. Что-то похожее я находила раньше в работах Лидии Корнеевны Чуковской, а затем ее дочери, Елены Цезаревны, Люши. Комментарии обеих с указаниями дат, имен и событий можно было считать образцовыми и не обращаться после них к справочникам...

Особенное впечатление произвела на меня статья Валентины Синкевич об американской паре Роберте и Сюзэн Масси, писателях, чьей темой была Россия. Автор статьи побывала у них в доме и взяла интервью, показавшее мне чрезвычайно интересным. Впоследствии Валя не раз вспоминала свое посещение этого семейства американских романистов, написавших (вместе? порознь?) несколько бестселлеров с русской тематикой, но как-то быстро потом разбежавшихся и вроде бы чего-то не поделивших друг с другом (славы?). Она вспоминает, что весь тогдашний разговор, обстановку в доме, все названия книг она восстанавливала по памяти.

Память у нее действительно очень цепкая и точная. Она, эта память, много хранит и далеко не все позволяет вытаскивать на поверхность. Впрочем, здесь дело не в памяти, а в самой Валентине Алексеевне. Мне кажется, некоторые вещи она не скажет даже под пыткой. Так, очень мало она говорит о своем раннем, еще в Германии, замужестве. Общие слова. Был он много ее старше, по профессии ана-

том и средней руки художник, какой-то маленький пост занимавший в дипийском¹ лагере, где они оба оказались сразу после войны, неустроенные, без определенного будущего. Думаю, что пленился этот человек Валиной юной прелестью и красотой (уже гораздо позже на Валю «положил глаз» Иосиф Бродский; даже судя по фотографиям, она долго оставалась очень хороша). Дипийский знакомец грозил: если не выйдешь за меня, покончу с собой. Деться, в сущности, было некуда. Двадцатилетней одинокой девушке — «перемещенному лицу» — ничего не светило. Валя сдалась, хотя потом всю жизнь об этом сожалела. Мужа не любила, а девочка, дочь, получилась на него похожей, внешне и внутренне. С мужем она расстанется уже в Америке, куда вместе с трехлетней Анютой вез их из Германии старенький пароход «Генерал Балу».

Чуть охотнее, но тоже далеко не все, рассказывает Валя о многолетнем своем друге, художнике Шаталове, отношения с которым были очень неровными, сложными; его тяжелое обожание, со вспышками ревности, депрессией, уходом в известную русскую болезнь, вольнолюбивой, гордой и чуткой душе выдержать было непросто.

К тому же в Вале проклюнулся поэт, который, как кажется, жил в ней с самого детства. Любовь к стихам продолжалась и в дальнейшем. Годы, проведенные в Германии, где Валя оказалась во время войны, в 15 лет отправленная семьей взамен старшей сестры с надеждой, что такого «заморыша» немцы отбракуют, в счет не идут. Там была тяжелейшая работа на выживание в домах немецких бюргеров. Зато потом, в дипийском лагере, когда война закончилась и чуть отпустило, страсть к чтению взяла свое. Валя жадно набросилась на издаваемые в послевоенной Германии книжки русских авторов. А потом везла их с собой на изводившем болтанкой пароходе. Согласитесь, не каждый возьмет с собой, отплывая в неизвестность, в непонятную Америку, среди вороха скудного барахла, кипу тоненьких, плохо сброшюрованных книжечек дипийских поэтов. Валя взяла.

В Америке пришел черед собственных стихотворных опытов. И вот странность! Володя (так звала она Шаталова) ревновал ее к стихам... В отличие от очень многих, он сразу увидел в ней поэта. А я думаю вот о чем: сомневающийся в своем даре Шаталов в некоторых работах представляется мне едва ли не гениальным. Таков его Гоголь, таковы Валины портреты, их, по ее словам, множество.

Впрочем, я сбилась с темы — продолжу о нашем с Валею знакомстве.

Несколько раз, когда к нам в Бостон приезжал Игорь Михалевич-Каплан, редактор альманаха «Побережье», я просила его передать привет Валентине Синкевич. Они с Валею живут в одном городе — Филадельфии, а в ту пору тесно общались.

Было это году эдак в 2005–2006-м. Пришел очередной годовой сборник «Побережья», я его открыла. Нашла свой рассказ, а прямо среди его текста, на развороте, целую страницу занимал замечательный портрет Валентины Синкевич работы Шаталова.

Это был не тот наиболее известный ее портрет, где черты несколько схематизированы, а другой — живой, на фоне чего-то весеннего и цветущего. Портрет, который мог написать только влюбленный в свою модель художник. Так совпало, что этот поразительный портрет прелестной женщины с узкими глазами (он сразу мне напомнил сиенских узкоглазых мадонн!) оказался в тесном соседстве с моим рассказом. Я решила, что это указание. Написала письмо, узнала у Игоря адрес, отправила. Впереди у Валентины Синкевич был 80-летний юбилей, вот с ним я ее и поздравляла.

Весь прошлый год Валентина Алексеевна занималась своим архивом, перебирала, перечитывала и систематизировала старые письма. За 10 лет нашего с ней

¹ Лагерь для перемещенных лиц.

знакомства, наверное, собралась небольшая кучка эпистол и от меня. Должна была найтись и та первая открытка, с которой я, тогда неизвестный ей человек, поздравляла ее с 80-летием и писала, как мне нравятся ее эссе и интервью (стихи Валентины Синкевич были мне в ту пору неизвестны).

Впрочем, когда она через некоторое время позвонила, выяснилось, что меня Валентина Синкевич тоже заметила — выделила среди авторов «Нового журнала». Мы говорили о Цветаевой, о ее судьбе, о ее сыне Георгии-Муре. Гораздо позже очень похожие на Валины мысли по поводу Мура высказывала мне тесно связанная с семьей Эфронов Руфь Борисовна Вальбе. В отрочестве она знала Георгия, наблюдала за ним, поражалась его легкомыслию и отсутствию желания помочь, например, больной тетушке, Елизавете Яковлевне Эфрон: ни разу не принес ей даже булки из магазина. На это я отвечала, исходя из мальчишеской психологии, изученной на примере собственного сына. Разве может мальчишка, к тому же сын поэта, да еще прибывший из Парижа, ходить с авоськой по магазинам? Да он скорее умрет, чем возьмет эту авоську в руки...

Вообще Валя очень хорошо понимает людей. Угадывает сердцевину и уже потом редко когда меняет свое мнение о человеке. Пройти у нее проверку нелегко. И поначалу мне казалось, что я ее не прохожу. Валя словно испытывала меня, поддевала, говорила что-то резкое, я обижалась, казалось, отношения прерваны навсегда... Потом она или я не выдерживали — следовал звонок. И после неловкой паузы или путаных объяснений мы продолжали прерванный разговор... Был он, как правило, о литературе, был занимал мою собеседницу мало, и когда я спрашивала ее о самочувствии и есть ли у нее еда, она от этих вопросов отмахивалась. Ее интересовали дела «на поприще бумажном», как в шутку называла она литературные будни, это словосочетание употреблял один из полуграфоманских поэтов, когда-то пытавшийся прибиться к ее «Встречам».

Не я одна замечала Валину начитанность, грамотность, знание малоизвестных поэтических имен, писательских судеб. В ее архиве переписка с критиком-русистом Владимиром Марковым, славистом Вольфгангом Казаком, она на равных общалась с профессорами-русистами Леонидом Ржевским, Иваном Елагиным, Борисом Филипповым, Вадимом Крейдом, Анатолием Либерманом! Выдержки из черновиков некоторых своих писем к ним она мне читала. Никакой робости в общении со «сливками» филологической науки у нее не было. То есть, возможно, она и была, но Валя ее преодолевала. В итоге оказывалось, что ее жизненные «университеты» наделили ее образованием, ничуть не уступавшим полученному ее адресатами в реальных заграничных университетах.

Ей, оказавшейся в Германии девчонкой, было не до учения. Откуда же в ней это достоинство, эта неплебейская повадка, эти знания? Насчет повадки — она, видимо, наследственная, от родителей. Но и все остальное берет начало там же — в семье. Хоть и скудным было их житье-бытье в Остре, родители заботились об образовании дочек. Образовывала и воспитывала сама атмосфера дома, культ книги. Вывезти книги из Киева родители не смогли. Но рядом в Остре жили бывшие соседи с богатой библиотекой, которую Ирина и Валя «осваивали». К своим пятнадцати Валя перечитала несметное число книг. Не будем забывать и последующего самообразования.

После полета первого советского спутника в 1957-м знание русского языка стало в Америке приветствоваться. Валю взяли на квалифицированную работу в Филадельфийскую библиотеку. В качестве библиографа заполняла карточки, отвечала на читательские звонки, а в промежутках в своем закутке и дома по вечерам

роскошествовала — читала книгу за книгой, впитывала новое, а заодно и совершенствовала свой английский. Знает она язык блестяще, хотя начала свою американскую одиссею не такой уж юной, в 24 года.

Вот тут нужно сказать, что, в отличие от очень многих наших соотечественников, Валя не только любит Америку, давшую ей кров в тяжелый час, но ценит и хорошо знает ее культуру. В молодости с рюкзаком за плечами, в котором лежали баночки с детским питанием — много ли нужно поэту? — путешествовала по всей стране, посещала заповедные места, давшие Америке и миру Вашингтона Ирвинга и Наталиелю Готорна, Генри Лонгфелло и Фенимора Купера, Эдгара По и Уолта Уитмена...

Знание английского пригодилось для подработки в больницах — ей как особо квалифицированному переводчику платили по высшей ставке, — а также для написания небольших рецензий и обзоров для американских журналов, где тоже платили хорошие деньги. Деньги были нужны, и Валентина, не ленясь, зарабатывала их для семьи, теперь уже не уборкой квартир и стоянием за кассой, как в первое время после приезда в Америку, а престижным и интересным для нее делом. А потом прибавилось и сотрудничество с ежедневной газетой «Новое русское слово», куда Валя регулярно направляла стихи, и редакторская работа над поэтическими альманахами «Перекрестки» (1977—1982) и «Встречи» (1983—2007).

Уже гораздо позже английский понадобится ей для преподавания. В Филадельфийской школе для взрослых в течение многих лет она будет вести курс русской литературы для американцев. Когда его вел старенький профессор-американец, был этот курс провальным, никто его не посещал, он не вызывал интереса. Кто-то посоветовал администрации взять взамен профессора Валию. И вот эта не кончавшая университетов женщина сделала лекции по русской литературе едва ли не самыми посещаемыми. Если не ошибаюсь, уступали они только лекциям по современной политике. Сколько интересных впечатлений приносили ей эти еженедельные занятия! Как поднимали дух, как веселили! Ученики под руководством Вали читали «Войну и мир» Толстого, «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, чеховские рассказы, повести Пушкина и Тургенева, а однажды даже «Тяжелый песок» Рыбакова.

Тут случилось непредвиденное. Несколько человек в Валиной группе отказались обсуждать этот текст из-за его еврейской темы. Респектабельный господин, который обычно возил ее на занятия, посещать уроки перестал. Валя выдержала столкновение с этими людьми, от книги не отказалась. Я поддерживала ее в сражении с антисемитизмом, пусть и не масштабным, единичным.

В этом смысле Валя — человек удивительный. В ее окружении люди разных национальностей и вер. Живет она в негритянском квартале, кстати, очень опасном, почти каждый вечер там стреляют... Валя с болью вспоминает про дискриминацию, которую еще застала; приехав в Америку, видела своими глазами эти надписи в автобусах и на сдаваемых домах: «Не для черных». И эти уроки не стерлись в ее памяти, как стерлись в сознании многих американцев. Когда мы с нею обсуждаем то тут, то там возникающие конфликты между белыми и черными, она неизменно учитывает то, что черная сторона «потерпевшая».

В самом начале нашего знакомства я несколько раз «обжигалась». Однажды, открыв для себя Маркиза де Кюстина, начала зачитывать по телефону наиболее интересные куски из него. Валя меня прервала и строго сказала, что больше слушать не намерена, и даже трубку бросила — так сильно ее ранило написанное французом. Она не хотела слушать его критику России. Я была обижена, но больше с Кюстином к ней не приставала.

Корни этого отношения я поняла позже.

Валя — патриотка. Все, что касается России, для нее горячо — обжигает, хорошее воспринимает с воодушевлением, плохое — с негодованием. Но плохого она больше находит в Америке, и когда я начинаю говорить о темных пятнах России, она меня урезонивает: «А что, в Америке все в порядке? Продают оружие чуть ли не младенцам, а те стреляют и попадают, иногда даже в своих матерей». Если я начинаю разговор о российском лидере, то Валя всегда встает на его защиту. Он, по ее мнению, помогает безумцам американцам выпутаться из тяжелых внешнеполитических ситуаций. Валю волнуют все мировые проблемы, расовые конфликты, приток беженцев в Европу. Она слушает известия и всегда первая доносит до меня американские, а часто и международные новости.

Валя из второй — военной — эмиграции. Это те советские люди, которые по каким-то причинам оказались во время войны на территории Германии: попали в плен, перебежали к врагу, были насильственно увезены с оккупированной территории. Она очутилась в Германии в юном возрасте и именно по этой третьей причине. Несмотря на хилость, девочку-подростка не отбраковали, на что был расчет, а отпустили работать на райх, то есть на жителей, желавших иметь даровую работницу.

Но во второй эмиграции, обосновавшейся после войны за пределами Советского Союза, — а это было великое рассеяние по всем странам и уголкам земли: Валина подруга Люся Оболенская-Флам, тогда Чернова, после войны попала с семьей аж в Марокко, — так вот, во второй эмиграции было достаточно и перебежчиков, и освобожденных союзниками военнопленных, и пособников нацистов. Многим из них не удалось избежать послевоенной депортации в Советский Союз — по предательскому Ялтинскому соглашению, заключенному Сталиным с Черчиллем и Рузвельтом. Вернувшиеся в СССР — как и предполагали наиболее прозорливые, всеми способами, вплоть до самоубийства, стремившиеся избежать возвращения, — оказались в советских сталинских лагерях, а кто-то был расстрелян. Валю и еще нескольких из будущего ее окружения, с которыми ей доведется работать в альманахе, судьба пощадила. Дряхлый и ревматичный, скрежещущий всеми своими суставами «Генерал Балу» увез группку «русских дипийцев» из Гамбурга и высадил на американском берегу.

Однако «шлейф» за ними тянулся, Советы на всех невернувшихся навесили ярлык предателей.

Долгое время их не знали и не печатали в России. Они жили крохами, попавшими в советскую печать, радовались статьям, где ненароком упоминались их имена. Как обрадовался Леонид Ржевский, профессор-славист, чья нью-йоркская литературная гостиная стала родной для Вали, когда встретил свою фамилию в советском журнале! И ему было неважно, что критик его уколел. Все равно была у него счастливая минута — на родине о нем вспомнили, пусть и недобрым словом!

А Елагин... Неоднократно слышала от Вали, как умирающий Иван Елагин, лежавший в доме у Шаталова, силился вспомнить, кто из больших советских режиссеров недавно похвалил его стихи! Валя, бывшая тут же, подсказала: «Ваня, это Любимов!» То был Юрий Петрович Любимов, приехавший на гастроли в Америку и в какой-то аудитории с одобрением упомянувший Елагина.

«Нас в России называли врагами, предателями», — это я часто слышала от Вали о второй эмиграции. В своей замечательной мемуарной книге «Мои встречи. Русская литература Америки» (Владивосток: Рубеж, 2010) Валя рассказала о своем поколении в общем и о своих собратях в частности. Судьба поколения — драматическая, многие прошли через фронт и лагерь, через подневольный труд. После

войны они по большей части сменили имя и фамилию, создали себе биографию-«легенду», чтобы не быть депортированными в СССР в качестве бывших советских граждан. В своей книге Валя раскрывает источник многих псевдонимов и реальные имена тех поэтов, что печатались в ее альманахе. ...Иван Елагин (Матвеев) взял себе псевдоним, увидев на стене фотографию Елагина моста, Ольга Анстей (Штейнберг, затем Матвеева) позаимствовала псевдоним у любимого с детства английского писателя Франка Анстея (Энсти?), Леонид Суражевский стал Л. Ржевским, так как родился подо Ржевом, Бориса Филиппова считали потомком «тех самых булочников Филипповых», на самом деле фамилию эту он «присвоил»... Валентина Синкевич прекрасно знала тех, кто печатался в ее «Встречах», по правде говоря, все осевшие в Америке поэты, пишущие на русском, помещали у нее стихи. Единственное исключение — Бродский.

Была она в год его приезда в Америку уже не так молода. Она рассказывала, что когда увидела его в первый раз, приехавшего к его переводчику Клайну в Bryn Mawr College под Филадельфией, был он рыжим, ярким, очень привлекательным, одет был по-молодежному в свитер. Клайн посадил его рядом с Валею, и весь вечер он говорил только с ней, игнорируя всех прочих, что Валею очень не нравилось. А потом не сам, а опять через того же Клайна, пригласил ее в ресторан. И Валя отказалась. До сих пор это составляет предмет ее гордости. Она рада, что не попала в донжуанский список Бродского. Мне это тоже приятно, я тоже горжусь, что Валя не стала одной из... в этом длинном реестре. Не сомневаюсь, что многие со мной не согласятся. Спорить не буду. Вопрос личного выбора. Спустя несколько лет, встретив Валею и быстро на нее взглянув, он сказал что-то типа: «Да, годы нас не красят». Сам он за это время облысел и потерял ту молодость, которая так понравилась Валею при первой встрече. Так что она, прямо на него глядя, ответила ему в тон: «Не красят, Иосиф Александрович!» Валя всегда умела отвечать.

Наиболее близкими к Валею поэтами второй эмиграции были Иван Елагин и Ольга Анстей. Сейчас Валя чудом отыскала их дочь Лилию (Елену), уже не очень молодую женщину, всю жизнь проработавшую медсестрой, но по-прежнему помнящую наизусть все стихи отца. Валя загорелась мыслью опубликовать собственные Лилины стихи в альманахе Раисы Резник «Связь времен» и взять у нее интервью об ее семье, о матери, с которой Лиля жила в Нью-Йорке после развода родителей. Ольга Анстей ушла от Елагина из-за любви к другому. Этот другой был белый офицер, «первоэмигрант», князь Владимир Кудашев. Был он женат, и союза у них с Ольгой не получилось. Но эта роковая, разбившая жизнь Ольги любовь родила цикл прекрасных, полных драматизма стихов. О романе Анстей и Кудашева знали немногие, среди этих немногих Валя. Ей верили, доверяли свои тайны, находили у нее сочувствие.

Наум Моисеевич Коржавин в разговорах со мной в разные годы называл Валею одинаково: «Хорошая женщина». Она и была всю жизнь хорошей, зорко видела чужие недостатки, но при этом ценила и выделяла достоинства, относилась к друзьям с любовью и пониманием. Про Елагина Валя неизменно говорит доброжелательно, любовно зовет его Ваня, а ведь было время, когда он два года с ней не разговаривал — обиделся. Обиделся как поэт, Валя опубликовала во «Встречах» его стихотворение с небольшим искажением. У Елагина было:

На всех перекрестках мира
Гуляет их солдатня,
На всех перекрестках мира
Они убивают меня.

Валя, получив стихи и не очень разобрав елагинский почерк, напечатала на своей старой машинке, а потом поместила во «Встречах» вместо «убивают» «распинают». Поэт возмутился. Он был недоволен его отождествлением с Христом. В наших с Валею разговорах я пыталась доказать, что «распинают» лучше, значительнее, чем «убивают», что сопоставление с Христом не вредит стихам, чему есть примеры, но Валя Елагина оправдывала. Она считала, что его непримиримость объяснялась влиянием очень религиозной Ольги Анстей. Та такого «кощунства» не могла допустить.

А умирал Елагин, еще не понимая, что это конец, в Филадельфии, в доме у своего друга, Владимира Шаталова. На стене перед ним висел портрет Гоголя, на нем Гоголь — как встревоженная, кем-то вспугнутая птица, о чем и написал поэт в своих стихах, посвященных другу-художнику:

И Гоголь тут — такой, как есть,
Извечный Гоголь, подлинный,
Как птица, насторожен весь,
Как птица, весь нахохленный.

Самое свое последнее стихотворение, прощальное четверостишие, Иван Елагин оставил ей, Вале, чтобы она опубликовала его во «Встречах» в случае его смерти — он еще надеялся на выздоровление. И она опубликовала. Выпуск «Встреч» за 1987 год начинался стихами:

Здесь чудо все: и люди, и земля,
И звездное шуршание мгновений.
И чудом только смерть назвать нельзя —
Нет в мире ничего обыкновенней.

Если продолжить тему друзей, то из старого круга, круга второй эмиграции, возле Вали остались только два человека. Это художник и эссеист Сергей Голлербах и радиожурналист, а ныне писательница Людмила Оболенская-Флам. Сергей Львович, живущий в Нью-Йорке, перезванивается с Валею каждый день, делится впечатлениями от проведенного им дня. Будучи на год старше Вали, он, однако, не потерял подвижности и, несмотря на слабое зрение, посещает многолюдные собрания с речами и угощением. Ни к тому, ни к другому Сергей Львович не утратил интереса, да и рассказывать о произнесенных им спичах и испробованных деликатесах умеет и любит. Прекрасный художник и эссеист, Сергей Голлербах вызывает восхищение окружающих не только своими работами, но и редким жизнелюбием и бодростью.

С Людмилой Оболенской-Флам мы ныне, после переезда в Большой Вашингтон, оказались соседями. Они с мужем живут в маленьком зеленом городке Гринбелт, вблизи американской столицы. «Она очень правильная», — говорит Валя о младшей подруге. Раньше, когда были моложе, они хоть и нечасто, но встречались: на вечерах, поэтических чтениях, устроенных «Новым журналом», сейчас их связывает только телефон, — и стоит ли добавлять, что в разговорах двух подруг прибавилось горечи, недугов, смертей...

Я поражаюсь Вале, она в свои почти 90 живет одна. К ней приходят для уборки простые женщины из Западной Украины, дальняя родственница раз в месяц привозит продукты, вот и вся помощь. Валя говорит, что хочет протянуть в одиноче-

стве столько, на сколько хватит сил. Перспектива, что кто-то для оказания помощи поселится в ее маленьком домике, ее пугает.

— Ируся, у меня нет места для еще одного человека. Потом кошки. Не все их любят. Я ведь к тому же еще работаю, у меня свой распорядок. И знаете, Ируся, не хочу, чтобы мною командовали. Я пока еще в своем уме и хочу жить по своей воле.

И правда, Валя живет по своей воле — работает, занимается тем, чем занималась всю вторую половину своей жизни, — пишет для журналов. Сейчас несколько журналов заказали ей статьи, их нужно написать к сроку. Распорядок у нее в самом деле свой. После гибели Шерки, которую — хочешь не хочешь — нужно было выводить в определенные часы, Валин распорядок стал напоминать «день Онегина». Спит она мало и в основном утром или днем. Ночь — для чтения и писания. Прошлой весной вдруг вновь стали слагаться стихи, которых давненько не было, началась, как я ее окрестила, «Филадельфийская весна». Стихи хлынули посреди архивных занятий — Валя разбирала скопившуюся за жизнь переписку. И вдруг... «Ируся, опять пришло стихотворение. Не хотите послушать?»

Неоднократно слышала: «Я, Ируся, с друзьями ссорилась не из-за себя, всегда защищала других». Это так, могу подтвердить. Валя выступает на защиту, не думая о том, что сохранение нейтралитета было бы для нее удобней, полезней, просто комфортней. Что ей Гекуба? Но нет, вступается, пытается помочь. Из-за этого возникает конфликт с тем, от кого защищает. Так однажды поссорилась из-за Евтушенко...

К Евгению Евтушенко у Вали отношение трепетное. Когда-то, в начале 1960-х, была она на его концерте в Нью-Йорке вместе с друзьями-поэтами. Приехали впятером, а поскольку зал был забит да и билеты стоили дорого, сидели на одном стуле по очереди — каждый по десять минут. Посреди вечера объявили тревогу, якобы в зале заложена бомба. Полиция, очистив помещение от людей, начала обыскивать зал. Бомбу не нашли. Вечер продолжился. Евтушенко был в ударе, читал отменно, как всегда, очень артистично. Одет был тоже, как всегда, во что-то яркое, даже пестрое.

Валя запомнила, как он в конце вечера, отвечая на вопросы, назвал двух известных ему живущих в Америке поэтов эмиграции — Ивана Елагина и князя Иоанна Шаховского, писавшего под псевдонимом Странник. В другой раз, на концерте в Филадельфии, вопрос ему задала уже она. Речь шла о ходившем в эмиграции по рукам анонимном стихотворении «Письмо из Парижа», где были строчки, обыгрывающие название сборника Георгия Адамовича «Одиночество и свобода»:

Георгий Викторович Адамович,
а вы свободны,
когда один?

Валя спросила Евтушенко, не он ли автор этих стихов. Поэт кивнул утвердительно и внимательно на нее посмотрел. Он ее запомнил. И даже посвятил ей стихи. Я их здесь приведу. Они называются «Филадельфийский портрет».

Евгений Евтушенко

ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ПОРТРЕТ

Вижу я, что была она так хороша,
а морщины, как ярусы ада,
через кои красавица Валя прошла,
о которых сегодня не надо.

Не хотел бы, а все-таки вижу насквозь
жизнь, где слышала ты «Швайн!» и «Сучка!»
Как «прелестно» тебе в двух фашизмах жилось,
генеральско-поповская внучка!

Комом слово Ди-Пи застрекает во рту.
Вижу,
сам безнадежно седеющ,
ту историю, что я нигде не прочту,
и весь ужас ее, и ее красоту
на лице Валентины Синкевич.

25 января 2005

И в свою антологию «Строфы века» Евтушенко ее включил. А Валя в годы, когда поэт был почти забыт на родине, жил в американской глубинке и далеко было до его нового героического рывка, написала о нем статью — с разбором стихов, с искренним восхищением. В тяжкий период свалившегося на Евгения Александровича тягучего несчастья-нездоровья Валя своими редкими, но целительными звонками в Талсу, думаю, очень ему помогала.

В Москве у Вали много если не близких друзей, то почитателей. Все они группируются вокруг Дома русского зарубежья, возглавляемого Виктором Москвинным, там Валу уже после перестройки несколько раз радушно принимали, там устраивали ее творческие вечера и делали посвященные ей выставки. Недавно Дом русского зарубежья выпустил невиданное издание — «Валентина Алексеевна Синкевич. Материалы к библиографии...». М., 2014. Книга мгновенно стала раритетом, так как вышла мизерным тиражом. Но с какой любовью и каким тщанием она составлена (составитель Г. Евдокимова, общая редакция и предисловие О. Коростелева, идея и руководство Т. Королькова)! Как издана, на какой бумаге, да еще и с указателем имен! Валя может гордиться этим уникальным изданием, где приведена роспись всех ее стихов и статей с 1977-го по 2007 год.

А я могу гордиться тем, что получила эту книгу от Вали одна из первых.

Расскажу о Валиных стихах.

Началом своего поэтического пути Валя обязана Якову Моисеевичу Цвибаку (литературный псевдоним — Андрей Седых), талантливому журналисту, в молодости — секретарю Ивана Бунина, издававшему в Нью-Йорке популярную ежедневную газету «Новое русское слово». Он первый увидел в Валентине Синкевич поэта, начал печатать, привлек к своей газете, она стала своей в редакции. Добавлю, что, ценя Валину поэзию, Яков Моисеевич, слывший с молодости бонвиваном, наверняка радовался и общению с привлекательной и умной молодой женщиной. В архиве хранится его письмо 1973 года к Роману Гулю, где он посылает на отзыв коллеге, издателю «Нового журнала», «книжечку очень талантливой поэтессы Валентины Синкевич». Он пишет: «Мне очень хочется, чтобы на нее обратили внимание, — нельзя же все Блок да Есенин...». В том же письме Яков Моисеевич просит Гуля напечатать в «НЖ» одно стихотворение Синкевич. Оно по стилю не подходит к тем трем, которые он собирается печатать в «Новом русском слове». Меня умилило, что, видимо, не слишком веря в то, что Гуль решится напечатать малоизвестную

поэтессу, Яков Моисеевич просит в этом случае прислать стихотворение назад, он его напечатает сам в другом номере своего журнала. Бесценный документ. Находка тогдашнего аспиранта из Йелля Яши Клоца была неожиданностью и для самой Вали. Она как бы получила привет от Якова Моисеевича из другого мира. Вспоминает она его всегда с благодарностью. И — кстати говоря — очищает его имя от домыслов. Яков Моисеевич Цвибак не только никогда не был выкрестом, как написал о нем один живущий в Америке литератор, но и утверждал в разговоре с Валей: «... быть евреем — судьба, и нередко тяжелая. Мы не любим тех, кто от нее уходит» (см.: Валентина Синкевич. Мои встречи. Русская лира Америки).

Если продолжить тянуть за ниточку письма Якова Цвибака к Роману Гулю, то надо сказать о двух моментах. Первый. В дальнейшем, после смерти Якова Моисеевича, Валя печаталась почти исключительно в «Новом журнале». Он, как и «Новое русское слово», стал для нее родным домом. При редакторе Вадиме Крейде и при Марине Адамович всем публикациям Валентины Синкевич в журнале давался зеленый свет. И второй момент. Валя любит помогать молодым, начинающим литераторам. Не счесть тех, кого Валентина Синкевич приветила и напечатала в своих «Встречах». Охвачены альманахом были практически все поэты зарубежья. А сколько было тех, кто у нее дебютировал!

Это сейчас Валентина Синкевич известна и ценима в зарубежье и в России. Сама она хорошо помнит то время, когда ее имя не упоминали в критических статьях, критики писали о ней и таких, как она, «и др.». В том, как она рассказывает об этом, как произносит «и др.», слышна горечь. Тогда поддержка читателей и критики была ей нужнее, чем сейчас.

Стихи приходят обычно в раннем возрасте. И хотя печататься Валя начала поздно, это не значит, что раньше у нее стихи не случались. Уверена — случались. Вот нашла сейчас в ее очерке «Впервые о себе», что стихи она пишет лет с десяти. Поэтическая система не придумывается, это органика, поэт пишет, «как он дышит», по слову Окуджавы. И когда говорят, что поэзия Валентины Синкевич «иностранная», что ее строфика взята у американских поэтов, мне это кажется шуткой. Есть ли у этих людей слух? Валины стихи, по-моему, намного ближе к народным стихам и песням, чем к иностранным образцам. Что до неровного ритма, не помещающегося в силлабо-тонические схемы, то дольник давно уже прижился в России. К тому же народный стих тоже часто не ровен и не обладает ритмической регулярностью.

Вот беру стихотворение из ее сборника 2004 года «На этой красивой и страшной земле». В нем как раз о «чужестранной ноте». Валя мне говорила, что со временем от бесконечного повторения, что ее стихи «нерусские», она сама стала находить эти ноты в своих стихах.

Что сказать о своем житье?
 Да, к небоскрегам привыкла.
 И даже в русском моем нытье
 чужестранная нота выпукла.
 Я чужбинную ноту пою —
 насквозь, надрывно и томно
 в небоскребно-бетонном раю —
 птицей на ветке темной.
 Так пою, что не знаю сама —
 где я? Откуда я?

Только пыль да ковыль,
на дорогу сума...
Эх, не сойти бы с ума,
в русский платок плечи кутая.

Привычка к небоскрегам не мешает ей сравнить себя с птицей на ветке. И поет она вовсе не «чужестранную ноту», а «чужбинную». И в ней, в этой чужбинной ноте, живет птичья бесприютность там, где для других рай. В этом раю, застроенном бетоном и закрывающем небо, человеку трудно понять — где он и откуда. Трудно? Тогда откуда взялись эти «пыль да ковыль», «на дорогу сума»? Это же все народные поэтические образы, это же все усвоено в русско-украинском детстве. Да, на чужой земле, в стране чужого языка и непривычных домов-небоскребов можно «сойти с ума». Но не даст, не даст сойти с ума этот вполне определенно названный «русский платок», эта полученная в детстве прививка русского языка, русской литературы и русской природы.

У этой поэтессы свое лицо, а какого она ранжира и ряда — неважно. Вот пишет сама, что не первого:

В тот первый ряд — нет, не иду,
другие за меня прильнут к светильам.
Тружусь я в одиноком, но в своем саду —
все остальное — не по силам.
Да этот первый ряд — каприз и спесь
в стихе развязном и убогом.
А я ведь яблоневый цвет и песнь
прошу у сада и у Бога.

Две последние строчки — первоклассные. *А я ведь яблоневый цвет и песнь / Прошу у сада и у Бога.* И опять она соединяет свое бытие с бытием природы. Теперь уже не с птичкой, а с яблоней.

Есть у Валентины Синкевич одно очень сильное стихотворение. Оно называется «Портрет» и, как мне кажется, имеет под собой вполне жизненную основу. Правильно сказал Некрасов — и его высказывание приложимо далеко не только к политике, но и к искусству: «Дело прочно, когда под ним струится кровь». Если произведение искусства имеет глубинную подоснову, если художник шифрует в нем какие-то важные для него, сокровенные мысли, то воздействие такого произведения на аудиторию возрастает неизмеримо. И это при том, что обычно единственного ключа к такому произведению нет, каждый сам его подбирает, вкладывая в прочитанное или увиденное свой смысл. Сказанное можно отнести к «Поэме без героя» Анны Ахматовой, к «Зеркалу» Андрея Тарковского. То же скажу и о «Портрете» Валентины Синкевич. Приведу это стихотворение целиком:

ПОРТРЕТ

Я насильно вдвинута в эту тяжелую раму.
Я красивым пятном вишу на стене.

Здесь я переживаю старинную драму —
в этой комнате, в этом городе, в этой стране.

Меня создал художник, списывая с нарядной дамы —
мертвой, только говорить и двигаться умела она.
А я живая. С понимающими и видящими глазами,
но на безмолвие и неподвижность обречена.

Кто дал ему право на это, дал живые тона и краски?
Знает ли он, как кровь моя кипит на холсте?
Он при мне обо мне говорил нелепые сказки
про любовь, про искусство, о недостижимой их высоте.

Все это бред. Сам художник не верил в это.
Был он жесток и лжив. Но умел творить чудеса.
Вот и создал меня. Я живу — которое лето!
Я смотрю на все. Не в состоянии закрыть глаза.

Я кляню его, ночью не давая ему покоя.
Он кошмарные видит сны, предо мной ощущая вину.
Я — его вдохновенье, двигаю его послушной рукою...
Все же он спит, а я никогда не усну.

Мне годами висеть в этой тяжелой раме.
Он умрет, а я еще долго буду жива,
сотворенная им в трепетной красочной гамме,
с неподвижной рукой, лежащей на кружевах.

Здесь на поверхности два героя — портрет и художник. Они в антагонистических отношениях. Если художник говорит про любовь, искусство и недостижимую их высоту, то портрет называет все это бредом и нелепыми сказками. Женщина на портрете не верит своему творцу, разочарована, видит его насквозь. Но при этом названный ею «жестоким и лживым» создатель портрета умеет творить чудеса, он создал чудо — живой женский портрет, которому суждено его пережить.

Чем вызвана такая сильная неприязнь портрета к тому, кто его создал? Не замешано ли тут третье лицо, а именно — нарядная дама, названная «мертвой», при том, что она умеет говорить и двигаться? И почему она «мертвая»? Не художник ли отнял у нее силы? Не вдохнул ли ее человеческую жизнь в свое творение, вдвинув живую душу в тяжелую раму? Кажется, что сложные взаимоотношения этих троих и составляют внутренний сюжет стихотворения и его загадку. Впрочем, повторю: у этих стихов нет единого ключа.

У Вали много о музыке и картинах. Любовь к музыке имеет начало в детстве. Родители музыку любили, отец пел, старшая сестра Ирина играла на фортепьяно, а Валя, младшая, пела под ее аккомпанемент. Что до живописи, то Валя всю жизнь была окружена художниками. Даже первый ее муж, будучи медиком-анатомом, занимался рисованием. Потом близким на долгие годы человеком стал для нее художник Владимир Шаталов. Вокруг нее и Шаталова группировались художники Сергей Бонгардт и Сергей Голлербах. Все трое — Шаталов, Бонгардт и Голлербах — «баловались» стихами и печатались в поэтическом альманахе «Встречи».

Уже давно я знаю, что Валина любимая картина — портрет Джиневры де Бенчи Леонардо да Винчи. Много раз она навещала ее в Национальной галерее в Вашингтоне, вглядывалась в ее черты. Есть легенда, что князья лихтенштейнские, прежние владельцы шедевра, продали его, чтобы прокормить оказавшихся после войны на территории княжества разбитые части Национальной русской армии вермахта. На самом деле два эти события никак не связаны между собой. Картина была продана не после войны, а много позже, в 1967 году.

Портрет Джиневры был известен мне по репродукциям. Флорентийка, поэтесса, гордая, холодная, с узкими глазами... Над головой — ветки можжевельника. Красива какой-то странной лунной красотой, серьезна, печальна, губы сомкнуты — нет и следа полуулыбки Джоконды. Но загадка, бесспорно, есть.

О чем она думает? Почему так грустна? Портрет бесценен, но известно, что американцы заплатили за него князю Лихтенштейну пять миллионов долларов. Считается, что сумма громадная. Всего-то пять миллионов за то, что не имеет цены.

Стихотворение «Ginevra de Benci» в Валином сборнике предшествует «Портрету»:

Слабые крылья твоей неулыбки
сложены: надежды на возвращение зыбки.
Круглое зеркало натюрмортной луны
ловит слухи, которыми полны
дом, и город, и палуба корабля.
Глаза глядят, будто бы земля
вписывается в темный мрамор колонн.
В ее неулыбке стон
кисти твоей, Мастер.

Хочется разгадать метафору: «крылья твоей неулыбки сложены». О чем это? Может, о том, что нельзя этой прекрасной даме птицей улететь в родные края? Ее привезли сюда, в чужую страну, в чужой город — и «надежды на возвращение зыбки»? В этом случае речь идет не о самой Джиневре, а именно о «портрете», совершившем свое путешествие из Италии в Лихтенштейн, а затем в Америку. Снова, как и в стихотворении «Портрет», мы имеем дело с ожившим — благодаря чудотворцу-художнику — произведением искусства.

Все четыре катрена стихотворения кончаются обращением к Мастеру. Но в первом есть обращение к самой Джиневре. Что-то очень личное спрятано в этих словах:

Не улыбайся, не плачь, будь достойной
красок, которыми спел тебя Мастер.

Не улыбайся, не плачь... Два года назад, приехав в Вашингтон, я сразу же отправилась в Национальную галерею искусств, а там первой картиной, к которой я устремилась, была она, Джиневра де Бенчи.

Светлая, златокудрая, спокойная, ушедшая в свои мысли мадонна с узкими глазами и губами без улыбки. Однако как похожа... Эта мысль пришла в голову внезапно. Я вдруг увидела, что эти два портрета чем-то похожи. Их типажи тянутся друг к другу через столетия. Две женщины-поэтессы, две гордые неулыбчивые красавицы... «Не улыбайся, не плачь, будь достойной / красок, которыми спел тебя Мастер».

Купленную в галерее репродукцию Джиневры в тот же вечер я отослала Вале.

РЕЦЕНЗИИ

Виталий Шабанов, Владимир Шемшученко. Мы родом из Грушинского. Книга стихотворений. — СПб.: Всерусский собор, 2015. — 288 с.

Песенный Грушинский фестиваль (Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина) имеет длинную историю. Исполнители и любители авторской песни ежегодно собираются под Самарой с 1968 года, численность участников и гостей в настоящее время составляет уже сотни тысяч. Виталий Шабанов и Владимир Шемшученко, стоявшие у истоков этого движения, ныне — состоявшиеся поэты, творчество которых выходит за рамки авторской песни. В. Шабанов, по его собственной характеристике — «по образу мысли я русский поэт», представлен в сборнике короткими, емкими, подчас резкими четверостишиями, отражающими его отношение к жизни: «Я себя не жалел никогда, в смысле драк, // Но к врагам и к друзьям был обычно лоялен, // Потому что всегда точно знал — сам дурак!.. // А любой из друзей и врагов уникален!» Его отношение к стране и тому, что в ней происходило и происходит: «Разрушена великая страна... // В героях ходят те, кто сделал это... // Они еще не знают, что она // Не оставляет подлость без ответа...» Отношение поэта к человеку: «Неконструктивна линия моя — // Прийти по ней мне не удастся к славе: // Всех и за все прощаю всеу я, // Кроме измены делу и державе». Для В. Шабанова, чья стихотворная подборка названа «Мне хотелось быть только собой», наступило время некоего подведения итогов, осознания, что в жизни «вторых попыток // Не бывает и не может быть!», отсюда — категоричность оценок. Характеризуя во вступительной статье творчество Владимира Шемшученко, Евгений Чепурных отмечает своеобразие этого поэта: раздумчивую, неторопливую, несуетную лиричность. И то же напряжение строки, остроту мысли, концентрацию образа и порой, всего в двух-трех строчках, щемящее чувство любви к родной земле, — особенности, характерные для таких поэтов XX века, как Николай Рубцов, Алексей Прасолов, Юрий Кузнецов. «Капельки васильков, // Искорки иванчая»; «В тени раakit купало лето // Кувшинки желтые в пруду»; «Здесь солнце на сосновых лапах // Качается, как в гамаке. // Здесь можжевельниковый запах // Живет в болтливом ручейке»; «Он (ветер) несет на руках кареглазую осень // И листву превращает в ковер-самолет», — В. Шемшученко свежо и остро чувствует дарованную нам красоту природы, по его мнению, без этого чувства нельзя называться поэтом. Для него близкой и родной является природа не только средней полосы России, но и края, где он родился и вырос: горечь полыни во рту, дурмящий запах ямшана, щемящий синеватый дымок кизяка, и мест, где ему приходилось жить и работать. У В. Шемшученко сложная судьба: он родился в Казахстане, в городе Караганде, работал в Заполярье, на Украине и в Казахстане, после развала СССР вынужден был переехать в Петербург. «Не то чтобы нас пригласили — // Скорее наоборот. // Но мы приезжаем в Россию // Из всех суверенных широт. // Нам стало вдали одиноко // И сделалась участь горька. // И с Запада, и с Востока // Течет человечья река. // Над мыслями нашими властвуй. // Пришли мы к тебе налегке...// Как сладко сказать тебе: «Здравствуй!» — // На русском своем языке». В. Шемшученко

сумел отобразить в своей лирике трагедию великого перелома — крушения большой единой страны. «Снятся мне по ночам человекособаки, // Что меня убивали у всех на глазах. // Снятся мне по ночам исык-кульские маки, // Прибалхашские степи да старый казах, // Тот, который не выдал толпе иноверца // И не смог на прощание вздоха сдержать...» И уже на новой малой родине увидеть очередной поворот межнациональных отношений: «И среднеазиатскому меньшинству // Дозволено на улицах кричать, // И „русскому невиданному свинству“ // Своих детишек в школах обучать. // А говорили — мы баранов съели, // И зверски распахали целину, // И с кровью кровь мешали, как хотели, // И (вай улляй!) ломились в чайхану. // Все так: как говорится, жили-были, // Варили в чугушке тупой топор...// А мы ведь их действительно любили, // И, как ни странно, любим до сих пор». Осознанно или нет, но В. Шемшученко демонстрирует в своих стихах лучшие качества русского народа: умение понять и простить, отделить значимое от временного и наносного. Так, не принимая происходящего на Украине, он не пылает ненавистью, а жалеет саму Украину, ее сыновей и дочерей. В. Шемшученко — поэт с высоким развитым чувством историзма, для него близки трагедии Карлага, раскулаченного деда и прошедшего фашистский концлагерь отца. Он остро воспринимает развал и унижение страны, ограбление народа. И в нем жива вера, что «империя не может умереть», так же как не умирает душа. У тонкого лирика и поэта высокого гражданского накала есть надежная база: чувство Родины, вера в Бога, любовь к семье, к женщине, жене, без поддержки которой «и стихи по земле разбредутся». И еще — любовь и уважение к золотому русскому слову. Самодостаточность поэта проявляется в независимости и четкости суждений, ясности превращенной в слово мысли, в истинно мужской твердости позиций при отсутствии агрессивности и надрыва. В одном из интервью, В. Шемшученко высказался так: «И еще — поэт не имеет права быть жестоким. Его стихи должны делать жизнь человеческую хоть чуть-чуть лучше. Но зачастую бывает с точностью до наоборот: прочитаешь поэта, и повеситься хочется. А этого быть не должно. Поэт должен демонстрировать волю к жизни, а не волю к смерти». Стихи В. Шемшученко и проникнуты волей и любовью к жизни.

Чайка — Seagull. Литературно-художественный альманах. Проза. Стихи.

Статьи. Эссе. Интервью // Редактор-составитель Ирина Чайковская. 2015, № 2.

Родина литературно-художественного альманаха «Чайка — Seagull» — США, Большой Вашингтон. Прародитель — журнал «Чайка», издававшийся там же с 2001 года на русском языке. История американского русскоязычного литературного альманаха «Чайка» как продолжение глобального культурного проекта только начинается. Во втором его номере собраны, по мнению составителя, писателя и критика Ирины Чайковской, лучшие материалы, опубликованные в интернет-журнале «ЧАЙКА» за вторую половину 2015 года. Авторы публикаций живут в разных странах, но говорят и пишут по-русски. В настоящем издании представлены 44 автора: из России и Америки, Италии и Англии, Франции и Германии, Израиля, Нидерландов, бывших советских республик Украины и Казахстана. Культурный проект обязывает. И на страницах журнала целая россыпь жемчужин, каждая из которых — драгоценная составляющая русской культуры. Это и очерк И. Чайковской «Юрий Три-

фонов. Отсвет личной драмы», речь в котором идет о повести Трифонова «Долгое прощание» и ее автобиографической основе, о фильме С. Урсуляка по этой повести. И беседа И. Чайковской с Ольгой Трифоновой-Тангян, дочерью Ю. Трифонова, где О. Трифонова-Тангян подробно рассказывает о личной жизни отца, о семейных конфликтах, о своей матери, дочери известного художника А. Нюренберга, и о своих дедушках и бабушках. И в продолжение темы — дневники художника Амшея Нюренберга, записи 1934—1940-х годов с предисловием его внучки. В. Маяковскому и его возлюбленным посвящено документальное расследование Самуила Кура «Владимир Маяковский. Муза и маузер», где отнюдь не светлым ангелом-хранителем поэта предстает Лиля Брик. И снова продолжение темы: эссе А. Валуженича «Где покоится прах Лили Брик». О последних днях М. Цветаевой повествует Ю. Зыслин, он в своей работе базируется на архивных материалах Вашингтонского музея русской поэзии, и в частности — на воспоминаниях хозяйки дома, последнего прибежища Цветаевой. О святой наших дней матери Марии, Елизавете Кузьминой-Караваевой пишет К. Кривошеина; о русских купцах-меценатах, двух Саввах, Морозове и Мамонтове — Л. Александер-Гарретт. Значимый биографический очерк И. Чайковской посвящен Науму Коржавину, одному из юбиляров, которых альманах поздравляет. Об одном из когда-то самых читаемых — и самых плодовитых — российских писателей Федоре Эмине (1735—1770) рассказывает Л. Бердников: плодом бурной фантазии Ф. Эмина стала сама его жизнь, существуют, по крайней мере, четыре варианта его биографии, и все экзотические. Художники Роберт Фальк и Казимир Малевич, не покорившийся Голливуду актер Михаил Чехов, ГОСЕТ Михоэлса и предвоенный его спектакль «Испанцы» по драме Лермонтова... Малоизвестные факты, неожиданные интерпретации и — главное — удивительная, лишенная всякой казенности интонация. Так открыто и откровенно говорят, рассказывают, беседуют только в кругу очень близких по духу людей. Та же интонация отличает и воспоминания живущего в Париже писателя и переводчика Никиты Кривошеина в публикуемых отрывках из книги «Дважды француз Советского Союза» (Нижний Новгород, 2014). Эта семейная история легла в основу фильма Р. Варнье «Восток—Запад», описана Солженицыным в «Красном колесе». Детство Н. Кривошеина (р. 1934) прошло в Париже, сначала мирном и благополучном, затем оккупированном немцами. Отец, герой Сопrotивления, выжил в Бухенвальде, в 1947 году по зову сердца вместе с семьей выехал в СССР, где в 1949 году его арестовали, а в 1957-м арестован был и сам Никита. В представленном отрывке рассказывается, как в 1952 году молодой человек со сложной анкетой (место рождения — Булонь; родители — из дворян; проживал за границей, имеет там родственников; близкие родственники сражались в белых армиях, были на оккупированных территориях, состояли под судом и следствием) поступал в московский вуз. Наталья Роскина в повести «Оборотни» с юмором рассказывает о Москве конца 1960-х годов, о своих мытарствах из-за долларов, полученных в подарок от приехавшего в Москву дяди, американского профессора. А художественная проза? В ней поднимаются вечные вопросы, волнующие людей вне зависимости от места проживания: любовь, смерть, преодоление болезней, оттенки чувств, отношения мужчины и женщины. Конечно, есть и эмигрантские зарисовки, и американские мотивы. А еще то, что нечасто встречается на страницах серьезных журналов и альманахов — «Детский альбом», где собраны произведения детей и для детей. И все-таки, как представляется, основным направлением альманаха является именно культуртрегерская миссия, нацеленная на распространение и сохранение русской культуры.

Саша Кругосветов. Птицы. М.: Интернациональный Союз писателей, 2015. — 187 с. — (Премия имени Владимира Гиляровского представляет публициста).

Писатель Саша Кругосветов более известен как автор популярной серии книг для детей и юношества о приключениях капитана Александра. Но за псевдонимом «Саша Кругосветов» скрывается крупный ученый, автор свыше сотни научных работ в области математики и электроники, чьи научные разработки — а их немало, 27 — внедрены в практику. Неудивительно, что в определенный момент писателю стало тесно в избранном им жанре, и он обратился к публицистике. В этой книге две части: «Время» и «Птицы». Время — это и обращение к прошлому, драгоценные свидетельства современника. Невский проспект в 60-е годы XX века и его обитатели — калейдоскоп красок, людей, настроений, невольно вызывающий ассоциации с гоголевским Невским проспектом. И модное место отдыха молодежи 70-х годов прошлого века Планерское, оно же Коктебель, где витала заразительная идея создания мускульного махолета, затронувшая и автора. Время — это и пригородный поселок Комарово 90-х годов с его уникальной аурой и великими обитателями, довольствующимися простенькими, дощатыми домами с допотопными отопительными котлами и находящими отраду в общении и удивительной природе. Рай на земле. А еще время — это 80-е годы XX века, то ли штиль, то ли затишье перед бурей. «Молодость, иллюзии, чудесные заблуждения» и искрометные шутки академической молодежи, еще верящей в перспективы своей страны, своей науки, своего будущего. Время всеобщего дефицита, когда все и вся приходилось «доставать». Но было и другое: «кроме неудобств советской империи, мы в полной мере использовали ее плюсы. Путешествовали за гроши. Тыкали пальцем в карту, садились на раздолбанный провинциальный автобус и ехали в какой-нибудь глухой поселок в горах Узбекистана, например. Приезжали, нас окружали красивые, загорелые, чумазные дети. Откуда вы, откуда вы? — кричали они и тянули к себе домой. Там нас встречали взрослые. Угощали чаем и сладостями. Полная свобода. Полная безопасность. Сейчас об этом можно только мечтать». В конце 80-х эта жизнь рухнула. Но для Кругосветова-ученого время — абстрактное понятие, придуманное человеком для сомнительного удобства отслеживания периодичности событий, и оно, по его убеждению, отнюдь не линейно. «Мы — властители времени, и сего дня, и прошлого, и будущего», — уверен он, а «управлять временем нам мешает слишком умный, слишком активный, слишком самоуверенный мозг. Поэтому лучше всего мы управляем временем во сне, когда мозг спит и не мешает нашему „я“ свободно плыть в реке времени» («Читая Борхеса»). У Кругосветова как ученого особый взгляд на «Естественно-научные парадоксы и нонсенсы в книгах Льюиса Кэрролла и Умберто Эко»: в серьезной филологической статье дается подробный разбор парадоксов и нонсенсов, оксюморонов и каламбуров, других понятий абсурда в чистой и прикладной логике, иллюстрированный цитатами из Кэрролла. У Кругосветова свой ответ и на вопрос, что же нового в книгах скромного священнослужителя, где тот давал отдых своему рассудку, своему здравому смыслу, где воспевал его величество «нонсенс» ради нонсенса, парадокс ради парадокса: «Как математик он понимал, что могут существовать системы, в которых „плюс“ становится „минусом“». И признавая иррациональность в математике, логике и словесности, Кэрролл становился легкомысленным, беспечным, «совершенно беспринципным и, как сейчас говорят, отвязным. ...Веселый задор математика». Делая скачок в начало XXI века, Кругосветов обращается к другому ученому и писателю, еще одному любите-

лю нонсенсов и парадоксов Умберто Эко и приводит в систему структуру Академии ненужных наук (Академии сравнительных ненужностей), по его мысли, изложенную У. Эко в «Маятнике Фуко», весьма сумбурно. Вторая часть книги, «Птицы», — отклики на актуальные события современности: «Пусси райот»; смерть Березовского, ставшего жертвой собственной гордыни; агрессивность СМИ; уроки Украины... И размышления о мире, в котором мы живем, — мире денег и материальной выгоды. И о неписаных законах России, где дилемма: либо жди без конца решения любого вопроса, либо «заинтересуй» — превращается в свободу выбора для каждого. И размышления: бывает ли абсолютная свобода и совместима ли она с безопасностью? Саша Кругосветов резко против насаждения «новой культуры» гомосексуализма. Он вполне толерантен: пусть делают что хотят на своих территориях, но не втягивают в свои игры здоровых людей, не готовят Содом и Гоморру для детей. «Консерватизма хочется. Традиционных ценностей. Забыли, что это? Семья. Дети. Мир. Доброта. Веротерпимость. Доброжелательность. Помощь друг другу. Милосердие. Честность. Любовь. И есть это в нашей жизни». Люди должны защищать себя, считает автор. И задается вопросом: не вправе ли «консерваторы и мракобесы» требовать толерантности от либеральных «модераторов»? «Либералы и модераторы. Проявите ко мне вашу хваленую толерантность. А если не хотите, может, вы и есть настоящие мракобесы». «Мракобес» и «консерватор» С. Кругосветов выступает как защитник традиционных ценностей. Свои публицистические заметки он дополняет промежуточными метафорическими зарисовками, в основе которых лежит сюжет знаменитой комедии Аристофана «Птицы». По мнению автора вступительной статьи к книге М. Замшева, «Кругосветов открыл новый жанр, который можно назвать „метафорической публицистикой“».

Евгений Костин. Понять Россию. Книга о свойствах русского ума: доказательство от литературы. СПб.: Алетейя, 2016. — 332 с.

В книге живущего в Вильнюсе доктора филологических наук, автора многочисленных работ по истории ставятся вопросы, не теряющие своей актуальности в последние столетия: почему Россия не Европа и нужно ли быть ею? Где корни глубинных ментальных различий между Россией и Западом в восприятии жизни? Какую роль играют склад русского ума, особенности русского религиозного сознания, бытовой психологии? И как эти ментальные различия обнаруживаются в культуре и более откровенно — в литературе? В своем анализе автор опирается на исходные формы «русского ума и психологии» (эпистему), глубоко запрятанные в самом русском языке. Так, русский язык ориентирован на познание, стремящееся не к ясности и определенности, а к сложнодвойственному, многосмысленному пониманию языка. Предпочтения в нем связаны с исключительно широко представленной эмоциональной и чувственной стороной восприятия мира, эмоциям уделяется гораздо больше внимания, чем, например, в английском. Свидетельство: разнообразные формы уменьшительных, ласкательных прилагательных с суффиксом «еньк». Ряд слов, выражающих ментальные свойства и состояния, просто не переводим в полном объеме и адекватно на другие языки: душа, тоска, правда, истина, воля, совесть, честь, грех... Русское языковое сознание неразрывно связано с национально определенным способом восприятия и отображения действительности, «русской художественной эпистемы», являющейся главным предметом интереса автора.

Эта эпистема, по мысли Е. Костина, характерна еще и тем, что чрезвычайно быстро восходит от простого, очевидного в восприятии мира к сложному, метафизическому. «Соединение светского и божественного, обыденного и возвышенного, земного и небесного — характерно для русского художественного сознания. От этого так легко в текстах развитой русской литературы совершается переход от публицистики к проповеди, от очерковости к сложной символической, происходит смешение жанров, смыкание разных смысловых пластов. Это все то, что неизменно раздражало западных критиков русской литературы, которые искали, но не находили похожести на свои тексты, обнаруживали всякого рода неправильности, несуразности, композиционные и иные нестыковки, что собственно и составляет своеобразие и прелесть русской литературы в художественном отношении». На многочисленных примерах автор доказывает, что в русской культуре соотношение субъекта и мира имеет отличный от западного варианта характер. В книгу включены работы разных лет, в неожиданных ракурсах и параллелях представлены художественные и философские миры Ф. Достоевского и М. Шолохова, Ф. Тютчева и И. Бродского, А. Пушкина, Л. Толстого, М. Булгакова, И. Бунина, А. Платонова. Один из разделов, «О трагической неупорядоченности бытия», посвящен трагизму, присущему русской цивилизации. «Этот трагизм неотделим от прямого и честного взгляда на реальность и никогда не успокоится на каких-либо легковесных версиях бытия, которые можно обнаружить в других культурах. Такой трагизм дал в явлениях Достоевского, Толстого, Шолохова примеры мирового уровня осознания трагических конфликтов в действительности». При рассмотрении разных аспектов уникальной русской литературы и культуры взгляд исследователя всегда направлен на главные смыслы этой литературы, на поиск в русской литературе не только красот в художественном, эстетическом смысле, но прежде всего отражения моральной и интеллектуальной стороны существования целого народа, создавшего поразительно богатый и неповторимый во всей мировой палитре язык. Подробно рассмотрены и теоретические построения М. Фуко и М. Хайдеггера, М. Бахтина и А. Лосева. С. Аверинцева и Л. Карсавина. В последний раздел книги «Розановское. Заметки о современном» включены высказывания автора по актуальным вопросам жизни современной России и о современном состоянии культуры в духе Василия Розанова. Так, размышляя о характере русских в сравнении с европейцами, Е. Костин пишет: «Русские, по сути, не умеют ненавидеть, — даже немцев после Второй мировой войны они простили за очень короткий срок, когда кровь на полях брани еще не высохла и города еще не были отстроены... Россию не и простили, по существу, — даже не за ее победу в последней войне, которая (победа) была психологически невыносима для мессианского западного сознания, а именно за „забывчивость“, за прощение. Запад хорошо усвоил уроки Достоевского — новая волна неприятия к России как раз обнаружили на их европейской (англосаксонской) площадке отторжения, раздражительности — этим русским великодушием, прощением в историческом разрезе». Сознывая, что под воздействием процессов глобализации и появления иных форм передачи информации многое меняется в душе и состоянии русского народа, автор тем не менее убежден, что наше великое прошлое и наша культура, удержавшие русское общество от распада во времена ментальных и мировоззренческих сломов 90-х годов, способны определить и будущее России. «Русский народ должен знать, для чего он живет. Не для копейки только, не для услаждения живота своего. Россия должна понимать, что у нее всегда должна быть сверхцель в некотором планетарном масштабе. Об этом вся наша культура, вся наша ментальная природа, заставляющая жить по правде, а не корысти ради. Но не стоит убеждать кого-либо в благотворности и правильности подоб-

ного рода идей, для себя самих необходимо это делать, а там, вполне вероятно, это станет притягательным и для других народов и государств».

Судебный отчет по делу антисоветского правотроцкистского блока.

С предисловием Николая Старикова. СПб.: Питер, 2015. — 448 с.: ил. — (Серия «Николай Стариков рекомендует прочитать»).

Стенограммы судебных отчетов состоявшихся в 1936–1938 годах больших, открытых процессов над высшими деятелями ВКП(б) сразу же по окончании процессов публиковались в СССР стотысячным тиражом. В 50-е годы прошлого века они стали библиографической редкостью: большинство книг было уничтожено при Хрущеве. Отсюда — масса недомолвок, сомнений, версий, предположений. В том числе версия, что дела эти сфабрикованы по воле Сталина. По третьему процессу (март 1938), по делу антисоветского правотроцкистского блока проходил 21 человек. Основные обвиняемые: Н. Бухарин, один из виднейших большевиков, личный друг Сталина, называвший его на «ты» и «Коба», главный партийный идеолог газеты «Правда», в разное время занимал множество высоких должностей; А. Рыков — один из старейших членов ЦК партии, член Политбюро, с 1918 года он руководил Высшим советом народного хозяйства, был председателем Совнаркома СССР и РСФСР, наркомом связи; руководитель НКВД Г. Ягода, возглавивший органы за четыре месяца до убийства Кирова; Х. Раковский — болгарин по национальности, активный участник революционных движений в России, Болгарии и Румынии, после революции — Председатель Временного рабоче-крестьянского правительства Украины, глава ЧК Украины, в 1923 году — полпред (посол) в Англии, потом во Франции. И еще немало крупных советских деятелей, занимавших высокие посты, имевших и немалые организационные таланты, и большие возможности влиять на экономическую и политическую жизнь страны. Обвиняемым инкриминировалось то, что они «по заданию разведок враждебных к Советскому Союзу иностранных государств составили заговорщическую группу под названием „правотроцкистский блок“, поставившую своей целью шпионаж в пользу иностранных государств, вредительство, диверсии, террор, подрыв военной мощи СССР, провокацию военного нападения этих государств на СССР, расчленение СССР и отрыв от него Украины, Белоруссии, Средне-Азиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана, Приморья на Дальнем Востоке — в пользу упомянутых иностранных государств, наконец, свержение в СССР существующего социалистического общественного и государственного строя и восстановление капитализма, восстановление власти буржуазии». Среди обвиняемых были также и секретарь Горького (и сотрудник ОГПУ) П. Крючков, врачи Л. Левин, И. Казаков, Д. Плетнев, им вменялось в вину доведение до смерти «путем применения неправильных методов лечения» Максима Горького и его сына, а также В. Куйбышева и В. Менжинского. Стенограммы многочасовых допросов дают представление о характерах обвиняемых, мотивах их действий, их связях между собой и с тем, кто стоял за многими событиями — Л. Троцким. У каждого из обвиняемых своя длинная биография, она и время, в которое они жили, проясняют логику их поступков: террор и диверсии являлись привычными методами борьбы с дореволюционных времен; всевозможные блоки и союзы были традиционной практикой партийной жизни (яркий пример — Брестский мир, о котором речь идет на процессе); связи с зарубежными

разведками в период проживания до революции за границей рассматривались как естественный источник финансирования для нелегальной борьбы с царизмом, — эти связи никогда не прерывались и позже. Для захвата власти все средства были хороши, в том числе и передача Украины — немцам, Приморья — японцам, Белоруссии — полякам, Узбекистана — англичанам. В обмен на «инвестиции» и за поддержку в свержении Советской власти. Вот одно из признаний Г. Ягоды: «Одно обстоятельство, происшедшее в начале 1933 года, внесло серьезные коррективы в наш план. Я говорю о приходе к власти в Германии фашистов. Если до этого времени основная установка правых зиждилась на идее „дворцового переворота“ собственными силами, то, начиная с 1933 года, была взята ориентация на фашистскую организацию. ...Когда речь шла о так называемом „дворцовом перевороте“, то имелось в виду арестовать, свергнуть руководство Советской власти, партии и, свергнув Советскую власть, восстановить капиталистические отношения в стране, — то, чего Бухарин в течение его допроса не имел смелости заявить ясно и точно. Ставили ли мы задачу свержения Советской власти? Я на этот вопрос отвечаю положительно. Какой общественный политический строй мы восстановили бы в стране после свержения Советской власти? Я и на этот вопрос отвечаю прямо — капиталистический строй». Другие времена, другие нравы, масса поразительных деталей — и немало параллелей с днем сегодняшним. В борьбе элит, в борьбе идей, в борьбе амбиций обвиняемые проиграли еще и потому, что, по их собственному признанию, несмотря на попытки организовать массовые выступления в стране, поддержки со стороны населения не нашли. Большинство подсудимых приговорили к расстрелу. Крестинский, Икрамов, Ходжаев, Зеленский реабилитированы в 1963 году, после XXII съезда КПСС. Остальные осужденные на Третьем Московском процессе, кроме Ягоды, реабилитированы в 1988 году, так как «в связи с грубыми нарушениями закона на предварительном следствии и в процессе судебного разбирательства показания обвиняемых не могут быть положены в основу вывода об их виновности. Других же достоверных доказательств совершения ими особо опасных государственных преступлений в деле не содержится». Но показания так красноречивы...

Владимир Марков. Тюркский след в истории Украины X—XVII веков.

СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2016. — 382 с.

Со времени гуннского вторжения в Северное Причерноморье в 370-е годы более тысячи лет предки современных украинцев находились в близком соседстве с тюркскими кочевниками, что не могло не оставить след в их языке, культуре и облике. Например, «Чорни брови, кари очи», воспетые в этнографических украинских песнях. Владимир Марков, вслед за другим историком Украины П. Толочко, полагает, что это несомненный результат участия тюркоязычных племен в формировании южнорусского этноса. И сегодня современные украинцы не только иногда выглядят как типичные представители тюркских народов, но, не подозревая об этом, употребляют тюркские слова, живут в населенных пунктах с тюркскими названиями, носят тюркские фамилии. Возможно, что и название Киев имеет тюркско-хазарскую этимологию. В своей работе В. Марков обобщает сведения о тюркском присутствии на территории современной Украины. Среди источников и археологические данные, и антропологические характеристики, и русские летописи, западноевропейские и византийские хроники, труды мусульманских историков и путешественни-

ков. Кажется, исследователь не пропустил ни одно свидетельство современников далеких событий. Библиография к этой работе занимает более ста страниц. Уже в эпоху Великого переселения народов миграционные потоки проходили через территорию северных причерноморских земель, Приднепровья, шли далее в Европу, в Паннонию — на Балканы, территорию современных Венгрии, Восточной Австрии, Словакии. Гунны, авары, хазары, волжские булгары, печенеги сменяли друг друга. В IX веке печенеги значительно потеснили славянские племена тиверцов и уличей, пришедших на земли Северного Причерноморья одновременно с гуннами. Со второй половины XI века в Северном Причерноморье утвердились половцы. Этнические общности смешивались, модифицировались, взаимопроникали, не прекращались ассимиляционные процессы. Появлялись государственные образования: Хазарский каганат, Русский каганат, древнерусское Киевское княжество. Древнерусские князья и феодалы охотно привлекали на службу тюркских кочевников (они же «черные клобуки»), этот союз нашел отражение в летописи: «вся земля Роуская и черные клобуци». Новый этап в истории Северного Причерноморья начался с приходом монгольских завоевателей, попавших в древнерусские, европейские и восточные хроники под именем «татар», хотя татары были всего лишь одним из кочевых народов, покоренных монголами. Владычеству Золотой Орды положил конец Тимур: в конце 1380-х годов он уничтожил все ордынские города на территории современной Украины. Упадок Орды довершили повальный мор и падеж скота, ордынские междоусобицы. Тюркские кочевники переходили к оседлости, охотно переселялись в Литву, Польшу, Киевщину, к румийцам и русским. В. Марков очень конкретен. Поэтапно, по территориям он рассматривает «смену декораций»: экономическая, хозяйственная, военная деятельность племен и народов, их союзы и переходящие в вооруженные столкновения конфликты. Прослеживает перемещения этнических сообществ и групп, причины, их вызывавшие. Подвергает разбору сложные государственно-политические, военные, дипломатические хитросплетения, многолетние и краткосрочные коалиции и их распад, поведение ведущих «игроков» на «северочерноморском поле», сложные конфигурации, где союзники и враги менялись ролями. И если во времена Золотой Орды на этом «поле» играли литовцы, поляки, крымские и заволжские татары, венгры, турки, ордынцы, русские княжества, то в XVI—XVII веках конфигурация изменилась немного, все те же Речь Посполита (объединявшая Литву и Польшу), Крым, Турция, Московия (по версии автора, не самый главный игрок на северопричерноморской арене). И именно среди этих сильных соседей искали покровителей, как в калейдоскопе, сменявшие друг друга главы Войска Запорожского, Гетманщины. Не прояснен один вопрос. Автор пишет: «Опустевшие лесостепные пространства правого и левого берегов Днепра опять начали постепенно заселяться украинцами в последних десятилетиях XVI века, когда натиск крымских набегов существенно ослаб. А уже в первой половине XVII века украинская колонизация буквально захлестнула эти территории, сопровождаясь здесь бурным ростом численности населения. Все это вызвало небывалый подъем пассионарности, получивший выход в феномене запорожского казачества и в череде массовых антипольских восстаний. Эти восстания, за редкими исключениями, заканчивались поражениями, однако украинцы, несмотря на понесенные потери, поднимали их вновь и вновь. По сути, прежние золотоордынские владения в украинской лесостепи по обе стороны Днепра стали территорией консолидации молодого украинского этноса. Апогеем этого процесса стало восстание Богдана Хмельницкого, в результате которого появилось самостоятельное украинское государство, известное в историографии как „Гетманщина“». Но кем же были эти украинцы, откуда они пришли? Впрочем, в задачу В. Маркова входило просле-

дять именно тюркский след в истории Украины. И его он обнаруживает всюду. Золотоордынские некрополи в Полтавской и Сумской областях, на острове Хортица в Запорожской области, в окрестностях Харькова. Археологические, не всегда исследованные объекты золотоордынского периода в степи и лесостепи Днестра и Дона. Городища в Приднепровье. Названия городов и сел. Вооружение, военное дело, государственные символы, одежда, прически, еда. Один из разделов книги посвящен тюркскому влиянию на поляков, литовцев, запорожских козаков. В 1579 году польский король Стефан Баторий писал крымскому хану, что запорожские козаки — это «сброд из всяких народов... и притом часто сами турки и татары к ним присоединяются». В объемных приложениях приводятся украинские тюркизмы, отсутствующие в русском языке, украинские топонимы и фамилии восточного происхождения с необходимыми пояснениями.

Публикация подготовлена
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ

*Редакция благодарит за предоставленные книги
Санкт-Петербургский Дом книги (Дом Зингера)
(Санкт-Петербург, Невский пр., 28, т. 448-23-55, www.spbdk.ru)*

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ГРАД ИУДОВ В ГОРНЕЙ

Часть 4

1983 год — год трагических событий

4 января ночью неизвестные совершили поджог газовых баллонов в трапезной Горней обители с целью взрыва. 8 января в Горненский монастырь прибыл Патриарх Иерусалимский Диодор, которого сопровождал архимандрит Пантелеимон¹. Патриарх Диодор осмотрел место, где были подожжены газовые баллоны. Он выразил протест официальным лицам Израиля по поводу преступного акта, который имел место в Горней обители².

Из записок инокини Наталии (1983 г.): «К нам очень хорошо, можно сказать, относятся. Вот, верите ли, обитель совсем без ограды — никогда никаких неприятностей. Только на прогулку к нам приходят, потому что у нас Горний — как диковинный сад и сюда приходят как в дом отдыха»³. Эти строки были написаны незадолго до убийства горненских сестер Варвары и Вероники...

19 мая 1983 года в монастыре произошло трагическое событие, встревожившее сердца верующих: были зверски убиты две монахини — Варвара и Вероника (Васипенко), мать с дочерью. Они несли послушание в Горненской обители с 1967 года, отличались в труде и молитве. Утром 20 мая сестры, обеспокоенные их отсутствием на службе в храме, обнаружили их бездыханные тела, распростертые на полу, в крови, в их келиях. Медицинская экспертиза установила, что кончина наступила около девяти часов вечера 19 мая от нескольких ножевых ран⁴.

Была вызвана полиция. К вечеру на место происшествия прибыл главный медэксперт из Тель-Авива доктор Блок, который засвидетельствовал, что это было убийство. Затем трупы были взяты на медэкспертизу. Вечером в миссию стали поступать

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Архимандрит Пантелеимон (Долганов). 16 февраля 1976 года назначен в сане игумена членом РДМ в Иерусалиме. 16 июля 1982 года назначен начальником РДМ в Иерусалиме с возведением в сан архимандрита. Впоследствии — митрополит Ярославский и Ростовский.

² Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 178.

³ Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983—1989 гг.). СПб., 1996. С. 21.

⁴ Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме). // Духовная нива. М., 2000. С. 26.

звонки от разных людей с соболезнованиями (мэр Назарета, секретарь общества дружбы Израиль—СССР и другие)⁵.

Из записок инокини Наталии (1983 г.): «У нас жестоко (ножами) убили двух сестер (маму — около 70 лет и дочь — 43 года) монахиню Варвару и монахиню Веронику. Кто это сделал неизвестно, полиция поднята на ноги. Их нашли на пороге собственного домика.

Они уже прожили в Горнем 23 года. В истории монастыря это первый такой случай. Конечно, на все воля Божия — это была спелая пшеница, чистая жертва за наши грехи. Это были удивительно добродетельные и настоящие мамы. У матери Варвары всегда была улыбка на устах, и никто не мог вспомнить от нее неласкового слова, а м. Вероника была знающий регент, в совершенстве знала устав, прошла все монастырские послушания и во всех была искусна. Они еще так нужны были обителю, как добродетельный стержень. Несмотря на свою болезненность, они с мамой неопустительно посещали службы. Мы успели узнать и полюбить их. Для всех сестер их мученическая кончина явилась потрясением.

На отпевании присутствовали представители всех Церквей из разных монастырей из разных стран, служило 5 владык (и греческие, и из Парижа, и румынские) — все пришли по своему христианскому долгу попрощаться с мученицами. Литургия, погребение и отпевание превратились в большой торжественный христианский праздник. Их хорошо знали и полюбили за добрую христианскую жизнь и провожали со слезами, Первое тяжелое впечатление прошло. Мы духом не пали. Горний монастырь теперь стал кровным, родным, своим. Поминайте наших мучениц и за нас молитесь, чтобы Господь привел к покаянию и сознанию своих грехов»⁶.

Мученицы на Святой Земле

*Посвящается светлой памяти
убиенных горненских сестер*

Предисловие

В Горнем окончилась воскресная служба. Сестры после трапезы, дожидаясь друг друга, по длинным каменным ступеням поспешили вниз на кладбище. Здесь среди других могил сразу приковывает взор одна большая. Над могилой два белых креста, на них надписи: «Монахиня Варвара, погибшая от руки убийцы 19 мая 1983 года. Монахиня Вероника...» На могилке теплится лампада, посажены чьей-то заботливой рукой цветы. Шелестят маслины, здесь особенно тихо.

Запели панихиду; лица у всех сестер задумчивые, каждая в своем сердце вспоминает матушек, молится о них, с надеждой ждет и от них молитвенной помощи. Кто-то из сестер начал с ними свой иноческий подвиг, кто-то совсем недолго знал их. И тем и другим одинаково дорога сейчас память о погибших сестрах. Тот свет добродетели, которым были наделены эти мамы еще при жизни и который едва еще угадывался в них, теперь Господь выявил и поставил на свещнице — да светит всем. Изгладилось из памяти все случайное, человеческое, остался ясный путь от труда к добродетели, от добродетели к большому труду над собой, который увенчался мученическим подвигом. Это не случайная трагическая смерть, о которой нам иногда приходится слышать, нет! — Это назначенный непостижимым Божественным промыслом достойный конец потрудившихся на претруд-

⁵ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012, С. 178.

⁶ Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983—1989 гг.). СПб., 1996. С. 26—27.

ном монашеском пути. Вот из таких сестринских воспоминаний и составлено это повествование о двух избранницах Божиих, удостоившихся мученического венца в наши дни. Пусть оно послужит добрым примером и укрепит души спасающихся в наше трудное время... Нет, не оскудел еще преподобный!...⁷

1. Из рассказов матушки схимницы, начавшей свой монашеский путь вместе с почившими сестрами в Рижском женском монастыре

Перед самой войной повенчалась Евфросиния (мирское имя монахини Варвары) со своим мужем Платоном. Не успели они прожить и года, как он был взят на фронт, а вскоре пришла и похоронная. Так, родившаяся девочка, которую тоже назвали Евфросиния, почти не знала своего отца. Жили они с дедушкой Петром, отцом старшей Евфросинии. «Мама, у тебя есть папа, — говорила маленькая Фрося, — а у меня нет. Это тоже мой папа!» — и стала так звать дедушку. Он очень любил свою внучку.

На долю молодой вдовы выпали тяжелые скорби: парализованный отец (три года лежал), маленькое дитя и военный голод. «Сходишь, пуд картошки купишь, — рассказывала Евфросиния, — да и не знаешь кому: то ли больному отцу, то ли дитяти». Евфросинию всегда отмечала особая благоговейность и религиозность, она хотела еще девушкой пойти в монастырь, но жизнь сложилась иначе. Несмотря на свою молодость и красоту, молодая вдова ни о чем, кроме Господа, не помышляла. Перед смертью отец Евфросинии сказал: «Фрося, будь ближе к церкви.» «А как же девочка?» — спросила она. — «И девочка тоже пусть будет при церкви», — такое отцовское благословение было для дочери и внучки.

Когда дом их (в Смоленской области) значительно обветшал, то мать задумала поехать к родственникам и поискать новое местожительства. Вместо нужного билета предложили билет в Ригу. Усмотрев в этом волю Божию, Евфросиния размышляла: «у меня там тоже есть родственники», но особенно ее привлекал монастырь. Оставив 16-летнюю дочь дома, она приехала в Ригу и сразу стала проситься в монастырь. Просила у игумении сразу и за себя и за дочь, на что матушка сказала: «Что же ты, привези свою дочь, какая она у тебя? Может и не захочет в монастырь...» — так довольно холодно приняла ее игумения.

Проработав в Пустыньке некоторое время на скотном дворе, Евфросиния в такой неопределенности уезжает домой. Зато за свой усердный труд и тихий нрав она понравилась старшей матери Евгении в Пустыньке, которая, посоветовавшись лишь с батюшкой, решает на смелый поступок — своей рукой пишет письмо Евфросинии: «Приезжайте, матушка игумения берет вас в монастырь». Надо ли говорить, как обрадовалась Евфросиния, получив такое известие. Но она не хотела неволить свою дочь и сказала ей: «Фрося, вот выбирай, как ты хочешь жить. Хочешь — поезжай в город, избирай путь, как наши родные, иди учиться..., а хочешь — поезжай со мной в монастырь.» Когда она говорила эти слова, сердце ее болело, она понимала, что если девочка не захочет в монастырь, то ей придется остаться в миру. «Мама, а там есть такие молодые девочки, как я?» — спросила непосредственная дочка. Евфросиния задумалась, вспомнила, что есть Маня помоложе других сестер. — «Есть.» — «Тогда поеду с тобой в монастырь». Быстро собрались, продали дом и приехали в Ригу. Когда они появились в Пустыньке, тогда мать Евгения (по письму которой они приехали) пошла к игумении, упала ей в ноги и стала просить прощения за свое самоуправство: «Матушка, прости, я одна во всем виновата, их не вини!» На этот раз матушка не возражала: «Ну что ж, раз приехали, пусть и остаются.»

Семнадцатый год шел молодой Фросе, когда она переступила порог монастыря. Рассказывают, что на ней был даже детский фартучек с киской на кармашке, коса ниже талии, светлая, густая. Полюбилась девочке монастырская жизнь. Жили они в Пустыньке, на природе. Во всех послушаниях Фрося отличалась бы-

⁷ Там же. С. 27–28.

стротой и усердием. Среди сестер действительно оказалась одна (чуть постарше ее) молодая сестра Маня. С ней Фрося стала неразлучна. По-детски наивная и искренняя, она спрашивала у Мани: «Вот мы пока вместе, и потом так и будем вместе?» Маня смотрит в ее голубые доверчивые глаза — что ей ответить на это? — «Да, так и будем вместе». Знала ли Маня, что их ждет далекий Иерусалим, Святая земля; знала ли, что домики их там будут рядом? Могла ли знать, что в один из дней она первая найдет мать с дочерью в домике, омытыми своею кровью? Нет, тогда все это было сокрыто от двух жизнерадостных и трудолюбивых послушниц. Вот пасут они коров в субботу. Тут на поле бежит матушка-уставщица: «Фрося, Маня, загоняйте скорее коров, ты будешь канон читать, ты будешь канонаршить». Так по очереди каждое воскресенье то одна, то другая читали канон и канонаршили. Около 2-х лет прожили мать с дочерью в монастыре, как нечто новое вошло в их жизнь.

Святейший Патриарх Алексей I матушку игумению Тавифу (так горячо любимую рижскими сестрами) благословил ехать в Иерусалим настоятельницей Горненской обители. Матушка было пробовала сослаться на нездоровье, но Святейший сказал: «Матушка, надо ехать.» — «Благословите», — был ответ послушания. С собой матушке предлагалось выбрать 5 сестер и даже на 2 побольше, в случае, если кто «отсеется» по болезни. В число выбранных сестер вошли две Евфросинии и Маня. Фрося очень боялась, что ее в Иерусалим не возьмут по молодости. Однажды прибежала напуганная: «Маня, у меня чирей на руке вскочил, наверное, не пройду в Иерусалим!..» Чудны промыслительные пути Божии. Поговорили про Иерусалим, поговорили, да и забыли.

Вот как-то раз сестры спешили перед дождем убрать сено. Подъехала игуменская машина. Обычно все сестры подбегают к матушке, но в этот раз дело неотложное: надо сено убирать, спешат, бегают с граблями по полю. Вдруг слышат голос: «Маня, Фрося, собирайтесь, вы через 2 часа уезжайте в Иерусалим». Такое нашло на Маню состояние, что она никак в ум не придет, что же ей с собой надо взять. Ходит по келье взад-вперед, подойдет к чемодану, откроет, закроет, потом опять откроет. Кое-как собрались. Все сестры плачут, прощаются со своей любимой матушкой игуменией. Она старается их утешить: «Не печальтесь, сестры милые, я там только годочек проживу, потом приеду, возьму у Патриарха благословение, всех вас посажу в один большой самолет и перевезу в Горний». Сама говорит «не плачьте» и прячет от сестер свои слезы — трудно расставаться с родной обителью, с такими родными духовными сестрами. Что там ждет впереди?

Доехали до Москвы, потом недельная задержка. В это время они жили в Переделкине. Матушка Тавифа была строгой духовной жизни, не хотела рассеиваться поездками, с нею считались, и все они спокойно прожили эти дни безвыездно, только в храм ходили. Потом самолетом до Вены, дальше до Афин. Здесь они катались по Эгейскому морю, ходили по эллинской земле.

В Иерусалиме матушку ждали в один день, а она приехала на следующий. По обычаю, всех вновь приезжающих, матушку Тавифу и с нею прибывших сестер водили по Святым местам Иерусалима, возили к пещерному храму Ильи Пророка, в Тиверию, Вифлеем и наконец в Горний. «Когда вошли в Горненский храм, — рассказывала сама мать Варвара, — пели «Печерскую» Херувимскую, сердце так и растаяло, появились слезы, будто мы всегда здесь жили». Так благоговейно и радостно восприняла ее душа благословенную Богом новую обитель⁸.

2. Из рассказов горненских сестер и самих почивших матушек

Горненская обитель находится в 8 км от Иерусалима. Горы Палестины вообще отличается необыкновенная плавность и мягкость линий, а в Эйн-Кареме (на-

⁸ Там же. С. 28–30.

звание поселка рядом с Горним) особенно красивый ландшафт. Здесь горы сгрудились, столпились одна за другой, образуя множество волнистых линий, плавно отступая к линии горизонта и поднимаясь к самому небу. Одна из гор — та, куда со тщанием спешила Мария — Горнее место, где произошло целование пресвятой Девы с праведной Елисаветой и где родилась славная песнь: «Величит душа моя Господа». Это — родина святого Иоанна Предтечи, это место пребывания в гостях у родственниц три месяца Матери Божией. Среди гор раскинулась живописная долина, в нее плавно с горы спускаются домики Горненской обители. Здесь особенно густая растительность, много кустарников, деревьев, цветов. Сейчас кажется они всегда здесь росли, но на самом деле это плод многих трудов горненских матушек, которые на себе с нижнего источника в гору носили воду, чтобы полить посаженное деревце. Каждая матушка около своего домика должна была растить деревья, а сейчас эти кипарисы-великаны уже не нуждаются в поливке. Их корни на десятки метров уходят вглубь почвы, пронизывая даже камни, и находят себе влагу от прошедших зимой дождей. Как обычные деревья, растут гранаты, маслины, миндаль, смоковницы, утешая сестер плодами. В зеленых кущах поют необычайные птицы. По окраске и самим голосам они не похожи на русских пташек, хотя также прекрасно славят Творца всякой твари. Зимой здесь не увидишь снега — идут дожди. В это время зеленеет трава, и одни за другими начинают цвести цветы. Первыми появляются подснежники. В России метет метель, а здесь в декабре цветут белые подснежники. Природа отмечена благодатью, особой привлекательностью именно в этом месте. Все посещающие Горненскую обитель паломники с удивлением замечают это. Домики в Горнем сделаны из толстого камня, ни один не похож на другой. Все затейливо лепятся к горе, имея одну сторону высокую, другую пониже. Издали видно Горненскую остроглавую розовую колокольню, чуть ниже стоит храм в честь Казанской Божией Матери. На горе возвышается недостроенный величественный собор. Таким нам рисуется Горний, таким его знают и любят сестры.

Мать Варвара и мать Вероника жили наверху горы, можно сказать на окраине Горнего. Когда приехали новенькие сестры, и их поселили в соседний домик, то сколько заботы и внимания оказали им добродетельные дочь и мать: принесли необходимые вещи, продукты, советовали, как лучше устроить жилье. Да, они помнили, как трудно начинать жизнь в новом и неустроенном домике. Когда приехали мать Варвара и Вероника, это был четвертый приезд из России. Стареньких матушек было много, а вот молодых не хватало даже на необходимые послушания. Мать и дочь бывали вместе на послушаниях: вместе на участке, вместе в миссии на кухне. Приехала на Святую Землю Фрося в связочке, ее по молодости оставили послушницей. Вот моет она посуду в миссии, а у окошка соберутся местные ребятишки и с удивлением смотрят на такую светлолицую девушку — пришлось сделать занавеску, чтобы не смущали юную послушницу.

Какую бы работу ни делала Фрося, всегда была очень старательна и усердна. И часто было видно, что Господь богато одарил ее своими дарованиями. Так накрыть трапезу и украсить стол могла только Вероника. (В рясофор Фросю постригли в России в Рижском монастыре с наречением имени Георгия, а мать в мантию с именем Варвара. Позднее в Горнем Георгия была пострижена в мантию и названа Вероника, в честь той Святой, которая отерла пот с лица страждущего Господа и приняла Нерукотворенный образ. В Иерусалиме помнят место, где это случилось).

Много трудов легло на их плечи. В монастырской больничке доживали свой век немощные старенькие матушки. Вероника и там была усердна. Старшую сестру в больнице ласково бранила: «Зачем ты сама поднимаешь больных? — Давай я буду поднимать», и спешит опередить ее. Еще она очень жалела и любила животных и кормила не только птиц, кошек и собак, но и диких зверушек, предлагая им на выбор, что тем придется по вкусу.

Если бы не тяжелые болезни, из-за которых Варваре с Вероникой даже пришлось оставить на некоторое время Святую Землю, ничего не могло им помешать неопустительно посещать храм божий. Свет по утрам загорался рано в их домике — они готовились к службе, читали правило. Или вечером можно было видеть, как в нижнем этаже домика открыта дверь, Вероника стоит на улице, вслух читает, а мать Варвара что-то делает. Мать всегда молчаливая, спокойная, очень приветливая, с неизменной улыбкой на лице. Некогда высокая и статная, теперь, после операции на позвоночнике сильно согбенная, она никогда не оставляла свою дочь без надзора. Вот мать Вероника остановилась с кем-то поговорить, подойдет послушает, что за разговор, и если что несерьезное, сразу позовет: «Вероника, иди сюда». Мать Вероника тоже жестоко болела и когда лежала в еврейской больнице, потеряла много крови. Несмотря на свой молодой возраст, сильно страдала от болезней и, преодолевая их, трудилась.

Начальник миссии вспоминает о ней: «Удивительно, среди всех сестер, сколько трудилось в миссии, она никогда не возражала мне, молча выслушает и не вступит в рассуждение». Вот посмотрим на нее, церковницу: идет по церкви тихо, усердно и быстро крестится и кланяется. Если читать в праздник канон — мать Вероника замечательная была чтница. И регент талантливый. До сих пор сестры вспоминают, как легко, особым движением взлетала ее рука в конце музыкальной фразы. Регентовать выучилась в монастыре. Голос негромкий, но мягкий, мелодичный. Бывало, услышит какое несправедливое замечание на клиросе, уста сомкнет, глаза погрузнеют, но уступит настойчивой просьбе, а потом потихоньку сделает как надо; ведь она прекрасно знала устав службы, но никогда не возразит, не поспорит.

Мать Вероника хорошо знала еврейский язык, немного арабский, греческий, за что ее очень уважало местное население. Когда лавочник, у которого всегда покупают продукты горненские матушки, узнал о трагической смерти сестер, то он не спал всю ночь, так ему было жаль добрых матушек. Если случалось какое недоразумение, то мать Вероника свободно объяснялась с полицейскими. Так, однажды в Горнем кто-то поджег баллоны с газом, но те под чудным Божиим покровом не взорвались, а лишь горели, чем крайне удивили и озадачили приехавших полицейских и прессу. Если бы произошел взрыв, то повредил бы не только трапезную, но и храм и ближайšie дома. «Да, с вами Бог!» — сказал один из полицейских матери Веронике, которая им объясняла, как все случилось.

Матушка игуменья любила, чтобы в день пришествия в обитель иконы Благовещения, ее несли мать Варвара и мать Вероника. Такими они и засняты в последний год своей жизни — с иконой Божией Матери перед храмом. С особым благоговением представляла всем свою маму Вероника: «А вот моя мама!» — и та с любовью смотрела на нее. Они говорили с беспокойством друг о друге: «Что я буду делать, если первая умрет мама?!» или «Что я буду делать, если Вероника умрет прежде меня?!» — и Господь дал им вместе умереть.

В памяти сестер осталось, что незадолго перед смертью матушки как-то особенно ревностно стали ходить в церковь и ко Гробу Господню. «Придет ко Гробу Вероника, встанет перед Кувуклией и все читает, читает, молится», — вспоминают сестры. Да, большую духовную поддержку имеет Святыня в себе. Сюда спешат сестры в скорби, в печали, с молитвой о родных. И кто может исчислить слезы, которые роняют люди на Священную Плиту в Кувуклии — один Господь ведает пламень их молитв и воздыханий... И про мать Варвару рассказывает одна сестра: «Позвонили в церковь, и я вижу — бежит мать Варвара». В ее положении и при ее болезни нелегко бегать, но какая-то неведомая сила внушала ей скорее спешить в храм. Рассказывают, что даже перед своей трагической кончиной мать Варвара и мать Вероника говели и хотели причаститься в Гефсимании, а причастились жизни вечной. Они предчувствовали свою близкую кончину, только не знали, как это будет. Души их трепетали и таинственно готовились к чему-то новому.

Матери Веронике предлагали игуменство, но она всячески уклонялась от земной славы и власти, ссылаясь на слабое здоровье. Когда ее унижали, она всегда «стушевывалась» и молчала. После их смерти мать Веронику видели во сне в игуменской одежде, в игуменском кресле. Она с заботой разбирала свертки — какие в трапезу, в церковь, сестрам... батюшка после литии над мученицами сказал — «Да, теперь она игумения на небе.» И самой матери Веронике снились необыкновенные сны. То будто она входит в богатую лавку, и там так всего много, что она с удивлением спрашивает: «Кто хозяин лавки?» и слышит ответ: «Это все Вероникино». Или ей снилось, как обновился иконный угол и Распятие — будто живой Спаситель на кресте. А еще был сон, как из Горненского храма во время службы мимо сестер вышла чтимая Божия Матерь, и мать Вероника вышла за ней следом.

Перед концом Господь дал им телесную немощь: обе заболели гриппом, телесно страдали и ослабели. Матушка-схимница, которая жила рядом с ними, рассказывает о последнем дне их жизни: «Был вечер. Я увидела мать Веронику и пошла спросить, как она себя чувствует. Та показала рукой, что болит голова и живот, ее тошнило. Я знаю, как тяжело человеку в таком состоянии и не хочется ни с кем говорить, поэтому поспешила уйти и больше не беспокоить их. Очень запомнилось, как мать Варвара выглядывала из кухни, и взгляд у нее был долгий и задумчивый. Вечером я два раза слышала стук, но подумала, что это в коридоре ежик ловит мышей, и не вышла за дверь. В три часа ночи вставала и выходила на улицу, посмотрела на домик матерей Варвары и Вероники, но у них света не было. Пошла на службу и несколько раз оглядывалась со своего местечка — пришли ли они в церковь, но их не было. Тогда после трапезы я пошла к ним в дом и еще издали стала их звать: «Мать Варвара! Мать Вероника!...» Но никто не откликнулся на мой зов. Так я поднялась по ступеням на веранду, толкнула дверь и увидела сестер, лежащих рядом на полу. В первый момент я не поняла, что случилось, и лишь подумала, что, вероятно, Веронике стало плохо, а мать Варвара хотела ее поднять, да и сама упала, ударилась. Я взяла за плечо мать Варвару — оно холодное. Тут я увидела кровь на полу... Как я добежала до трапезной — не помню. «Там, кажется, убили мать Варвару и мать Веронику» — только и смогла сказать».

Да, это было испытанием для всех сестер. Многим пришлось побороть в себе страх перед такой трагической смертью. Но всем было ясно — это не случайная трагедия, это назначено промыслом Божиим. Ведь позднее выяснилось, что убийца следил совсем за другим домом, где жили другие сестры, и только не дождавшись их, ворвался в дом мучениц. Им нанесены были удары ножом — такая жестокость удивила все местное население. Многим было непонятно: за что? Но кто вдохновитель злодеяния? Когда задержали убийцу, он неоднократно говорил: «Мой „бог“ повелел мне их убить» или «убил не я, а дух такой-то». Конечно, и дело скверное и «орудие» скверное (этот человек употреблял наркотики, увлекался черной магией), но повелитель нам очевиден: князь тьмы века сего, который ненавидит всякого христианина, а особенно монашествующих, которые по любви к Господу отрелись от мира.

Мать Варвара и мать Вероника были готовы принять мученический венец. Когда скорбящую обитель посетил Патриарх Иерусалимский, он, утешая сестер, сказал: «Святая Земля всегда омывалась кровью мучеников, так было раньше, так и сейчас». А один старец в своем письме к горненским сестрам писал: «Они — мученицы, счастлив, кто приложился к их могилке». Похороны мучениц превратились в торжественный христианский праздник. Пришли христиане всех народностей и всех христианских вероисповеданий. На отпевании присутствовало несколько Владык, множество священства, и мелодии зауспокойной панихиды звучали с большой надеждой на милость Божию к этим страдалцам⁹.

⁹ Там же. С. 31–35.

3. Некоторые сновидения сестер о матери Варваре и матери Веронике

Мать Агния положила на панихидный столик мешочек с персиками — помянуть новопреставленных мучениц. Когда молилась во время службы, задремала и видит, что мимо нее, как обычно, быстро проходит мать Вероника, как при жизни, крестится у икон. Подошла к канону и взяла с него мешочек с персиками... Матери Олимпиаде снится мать Вероника около храма. Она быстро пробегает мимо и поднимается по горам монастыря. На ходу говорит: «Еле успеваешь разогнать их, то тут, то там...»

Мать Евдокия видит во сне Святейшего, который один с маленькой девочкой приходит в Горненский храм на службу. Он усердно молится у каждой иконы и уходит в алтарь. А на девочке красивое белое платье. Она подходит к каждой сестре, низко кланяется и благодарит, показывает рукой на платье: «Это подарок горненских матушек». Потом встает с сестрами молиться. В маленькой девочке мать Евдокия узнает мать Веронику.

Мать Мария схимница видит во сне, будто в миссии множество народа, и живых, и умерших сестер, много игумений. Она видит покойную игумению Тавифу (рижскую), рядом с ней стоит мать Вероника, которая положила свою голову к ней на плечо. Потом мать Вероника достает три креста и объявляет, кому они предназначены.

Мать Евдокия видит во сне огромный храм. В нем стоят люди лицом на восток. Одеты они в черное и белое. Между собою они говорят, что будет суд. Вдруг появляется мать Вероника, а чуть дальше мать Варвара. Мать Вероника подходит к матери Евдокии и говорит: «Нам разрешили попрощаться», и очень многое хочет сказать. Мать Евдокия плачет и ничего не может сказать. Ее поразила близна рук и лица Вероники. Мать Варвара зовет мать Веронику не опоздать, а та договаривает: «Что мы видели, — как мучают и как истязают... нас не трогают, нам хорошо, мы вместе с мамой».

Мать Митрофания сильно болела и скорбела. Ей приснилось, что со стороны колокольни прямо по воздуху к ней летит мать Вероника. Раздвигает окно ладонями и слышится неизреченной сладости голос матери Вероники: «Митрофания, не имей даже капли обиды в душе и спасешься». После этого сна мать Митрофания еще долго испытывала непонятную духовную радость и старалась исполнить сказанные ей слова.

Многие сестры получили утешение в скорби на могилке убиенных сестер. Видимо, промыслительно обитель приобрела себе ходатаев пред Богом и попечителей молитвенных за сестер и обитель. Да, чудны дела Божии! Воздадим Ему хвалу и поблагодарим от всего сердца за промыслительную руку над нами, все во благо исполняющую. И потеем с Божьей помощью тем спасительным путем смирения и молитвы, которым вошли в Царство небесное все святые и благочестивые люди, где сейчас и наши мученицы и молитвенницы, где свет, любовь и истина царствуют вовеки¹⁰.

Про наше время повествуют,
Что приближение конца,
Что наша вера оскудела
И что хладны у нас сердца.

Что не способны мир оставить,
Как должен Спасов ученик,
Что не готовы мы восполнить
Великий мучеников лик.

¹⁰ Там же. С. 35–36.

Что мы горды, сварливы, чванны,
Что не спешим помочь в беде...
Наверно, это справедливо,
Так совесть говорит во мне.

Чудес не явит миру мудрый,
Себя смирением хранит,
Да, есть рабы Христовы ныне,
За их молитвы мир стоит.

Они не кажутся святыми,
Им ни почета, ни похвал,
Обиды, скорби и болезни —
Вот что Господь для них послал.

Такие жили и у нас —
Варвара с дочкой Вероникой,
Примером были много раз,
О них скорбит сейчас обитель.

Не только в первые века
Кровь проливалась Святая,
И умирали за Христа
Всегда, наверно, христиане.

Они убиты лишь за то,
Что черною была одежда
И что светилась душа
К Христу любовь прилежной.

И напоилась, как тогда,
Земля Святая кровью вашей.
Варвара — Вероника — слышно
На проскомидии на каждой.

Старайся, инок, и сейчас
Избрать стезю себе такую,
Имей в душе смиренья дар,
Храни любовь ко всем святую.

Молитвы нить не опускай,
Будь милосердным, как Владыка,
И никого не осуждай,
Как и Варвара с Вероникой.

Тогда сподобишься венца,
Когда научишься с терпением
Нести все то, что Бог послал,
Без ропота и огорчения¹¹.

...Полиции удалось найти убийцу, который признался в совершенном им злодеянии. Суд, о времени которого Русскую духовную миссию не уведомили, признал убийцу психически ненормальным, и власти выслали его из Израиля. «Монахини Варвара

¹¹ Там же. С. 36–38.

и Вероника — мученицы нашего времени, — писал в телеграмме Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену Патриарх Иерусалимский Диодор. — Матушки Горненской обители пополнили число новомучеников российских»¹².

Из записок инокини Наталии. Преполование (1983 г.).

К нам в монастырь приезжал Блаженнейший патриарх Диодор служил литию на могилке, а потом сказал слово, что древо жизни (то есть православная вера) никогда не погибнет и будет расти до конца существования мира, только будет поливаться и сейчас поливается мученической кровью. После смерти сестер все особенно стали внимательны друг к другу, много молятся, усердно посещают храм, словом — Божие посещение для всякой души. Мы живем все вместе в одной половине дома в 4 келиях, пока не пройдет тревога. Вместе дружно и хорошо жить, все девочки усердно исполняют правила и послушания по дому. Скоро начнем чистить и вырубать территорию монастыря — очень разрослась зелень. Никто духом не падает, все здоровы, полны желания и дальше служить Господу на Его Святой Земле.

У нас поймали убийцу. Он жил недалеко от монастыря, хорошо его знал. Два года назад приехал из Америки, родом индеец. Занимался оккультными науками, состоял в Американской церкви Сатаны, наркоман — несчастная душа. Говорил: «Мой „бог“ повелел мне убить их» — понятно, кто его «бог» и кто наш настоящий враг — диавол¹³.

1980—1990 годы. Хроника событий

Из записок инокини Наталии. Горний. 1984 год

Вероятно, до вас дошел слух о взрыве в нашем монастыре, не волнуйтесь, это скорее радостная история, потому что наша матушка чудом Божиим, подобно оленю, «ускакала» от разрывающейся гранаты — вот что значит воля Божия и Его помощь. Кто это делает? В греческих монастырях такие истории нередки — возможно, какая-то антихристианская банда, а, вернее сказать, враг рода человеческого через людей¹⁴ <...>

У нас в Горнем началось строительство ограды вокруг монастыря. И параллельно с этим начинаются большие ремонтные работы. Как-то Господь поможет?! Моя матушка (мать Мария), с которой я живу, слабеет, но еще ходит и все себе делает. Она очень хорошего духа и настроения человек, я искренно рада, что живу с ней. Говорят, она тайная схимница. В 1933 году бежала из Румынии от нового стиля. Здесь вообще очень много румын подвизалось, которые от нового стиля бежали. У нас в Горнем несколько старых матушек с удивительной судьбой, жалко, что они слабеют и умирают.

Великий пост ознаменовался дождями, ливнями и грозами — слава Богу, напоившими землю и всю тварь. Велика Его любовь к нам и время подходящее — печальное время поста и идут печальные дожди. Очень похоже на Россию сейчас — все зеленеет, благоухает. Пожалуй, во всей Палестине нет такого зеленого места как Горний — вот как Господь милует и любит нашу обитель.

На 2-ой неделе Поста в четверг вечером состоялся постриг 4 наших матушек. Они все эти дни стоят в церкви и у нас — у всех очень возвышенное и радостное

¹² Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме). // Духовная нива. М., 2000. С. 26–27.

¹³ Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983–1989 гг.). СПб., 1996. С. 49.

¹⁴ Там же. С. 66.

настроение — смотреть на них с возженными свечами, таких тихих и благодатных — будто смотреть на ангелов. Наверное, и в храме сейчас много ангелов летает — такая радость!¹⁵

6 апреля 1986 года архимандрит Пантелеимон совершил чин на основание нового храма в честь Пророка и Крестителя Иоанна в Горнем монастыре¹⁶.

С 1986-го по 1991 год обязанности игумении исполняли благочинные Екатерина (А. Д. Сорокина), Елена (А. С. Лошкарёва) и Гавриила (М. Глухова).

Из записок инокини Наталии

Рядом с нами граничит католический францисканский монастырь, который существует уже несколько веков, то есть он гораздо «старше» по времени Горнего. Мы с католиками всегда оспариваем, где же точно был дом и владения свв. праведных Захарии и Елизаветы? Из всех мест самым древним в Горнем была эта самая пещера, вся заросшая и заброшенная. В эту пещеру вели ступеньки, по преданию в ней находился источник, где праведное семейство брало воду. Пещера некогда огромная в связи с землетрясениями обсыпалась и таким образом разделилась надвое. Одна половина находится у католиков и у них там давно устроена часовня и колодец, а у нас вот только сейчас освятили храм в честь Рождества св. славного Пророка и Предтечи Господня Иоанна¹⁷.

Третья церковь монастыря, пещерная, была освящена во имя св. Иоанна Предтечи 29 июня 1987 года. Она примыкает к католическому монастырю Посещения и находится на месте, где, по преданию, был дом праведных Захарии и Елисаветы.

Из записок инокини Наталии

Господь и святой Креститель удивительно помогли мне, так как за срок чуть больший месяца я написала две большие иконы (1м 40) для нового храма и успела к приезду Владыки Филарета и к освящению храма. Владыка сегодня вручил мне грамоту, наряду со многими другими сестрами, после торжественного освящения в Горнем нового пещерного храма в честь Святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. После была литургия в этом храме, на которой присутствовал Блаженнейший Патриарх Диодор¹⁸.

<...> Теперь у нас свой пещерный храм, где первые 7 дней будет совершаться литургия и потом по вторникам и другим праздничным дням. Может, и на дни празднования великих пустынножителей будем молиться в Предтеченском храме. Там особенно хорошо сейчас в летнее безвоздушное жаркое время — прохладно, даже платки с собой берем, так как храм метров на 8 внизу, как раз получается 33 ступени, ведущие вниз... Готовили храм к освящению как младенца и сейчас испытываем эту радость, как после большого и радостного события¹⁹.

19 мая 1987 г. Поминовение убиенных монахинь Варвары и Вероники

Вот исполнилось 4 года со дня мученической кончины наших сестер. Два обстоятельства в этот приснопамятный день привлекли мое внимание особенно.

¹⁵ Там же. С. 88.

¹⁶ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 182.

¹⁷ Там же. С. 163.

¹⁸ Там же. С. 163.

¹⁹ Там же. С. 163–164.

Первое маленькое событие произошло во время литургии, когда на заупокойной сугубой ектении (как раз поминали Варвару с Вероникой) в открытые двери храма влетела птичка. Сначала она порхала по церкви и вела себя довольно тихо, но как только запели панихиду по мученицам, она тоже стала чрезмерно усердствовать: так чвикать и чирикать, что все певчие поднимали головы к куполу храма и искали этого громкоголосого солиста.

Второе маленькое чудесное событие произошло, когда одна матушка разломала большую просфору и дала мне кусочек со словами: «помяни наших убиенных сестер» и сама взяла просфоры. Немного отойдя от тарелки с антидором, мы одновременно с этой матушкой вернулись, чтобы взять еще этой просфоры, так как она оказалась необыкновенно сладкая и вкусная, хотя была испечена давно вместе с другими просфорами... Потом в этот день и настроение было чудесное — тихое и радостное²⁰.

25 октября 1987 г. Канун праздника Иверской иконы Божией Матери

У нас начался самый чудесный сезон дождей. От того его так люблю, что природа становится как у нас в России — опадает листва, вырастает новая травка и цветы, и небо получает свою глубину и украшается облаками. В это время прохладный и чудный воздух, будто он прилетел откуда-то из подмосковного леса, солнышко мягкое и греющее, бывают сильные дожди и грозы. Вот недавно был такой сильный дождь, что по Горнему бежали настоящие реки воды. Вся эта вода стремилась с шумом вниз и попадая на нижние площадки около храма и трапезы буквально затопила их, так что пришлось прямо шлепать по лужам. В это время мы с сестрами должны были ехать на миссию петь воскресную службу и наша матушка-шофер отважно отправилась в это великое плавание.

Дорога сначала идет с горы, а потом снова в гору и вот на этом участке нас ждали просто диковинные бурные реки, по которым наполовину в воде плыли, как вездеходики, машины. Смытые с горы камни становились большими и малыми водопадами и вся дорога была в таких фонтанчиках и из под колес били фонтанчики — зрелище удивительное. Но мы (несмотря на мое окаянное и нерадивое житие) благополучно достигли стен нашей русской миссии, правда, были мокрые немного²¹.

В 1988 году Святую Землю, в составе паломнической делегации, посетил иеромонах Елисей (Ганаба). В течение трех месяцев он служил в Горненском монастыре. С 27 декабря он стал заместителем начальника РДМ в Иерусалиме с возведением в сан игумена. С 12 марта 2002 года по 6 октября 2006 года архимандрит Елисей — начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме²².

15 января 1989 года Советская консульская группа провела в Горненской обители перепись населения²³.

6 мая 1989 года — день погребения Патриарха Пимена в Москве. 21 мая тогдашний начальник РДМ архимандрит Никита (Латушко) объявил сестрам о предстоящей своей поездке в Москву на Собор, где должен быть выбран новый Патриарх и совершена канонизация протоиерея Иоанна Кронштадтского. Обсуждался также вопрос о выборе игуменнии в **Горненской обители**. Отцом начальником было выдвинуто две кандидатуры. Время на размышления — до утра следующего дня. Отец начальник предупредил сестер о небезопасности выхода по одному в город

²⁰ Там же. С. 159.

²¹ Там же. С. 167–168.

²² В настоящее время — архиепископ Сурожский.

²³ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 184.

и рассказал о двух случаях убийства: еврейский солдат убил несколько арабов; убийство владельца трактира, находящегося возле источника Божией Матери в Эйн-Кареме²⁴.

9 декабря 1989 года — начало палестинской интифады.

В начале 1990 года на судостроительной верфи Петрозаводска началось строительство трех деревянных судов парусно-гребного типа в соответствии с чертежами, составленными по рисункам старинных средневековых ладий. Спущенные на воду в середине июня, эти ладьи — «Вера», «Надежда» и «Любовь» — прибыли на остров Кижы, где были освящены одним из священников Олонецкой епархии. Около 60 молодых паломников пустились в долгое плавание, конечной целью которого было намечено посещение Святого Града Иерусалима и других христианских святынь Востока.

Организатор паломничества — петрозаводский клуб «Полярный Одиссей», члены которого в течение ряда лет совершали путешествия на деревянных кочах (судах) по северным морям. Возглавил группу доцент ЛДАиС архимандрит Августин (Никитин).

Молодые христиане решили совершить паломничество в Святую Землю, на что было получено благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. По пути следования к путешественникам присоединялись священнослужители и верующие из прибрежных городов, чтобы пройти часть маршрута.

9 сентября 1990 года паломники ступили на Святую Землю. Основная цель долгого и трудного путешествия была достигнута. Будучи в Иерусалиме, аргонавты нашли приют в **Горненской обители**. Слово писателю Виктору Георги, участнику паломничества, соавтору книги «К Святой Земле под парусом „Надежды“» (Петрозаводск, 1992).

В местечко Айн-Карем, что по-арабски означает Дом виноградников, мы вернулись затемно. В трапезной Горненского монастыря Русской духовной миссии в Иерусалиме паломников ждал ужин, после которого мы не стали даже подниматься в небольшой новый коттедж, отведенный нам под жилье: не хотелось быть нахлебниками-экскурсантами в этой гостеприимной обители. Матушка Вера, которая исполняла здесь обязанности управделами, поначалу отказывалась от нашей помощи, предлагала идти отдыхать, но потом нашли работу для каждого. При свете фонарей, уже за полночь, мы перепилили заготовленные на зиму дрова (очень крепкие сучковатые стволы какого-то орешника), очистили от хлама одну из площадок обители, а ребята, знающие толк в электричестве, исправили монастырскую электропроводку. Всего здесь, на живописных холмах Айн-Карема, проживают 46 русских насельниц. У каждой — отдельная келья или домик. Жилья хватает, так как раньше, до революции, монахинь и послушниц было значительно больше. Но налицо и признаки некоего запустения, вызванного отсутствием молодых рабочих рук.

Под большим секретом, но с видимым удовольствием одна из насельниц провела нас в свой домик. Он состоит из двух комнат с отдельными входами. В одной оборудована мастерская, где, как я понимаю, можно не только вышивать, но и ткать холстину. Вторая комната жилая. С допотопным комодом и сервантом с горкой хрустала, книжными полками. Есть и старенький телевизор. Как-то непривычно среди истинно деревенской обстановки смотрится двухкассетный импортный магнитофон, яркая упаковка продуктов и специй, сложенных у плиты побеленной русской печки.

Нам рассказали, что миссии пришлось продать значительную часть земли, чтобы на вырученные деньги провести в обитель электричество. До сих пор нет водопровода. Многие насельницы болеют глазами; хотя на первый взгляд климат здесь мягкий, но на здоровье не привыкшего к жаре русского человека

²⁴ Там же. С. 184.

сказывается отрицательно. При желании монахини могут вернуться на родину, положен им и регулярный отпуск, но негласно приветствуется исполнение своего подвижнического подвига до смерти.

Особая статья забот — защита от хулиганских действий арабской части населения. Тут высокие заборы обители, ночные дежурства и железные ворота, которые всегда закрыты, бессильны. Рассказывают и о неудачной попытке взорвать бомбу, и о зверски зарезанных монахине и ее дочери. Так что наше хотя и непродолжительное проживание на территории монастыря вселяло в его хозяек надежду не только на скорые перемены в их жизни, которые обязательно наступят, если будут организованы регулярные рейсы к Святой Земле и за первыми паломниками последуют другие, но и просто-напросто мы в те дни были бы защитой для обители в случае нападения экстремистов.

Два больших дома служили в свое время для приема русских паломников, и вот впервые за много лет они снова были до отказа заполнены молодыми богомольцами. Провожая нас до врат обители, матушки-насельницы пели на прощанье паломникам, посетившим Святую Землю:

Сердцу милый, вожденный,
Иерусалим, святейший град,
Ты прощай, мой незабвенный,
Мой поклон тебе у врат.
О тебе, моей святыне,
Глас с мольбою возношу:
И всевышней благостыни
От небес тебе прошу.
Я с отрадой и слезами
Отплываю по морям:
Ты же будешь за горами,
Светлый трон Царя царям...

Всякий раз при упоминании об остановке паломников в женском монастыре Русской духовной миссии в Иерусалиме, у наших слушателей возникает вполне объяснимое любопытство — ну и как же вы там, два десятка одичавших за три месяца плавания мореходов, жили? Отвечу: жили мы хорошо. И благодарны настоятелю миссии отцу Никите за возможность осмотреть окрестности Святого Града, не беспокоясь о ночлеге и пропитании. А об остальном... Поражает естественность поведения монахинь и послушниц, среди которых есть не только пожилые, но и молодые люди. Странно, например, было видеть за рулем монастырского «рафика» одетую в черную рясу милостивую женщину. «А воронежских среди вас нет?» — спросила она, перевозив нас от здания миссии до обители. А потом, чуть было не столкнувшись со встречным грузовиком, не сдержавшись, выскочила на дорогу и на чистом русском языке стала отчитывать обалдевшего и ничего не понимающего водителя-араба.

Так о чем я хочу сказать? Мало того, что все местные поселянки попали сюда из монастырей России, куда они, в свою очередь, ушли от светской жизни по собственному желанию и, уверен, небезболезненно, не от хорошей жизни. А вершить монашеский подвиг пусть на Святой Земле, но вдали от родных мест — еще большее испытание. И идут на него осознанно, не за суетные земные блага. И можно лишь догадываться, какая драматичная борьба души стоит за судьбой-выбором каждой женщины. А греховные мысли, которые, наверное, все же читались в глазах паломников, полностью нейтрализовались неким ореолом мягкосердечия и неподдельного внимания-понимания к нашим заботам. Впрочем, в моем журналистском лексиконе нет слов, чтобы выразить это чувство истинной любви, и я за свои без малого сорок лет впервые осознал правомерность и смысл обращения:

«Все мы сестры и братья во Христе». Это чувство выше животных инстинктов, как выше, чище, разумнее маленькая деревянная часовня жилых коробок теснящих ее городских многоэтажных домов²⁵.

1990-е годы. Хроника событий

24 марта 1991 года Святейшим Патриархом Московским Алексием II в Елоховском соборе в Москве была возведена в сан игумении матушка Георгия (Щукина). С 26 марта по 1 апреля состоялось посещение Святой Земли Святейшим Патриархом Алексием II с группой паломников. 28 марта Святейший Патриарх Алексий посетил Горненскую обитель и вручил посох игумении Георгии.

Игумения Георгия (в миру Валентина Щукина) родилась 14 ноября 1931 года в Ленинграде. В Великую Отечественную войну пережила блокаду Ленинграда, потерю родителей. В 1949 году поступила в Свято-Успенский Пюхтицкий монастырь. С 1955-го по 1968 год — насельница в Виленском монастыре в Литве. Монашеский постриг состоялся 7 апреля 1968 года в Пюхтицах, где она и подвизалась до 1989 года.

С 1989 года восстанавливала монастырь Св. прав. Иоанна Кронштадтского на Карповке в Санкт-Петербурге. Святейшим Патриархом Алексием II возведена в сан игуменьи и стала восьмой настоятельницей Горненской обители. Ее предшественницы: первая настоятельница монахиня Валентина (1898—1919), затем игуменья Тавифа I (1920—1945), игуменья Афанасия (Лысенкова, 1950—1955), игуменья Михаила (Жорчагина, 1956—1960), игуменья Тавифа II (Дмитрук, 1960—1966), игуменья Софрония (Ребий, 1966—1982), игуменья Феодора (Пилипчук, 1983—1986). Стараниями матушки Георгии в монастыре велись восстановительные работы: приводились в порядок келии — домики насельниц, устраивались гостиницы для паломников. В 1991 году был проведен водопровод, построена баня-прачечная²⁶.

В годы настоятельства матушки Георгии были упорядочены хранящиеся в монастыре архив и библиотека (в основе которой лежит уникальное книжное собрание архимандрита Антонина). В 1997 году в честь 150-летнего юбилея РДМ в Иерусалиме, возле Казанского храма, установлен бюст основателя Горненской общины архимандрита Антонина (Капустина) и оформлена мемориальная аллея. К Пасхе 1997 года завершена реконструкция одного из домов Горненского монастыря под двухэтажную гостиницу для паломников²⁷.

Каждая сестра, кроме молитвенного правила, имеет свое послушание в ризнице, иконописной, трапезной, швейной мастерской, библиотеке, свечной. Осенью, когда проходят первые дожди, начинается сбор маслин в монастырском саду. В трапезной всегда на столе оливковое масло и маслины собственного засола.

Из записок инокини Наталии

В монастыре целиком соблюдается устав и службы полные. Начали читать неусыпаемую псалтирь. Предстоит ремонт домов и другие работы. В Горнем мы несем общие послушания — сделали ремонт очень большого «Дворянского» дома, сейчас начнем ремонт домиков для нас самих. Дело в том, что в Горнем принято жить по одному в большом доме, а нас пока поселили по несколько человек,

²⁵ Георги Виктор, Августин (Никитин), архим. К Святой Земле под парусом «Надежды». Петрозаводск, 1992. С. 200—204.

²⁶ Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме). // Духовная нива. М., 2000. С. 20—21.

²⁷ Лисовой Н. Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. XII М., 2006. С. 125.

на самых вершинах Горней горы. Мы хорошо уже изучили заросшие диковинные тропы Горнего и быстро добираемся друг к другу. Такое наше расселение — явление временное.

Когда мы ремонтировали «Дворянский» (это очень Большой дом, как 4-этажный наш), то рядом с ним вокруг растут кипарисы, мы поднимались на плоскую крышу дома и там завтракали. Кипарисы и с крыши дома значительно возвышались, как большие деревья. Их высота 40-50 метров, все ветки устремлены вверх. Мы ставили большие лестницы и одна в одну лестницы складывали, чтобы отпилить нижние ветки засохшие, они с шумом рушились вниз, как будто падает камень. Очень интересно, что когда я взялась рубить дрова, то топор, подобно мячику, отскакивал от простых средней величины веток, а потом оказался весь в зазубринах — здесь очень большая плотность у деревьев. Когда мы носили ветки вверх в гору, то смеялись над собой: «увидели бы нас Пюхтицкие сестры и подумали: совсем ослабели — несут несколько тонких веток и еле идут». И правда — что пуд целый на плече несешь — тонкие ветки кипариса <...>²⁸

Еще мы сложились и купили бензопилу и теперь я пилю дрова. Еще чищу крыши черепичные перед дождем, вычищаю желоба от листьев и сора, чтобы не забились трубы — мы же собираем дождевую воду в цистерны. Еще ездим молиться на Гроб Господень — времени не хватает, куда-то оно девается?.. Потом я сама сложила печку.

А головокружения здесь бывают поначалу из-за разности давления — здесь мы живем в несколько сот метров над уровнем моря, большая высота и пока человек привыкает — кружится голова и то не у всех. У меня голова уже давно (по милости Божией) не кружится.

Мы в Горнем собирали маслины. В этом году их очень много. Лазили по деревьям, сбивали палкой. Часть идет на засолку, часть (большая) на масло. Этим маслом лечат многие болезни, а маслины очень питательные. у нас идут первые дожди, потом снова светит солнце. Не то золотая осень, не то весна. Появляется зеленая трава, много фруктов, овощей, расцветают розы и другие цветы — такой удивительный край. <...> Над нашей горой еще выше поднимается гора. Она покрыта сосновым лесом. Туда мы ходим за маслятами. Дождей пока не было — поэтому они как боровики — упругие, сухие, толстенькие. Вот чего только нет на Святой Земле²⁹. <...>

Сейчас мы собираем в Горнем маслины и лазаем по извилистым и гибким стволам этих деревьев, или срываем их на лестницах или сбиваем длинными палками и собираем на земле. Собираемся сходить в лес (сосновый бор над нашим монастырем выше по горе) за грибами, т. к. после дождей в это время обычно начинаются грибы. Грибы — это одни крупные и упругие, как боровички, маслята, которые можно жарить и солить. Но дело даже не в гастрономии, а в удовольствии ходить по лесу и собирать грибы в Иерусалиме! Только разница в нашем лесу в том, что он весь на голых камнях, поросших колючими травами и мхами и здесь нужна ловкость и осторожность, а иногда и альпинистские способности, но все-таки лес...³⁰

В начале 1990-х годов начали налаживаться связи с иерусалимскими женскими монастырями, находившимися в юрисдикции Русской православной зарубежной церкви (РПЦЗ). Так, 26 декабря 1994 года елеонские сестры монахиня Екатерина и монахиня Елена приехали в Горний посмотреть, как здесь делают просфоры³¹.

²⁸ Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983—1989 гг.). СПб., 1996. С. 20.

²⁹ Там же. С. 61—63.

³⁰ Там же. С. 168.

³¹ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 189.

Все чаще в Горненской обители бывали гости из России. В 1994 году в составе паломнической группы Святую Землю посетил игумен Никон (Смирнов). Вот его записи о пребывании в Эйн-Кареме: «Едем в Горненский монастырь. Это родина св. Предтечи Иоанна. Божия Мать после Благовещения, посетив здесь свою родственницу Елисавету, пробыла у нее три месяца. Сейчас в женском Горненском монастыре Русской Православной Церкви свыше 50 сестер. Игуменья — матушка Георгия. Архимандрит Иеремия (Соловьев) преподнес ей дар — колокольчик новгородский, очень звонкий и увесистый. Когда мы вошли в церковь, там шла утренняя. (Сестры вычитывали утреню без священника.) Пробыли мы здесь около двух часов и отправились в обратный путь. Взяли воды из источника, из которого, по преданию, брала и Божия Мать»³².

11 марта 1995 года. Великий пост. 1-я седмица. Суббота. К 8 часам в Горненскую обитель приехал начальник РДМ о. Феодосий и диакон Николай, служили, все сестры причащались, после чего была общая трапеза. Затем отец начальник с матушкой игуменией обошли некоторые участки, где требовался ремонт. Особенно старое кладбище в ужасном состоянии. Стены — кладка рухнула, надгробия все разбиты, надписи не сохранились³³.

Из записок инокини Наталии

Многие Горненские сестры молились о том, чтобы им умереть на Святой земле, и вот перед глазами их могилки (у нас на кладбище очень просто, над могилками стоят простые деревянные кресты, иногда сколоченные просто из двух палок)³⁴.

В 1995 году в Святой Земле побывал епископ Красноярский и Енисейский Антоний. Церковный писатель Николай Кокухин взял интервью у Преосвященного владыки; вот выдержки из этой беседы.

Николай Кокухин: Преосвященнейший владыка, были ли вы в Горненском женском монастыре?

Владыка Антоний: Да, был... его история теснейшим образом связана с Россией. Горненский монастырь — это Русский дом в полном смысле этого слова, духовный благодатный Русский дом, под кровом которого спасается несколько десятков русских монахинь. Не проходит, наверно, ни одного дня, чтобы сюда не приезжали паломники из России.

Н. К.: В чем, по-вашему, заключается особенность этой обители?

Вл. Антоний: Особенность Горненского монастыря заключается в том, что он является своеобразным «ключом» к восприятию всей Святой Земли. Поясню свою мысль. Вспомним тот период истории, когда заканчивались ветхозаветные времена и когда Бог Отец послал на землю Сына Своего Единородного. Об этих временах сказано: «На конец веков». Это значит: мир утратил смысл своего бытия, и все должно измениться. Несмотря на то, что человечество пало слишком низко, на земле все еще были праведники, не изменившие Богу. Это прежде всего праведные Захария и Елисавета, родители святого Иоанна Предтечи. Они жили в Горнеме, то есть в том месте, где находится русская женская обитель <...>

Было бы идеально, на мой взгляд, если бы каждый русский паломник начал свое знакомство со Святой Землей именно с Горненского монастыря. Здесь он мог бы исповедаться, причаститься Святых Христовых Таин, заглянуть

³² Никон (Смирнов), игумен. От Галилеи до Фиваиды. Изд-во «Паломник», 1995. С. 29.

³³ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 189.

³⁴ Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983—1989 гг.). СПб., 1996. С. 46.

в себя, проверить, насколько он готов к восприятию Земли Иисуса. То есть это был бы подготовительный период для него. Горненская обитель для каждого паломника — это важнейшая духовная веха на пути ко Христу.

Н. К.: Опишите, пожалуйста, местность, в которой находится Горненский монастырь.

Вл. Антоний: Это на редкость красивое место. У меня, кстати, сложилось такое впечатление, что все самые красивые места Палестины принадлежат русским; это заслуга начальника Русской духовной миссии архимандрита Антонина (Капустина), который в свое время приобрел их. Монастырь находится на склоне горы, с которой открывается изумительная панорама Палестины. Это действительно горная страна, очень сильно напоминающая наш Кавказ. Обитель утопает в зелени, это, можно сказать, сплошной сад, он цветет и благоухает круглый год.

Не то было две тысячи лет назад, когда святой Иоанн Предтеча призывал иудеев к покаянию: опаленная, потрескавшаяся от солнца земля; ни одного намека на какую-либо растительность; резкие перепады высот; и только далеко внизу, в ущелье, скачет по камням, словно горный джейран, ослепительный поток...

Н. К.: А сам монастырь?..

Вл. Антоний: Горненский монастырь неповторим... своя святость, своя красота, свой аромат...

Н. К.: А сестры?..

Вл. Антоний: Я не знаю, как это выразить насчет сестер, но когда встречаешься с ними, то видишь какую-то высоту духовности, простоты, радости, которая наполняет их и передается каждому, кому посчастливилось побывать в Горнем... Я общался с ними и в обители, и в Духовной миссии, где они несут разные послушания. Но главная моя встреча с ними произошла при Гробе Господнем — они там часто поют за Божественной Литургией. Я бы каждому нашему паломнику порекомендовал послушать горненских сестер, когда они поют за Божественной Литургией. Это неземная радость, неземная красота, это ангельское пение. Никакой хор, самый профессиональный, самый квалифицированный, самый знаменитый, не сравнится, уверяю вас, с хором горненских сестер.

Есть вещи, которые к Небу душу возводят... Это явление в жизни человека — услышать такое пение: ни один голос не выделяется, весь хор — единое целое; кажется, они поют не голосовыми связками, а душой, устремленной к Богу... Всю жизнь я буду вспоминать эту Божественную Литургию и это изумительное пение. И радоваться, что такое есть на свете...

Н. К.: Владыка, удалось ли вам побеседовать с игуменией Горненского монастыря монахиней Георгией?

Вл. Антоний: Да. Монахиня Георгия известна с детства своими музыкальными способностями; она была насельницей Виленского женского монастыря (г. Вильнюс), потом Господь привел ее в Пюхтицкую, нашу известную, обитель, а теперь она в Иерусалиме, в Горненском монастыре. Это, конечно, Промысл Божий, и она достойно занимает свое место, которое определил ей Бог. Она никогда не отвлекается на посторонние заботы и занимается только церковными делами: молитва, пост, богослужения — как в самой обители, так и у Гроба Господня. Главное для нее — это спасение души, Вечная Жизнь — как сестер, так и паломников.

Н. К.: Сестры обители — это, на мой взгляд, избранницы Божии, которые на Святой Земле служат русским людям...

Вл. Антоний: Вы совершенно правы. Но это не каждому под силу — служить на Святой Земле. Во-первых, климат: летом — изнуряющая жара (40–50 градусов в тени!), не каждое сердце выдержит, а зимой — сырость. Другой момент. Горненский монастырь существовал и в период атеистического гнета в нашей стране, сестрам было очень нелегко: монастырь могли в любой момент закрыть, а их отозвать — но, слава Богу, обошлось; они многое пережили, они перенесли

израильскую войну, однако продолжают мужественно нести свой христианский крест... Вспоминаю трогательный момент прощания с ними. Со слезами на глазах матушки поют удивительные песнопения. Этим пением они передают привет своей Родине — Святой Руси, а слезы их — не только воспоминания о родных краях, но, наверно, и боль за любимую Россию.

Я спросил одну из сестер:

— Матушка, а вы бы хотели вернуться обратно в Россию?

Она ответила:

— Ой, что вы, владыка! Ни в коем случае! Я здесь хотела бы и умереть!

У меня создалось впечатление, что сестры боятся и в отпуск-то поехать на Родину, чтобы там ненароком не остаться. И поступают они так потому, что не желают ни на минуту расстаться с Землей Иисуса, нашего Спасителя. Наверно, каждый русский человек, посетив Святую Землю, желал бы там жить и умереть.

Н. К.: Что еще можно сказать о сестрах Горненской обители?

Вл. Антоний: Да позавидовать им только можно, вот и все!³⁵

19 февраля 1996 года после службы в Горнем из миссии приезжал архимандрит Феодосий и сестры. Делали у храма общий снимок для буклета: в 1997 году исполнялось 150 лет миссии.

1997 год — юбилейный год — 150 лет Русской духовной миссии в Иерусалиме.

2 января 1997 года. В 9 часов матушка игумения и несколько сестер поехали ко Гробу Господню, там в 10 часов было торжественное открытие купола после ремонта, — леса стояли над Кувуклией очень много лет³⁶.

12—18 июня 1997 года состоялся официальный визит в Святую Землю Святейшего Патриарха Алексия II. 14 июня — приезд Святейшего в Горний. 10.00 — встреча Святейшего Патриарха в монастыре на площадке от Эйн-Карема. Матушка игумения преподнесла хлеб-соль. Матушка игумения и Святейший Патриарх обменялись приветствиями, затем Святейший освятил бюст архимандрита Антонина и отслужил краткий молебен, который закончился в храме Казанской иконы Божией Матери. Святейший наградил матушку игумению наперсным крестом. Далее паломники вместе со Святейшим прошли на кладбище, совершили литию, а затем поднялись в разрушенный собор, где отслужили молебен. Святейший окропил стены собора и благословил начинать его восстанавливать. В трапезной для высоких гостей был устроен обед. После обеда Святейший благословил каждой сестре по иконочке Святой Троицы. За чаем в игуменском Святейший отметил большие преобразования и благоустройство всего монастыря, подчеркнул усердные труды матушки игумении и отца начальника миссии³⁷.

25 января 1999 года в Иерусалим прибыли шесть рабочих из Москвы для постройки лестницы в Горнем³⁸.

2000-2010-е годы. Хроника событий

11 февраля 2000 года скончалась старейшая насельница Горнего монастыря схимонахиня Евфимия (Красноок) 1918 года рождения³⁹.

³⁵ Кокухин Николай. Обручение Христу. Записки современного паломника. М., 2000, С. 152—158.

³⁶ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 189.

³⁷ Там же. С. 189—190.

³⁸ Там же. С. 191.

³⁹ Там же. С. 194.

14 ноября 2000 года — 70-летие матушки игумении Георгии. В 6.45 утра — полунощница, акафист Спасителю. 7.30 — встреча владыки Алексия, в 8.15 — встреча владыки Аристарха, — они задержались в дороге, так как был совершен в городе взрыв. Собрались и все батюшки. Служба была торжественная, подъехал на литургию и митрополит Тимофей, подсобрались и прихожане. Совершили крестный ход. Владыка Алексей зачитал от Святейшего поздравление и награду орденом Преподобного Сергия II степени и крестом⁴⁰.

1 апреля 2002 года Горний посетила группа артистов: Наталья Дурова и вся труппа, которые приехали в Израиль со зверьми и с концертом. Они зашли в храм, все приложились к чтимой иконе Казанской Божией Матери, затем им матушка игумения предложила в трапезе пообедать, что они с большой благодарностью и радостью и исполнили⁴¹. Впрочем, в Горненской обители была и своя живность.

Из записок инокини Наталии

Повстречались с тарантулом. Аня, подобно укротителю тигров, изгоняла его с метелкой из моего нового дома. Кто-то уже расправился со скорпионом. Сейчас начало мая. Трава уже начала желтеть, весна кончается, начинается лето. После Благовещения просыпаются змеи и прочие гады. У нас много кошек в Горнем, они, говорят, ловко ловят скорпионов и змей, поэтому их кормят на улице. Иногда прямо нашествие котов и целый концерт под окном. Голодные, худые, с котятками и без котят, целая нищая братия. Едят даже моченый хлеб. Очень много птиц, таких разных причудливых певцов. Часа в 4 начинается такой перезвон и такая большая спевка, что обязательно проснешься. Живет у нас и дикообраз, с ним повстречалась Маша и однажды Галя. Реакция от встречи у троих была одинаковая — бежали в разные стороны. Одна Вера у нас подружилась с ним, носит ему по горе вверх на большой камень всякие остатки. Он как свиношка, только с длинными ядовитыми иголками, которыми стреляет в случае опасности. Шакалов у же нет, они, наверное, убежали в безлюдные места⁴².

26 февраля 2003 года сильно залило Предтеченский пещерный храм после таяния снега. Поставили насос для откачивания воды и все вынесли из храма.

18 марта монахиня Михаила ездила за продуктами на рынок и базу: запаслись продуктами, так как в Израиле военное положение — готовятся к войне (Буш хочет бомбить Ирак). Из миссии факсом прислали несколько листов рекомендаций, как должны быть готовы: заклеить окна, иметь помещение, где должны собраться сестры. Из миссии должны были привезти противогазы. Запасись водой и продуктами. Должна была прилететь группа 40 человек паломников с владыкой Иннокентием, но положение в Израиле военное и беспокойно. Всем паломникам на время отложили поездки.

19 марта. В 14.30 приехал из миссии отец начальник Елисей; вначале игуменский пришел посмотреть — готовились ли к войне, заклеивали ли окна, но, увидев и услышав от матушки игумении, благочинной монахини Елены и от казначеи монахини Михайлы, что мы спокойны и клеить окна не будем, он сказал, что сейчас пропоем Матери Божией молебен с канонам, попросим Царицу Небесную, да покроет нас Своею милостию. На молебен вышли: отец Елисей, отец Виктор, отец Феофан и диакон Димитрий. После молебна благословил малое повечерие, а даль-

⁴⁰ Там же. С. 194.

⁴¹ Там же. С. 198.

⁴² Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983–1989 гг.). СПб., 1996. С. 20–21.

ше все по уставу. После молебна на небе была красивая и большая радуга. Отец Гурый привез из миссии пять противогазов.

А ранее, **11 февраля**, в Горненский монастырь приехали три человека из российского посольства, осмотрели гостиницы для эвакуации детей из Тель-Авива на случай военных действий⁴³.

В конце 2003 года при начальнике миссии архимандрите Елисее (Ганабе) в Горненском монастыре было возобновлено строительство собора в честь Всех Святых, в земле Российской просиявших.

11 февраля 2004 года в 11.00 утра было землетрясение на Мертвом море — несколько секунд, и толчки ощущались в Горнем, было 5 баллов — 20 секунд.

22 июля 2004 года прилетела делегация Фонда Андрея Первозванного с епископом Димитровским Александром. Все члены делегации разместились в **горненской гостинице**, а владыка — в миссии. Они приехали за мощами великой княгини Елисаветы.

25 июля 2004 года. В 3.30 литургия (часы), после литургии — трапеза. В 5.00 матушка и две сестры на такси поехали в Гефсиманский монастырь Марии Магдалины. Частицы святых мощей великой княгини Елисаветы и инокини Варвары были вложены в небольшую раку, изготовленную в Софрино (очень красивое исполнение)⁴⁴.

27 апреля 2005 года Русскую духовную миссию посетил Президент Российской Федерации В. В. Путин. Президента встречали начальник миссии архимандрит Елисей, игумен Тихон — член миссии, и **настоятельница Горненского монастыря игумения Георгия**. Президенту было рассказано о деятельности Русской духовной миссии, о восстановлении собора в Горненском женском монастыре. В заключение архимандрит Елисей преподнес В. В. Путину икону с изображением Распятия, с частицей камня от Голгофы, а также сувенир — панораму Иерусалима в виде крутящегося шара, вручил «Грамоту паломника» в рамке. В свою очередь президент подарил икону преподобного Серафима Саровского в золотом окладе для Русской духовной миссии⁴⁵.

3 июля 2005 года. Неделя Всех святых, в земле Российской просиявших. В Горнем в 7.00 утра встреча архимандрита Елисея. После встречи — литургия, первая в новом, еще не достроенном соборе.

25 августа Горненский монастырь посетил архиепископ Марк (РПЦЗ); с ним паломники — всего 35 человек.

24 сентября. Рабочие золотят купола на соборе, на один купол водрузили крест.

21 ноября. В 16 часов приехал в Горный митрополит Смоленский Кирилл. Осмотрел собор, прошел в Казанский храм. Матушка игумения Георгия преподнесла владыке подарки, так как накануне ему исполнилось 60 лет.

22 декабря. В Горнем началось водружение колоколов и крестов на купола⁴⁶.

26 января 2006 года матушка Георгия с насельницами Горнего поехали в Тиверию, по пути заехали в Иерихон; там было очень тепло, даже жарко. Угостили чаем, сходили в храм и встретили архиепископа Марка (РПЦЗ), подошли нему под благословение.

1 июня 2006 года. В 7.30 **сестры и трудницы Горнего** поехали на Елеон. У места Вознесения Господня все приложились к Стопочке Спасителя. Одновременно служили на своих участках греки, армяне и копты. Потом пошли в монастырь, там

⁴³ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 199.

⁴⁴ Там же. С. 199.

⁴⁵ Там же. С. 199.

⁴⁶ Там же. С. 199.

служил архиепископ Марк. Сходили, приложились к месту обретения главы Иоанна Крестителя, поклонились могиле Антонина (Капустина) и поехали домой.

3 июня. В 17 часов матушка игумения Георгия с сестрой Соломией поехали на подворье к Судным вратам, там отмечали юбилей: 110 лет со дня освящения храма Св. Александра Невского на Александровском подворье. Венощную служил владыка Марк Берлинский, пели сестры из Гефсимании, много было гостей⁴⁷.

Неофициальные контакты с представителями Зарубежной Русской православной церкви становились всё более частыми. **17 мая 2007 года**, в праздник Вознесения Господня, в Москве в кафедральном храме Христа Спасителя состоялась торжественная церемония подписания Акта о каноническом общении Русской православной церкви за границей и Московского патриархата, более 80 лет находившихся в разделении. Акт был подписан Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Первоиерархом РПЦЗ Митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Лавром. После подписания документа о воссоединении Патриарх Алексей II, в сослужении митрополита Лавра и многочисленного сонма архиереев, возглавил первую совместную Божественную литургию⁴⁸.

Подобное торжество имело место и на Святой Земле. **10 июня 2007 года**, в день Всех русских святых, Божественная литургия совершалась в **Горненском монастыре** в достроенном соборе Всех Святых, в земле Российской просиявших. Русскую церковь в Отечестве представлял начальник Русской миссии в Иерусалиме архимандрит Тихон (Зайцев), а Русскую зарубежную церковь — архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк (Арндт)⁴⁹.

В 2007 году, к 160-летию юбилею миссии при начальнике миссии архимандрите Тихоне (Зайцеве), в **Горненской обители** было завершено строительство храма Всех святых. **28 октября 2007 года** митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне — Святейший Патриарх, освятил собор малым чином в честь Всех святых, в земле Российской просиявших. Молебен на освящении собора возглавил Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III.

В своем приветственном слове по окончании молебна патриарх Феофил сказал: «Мы прославляем Троидного Бога, сподобившего нас войти сегодня в новопостроенный храм, посвященный просиявшим в России святым. Сей день радостный и праздничный, поскольку завершены работы по возведению здесь, во Святой Земле, нового храма, в котором будет возвещаться свидетельство веры». Напомнив о гонениях, которым подвергалась Русская церковь 70 лет, предстоятель Иерусалимской церкви заявил: «Нисколько от этого не уменьшилась ее слава, Церковь еще более укрепилась кровью мучеников, кровью, которая соединилась с Кровью Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня мы пожинаем плоды, которые принесла Русская православная церковь». «Я хотел бы поблагодарить братскую Русскую церковь, Его Высокопреосвященство митрополита Кирилла, который не жалел трудов, чтобы строительство этого храма было завершено. На богослужениях, которые совершаются в храме Гроба Господня, мы молимся о всех православных христианах. Надеемся, что Господь будет поспешествовать Святой Русской церкви. Сегодня ее радость является также и нашей радостью», — сказал в заключение патриарх Феофил.

4 сентября 2008 года начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Тихон (Зайцев) в присутствии настоятельницы Горненского монастыря игумении Георгии, клириков миссии и сестер обители совершил Чин освящения восстановленного дома паломника.

⁴⁷ Там же. С. 201.

⁴⁸ Там же. С. 202.

⁴⁹ Там же. С. 205.

31 марта 2009 года начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме был назначен архимандрит Исидор (Минаев). 28 июля того же года в Горненском монастыре состоялось освящение (обновление) пещерного храма в честь Предтечи и Крестителя Иоанна⁵⁰.

12 ноября 2012 года патриарх Московский Кирилл совершил великое освящение храма Всех святых, в земле Российской просиявших.

Пресвятая Богородица — игуменья Горненской обители

В воспоминание встречи Пречистой Девы Марии с праведной Елисаветой по прошению архимандрита Антонина (Капустина) указом Святейшего Синода от 5 августа 1883 года в Горненской обители установлен праздник «Целования» или Прихождения Божией Матери в Горний град Иудов, совершаемый обычно 30 марта, на пятый день после Благовещения. Накануне праздника из Троицкого собора Русской духовной миссии в Горненскую обитель переносится икона «Благовещение Пресвятой Богородицы». Встреча иконы сестрами монастыря происходит у источника Божией Матери с участием представителей Иерусалимского патриархата и многочисленных паломников. От источника по дороге, украшенной цветами, крестный ход с иконой направляется в Казанский храм. Ее ставят на игуменском месте, в голубом одеянии наподобие монашеской мантии, укрепляя у основания игуменским жезлом.

Икона остается в Горней на три месяца в память трехмесячного пребывания Пресвятой Девы у праведных Захарии и Елисаветы. В этот период Игуменьей монастыря становится сама Богородица. Сестры берут благословение сначала у Царицы Небесной, а потом у матушки Георгии. В праздник Рождества Иоанна Предтечи икону торжественно провожают в Троицкий собор миссии⁵¹.

Из записок инокини Наталии

1983 г. Недавно мы встретили икону Матери Божией своей обители (Матерь Божия на пятый день от Благовещения пришла в Горняя «со тцанием»). В воспоминание этого события икона будет стоять у нас 3 месяца. Еще у нас совершился постриг в схиму — новая схимонахиня Марфа. Очень трогательное и вразумляющее событие⁵².

1984 г. Итак, на третий день по благовестии, Мария поспешит со тцанием во град Иудов, в Горняя. Мы чистили и убрали храм к приходу Матери Божией, и от самых ворот до храма устелили дорожку из травы и цветов. Траву пришлось жать руками, потому что у нас здесь нет косы. В этом году поздние дожди и поздняя весна, поэтому травушка особенно раскудрявилась и в ней множество всяких лютиков и васильков выросло. Все принеслось в дар Матери Божией. Торжественно встречали икону и понесли в храм Божий. Она писана просто, но такая Матерь Божия на ней юная и милая, и, видимо, особая благодать на этой иконе, так и хочется на нее смотреть и смотреть. Отдали игуменский посох Матери Божией, теперь она будет игуменствовать у нас три месяца. Все-таки, в каком месте мы живем! — в уме не укладывается.

⁵⁰ Там же. С. 206.

⁵¹ Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме). // Духовная нива. М., 2000. С. 24–25.

⁵² Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983–1989 гг.). СПб., 1996. С. 12.

Каждый день идут толпы паломников из Греции и Румынии (православные страны) спрашивают: где же встретились Матерь Божия с Елизаветой? Идут в храм, ставят свечи. Простые, приветливые люди, похожи на наших русских бабушек и дедушек. Есть и молодые люди, но больше среднего возраста. О, если бы Святая Русь хлынула паломничеством на Святую землю! Да, только лишь нас небольшая кучка — у святынь Иерусалима⁵³.

1983 г. В Горнем сейчас стоит Матерь Божия Благовещения из Троицкого Собора на игуменском месте. Матерь Божия проведет у нас 3 месяца (по Евангелию), а потом покинет свою южику Елисавет (Горнюю) и возвратится в Иерусалим. Матерь Божию встречали с крестным ходом, долго ждали у ворот с хлебом-солью и дорожка была выложена из цветов, — наконец, встретили, радостно целовали и понесли в храм. Небесная наша Игуменя!⁵⁴

5 июля 1984 г. Позавчера был наш большой праздник в обители — Рождество Иоанна Крестителя. На этот праздник к нам приходит много паломников и гостей, приглашается на служение греческий архиерей. И все-таки это немножко грустный праздник — в этот день от нас уходит икона Матери Божией «Благовещение» после 3-х месяцев пребывания в обители. Хоть и понимаем, что Матерь Божия всегда с нами, но все равно немного грустно, будто она, Царица Небесная, своими ногами уходит из Горнего⁵⁵.

1983 г. Здесь родился Иоанн Креститель. Его почитают игуменом этих мест. Когда матушки уезжают из своих домиков на время, всегда крестят и оставляют на Иоанна Крестителя⁵⁶.

Главными святынями Горненского монастыря являются камень, отколотый и перенесенный с места первой проповеди св. Иоанна Предтечи (он находится у западной внешней стены храма, справа от входа), а также чудотворный образ Казанской Божией Матери, написанный известной горненской монахиней-иконописицей Сергией. Ее кисти принадлежит также чудотворная икона Божией Матери «Иерусалимская», находящаяся в Гефсимании, в церкви Успения, в особом киоте за кувуклией Пресвятой Богородицы⁵⁷.

...За последние годы значительно выросло число паломников, прибывающих на Святую Землю. Многих принимает Горненский монастырь в своих гостиницах, где сестры несут послушание. Эти группы сопровождаются по святым местам сестрами монастыря. В настоящее время в обители несут послушание 60 сестер (больше не позволяют израильские власти), и притом хорошо, если половина находится в самом монастыре. Остальные — то постоянно, то временно — в «командировках»: они несут также послушания в Русской духовной миссии и на участках земли, принадлежащих Русской православной церкви: в монастыре Св. апостола Петра в Яффе, где находится гробница праведной Тавифы, на участке земли с храмом пророка Илии в Хайфе на горе Кармил, в Тиверии, на берегу Галилейского озера, на участке земли с храмом Св. равноапостольной Марии Магдалины⁵⁸. Их трудом и молитвой стоит и держится Русская Палестина⁵⁹.

⁵³ Там же. С. 91—92.

⁵⁴ Там же. С. 16.

⁵⁵ Там же. С. 102.

⁵⁶ Там же. С. 12.

⁵⁷ Лисовой Н. Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. XII. М., 2006. С. 125.

⁵⁸ Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме). // Духовная нива. М., 2000. С. 18—20.

⁵⁹ Лисовой Н. Н. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 220.

РАДИО МАРИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1053 кГц АМ

ВЫБОРГ 92,6 FM

он-лайн вещание: www.radiomaria.ru

в нашей программе:

- трансляция богослужений из храмов Санкт-Петербурга
- выступления известных деятелей культуры, науки, искусства
- исторические передачи
- литературные чтения
- русская и зарубежная музыкальная классика и духовная музыка
- в прямом эфире встречи с педагогами, юристами, врачами

Contents

Prose and Poetry

Andrey Dmitriev. Poems • 3

Stanislav Shuljak. Andante Maestoso. Melonovel • 7

Vladimir Shemshuchenko. Poems • 128

Platon Besedin. Homeland of Birchen Spoons. Novel • 133

Boris Lichtenfeld. Poems • 156

Karamzin Code

Elena Zinovyeva. On the Inheritance of Ideas • 166

Criticism and Essays

Natalya Belyaeva. Alexander Kushner: Eight Faces of Talent • 182

Petersburg Bookman

Person and Fate. *Nikolay Guskov.* «The Last Ray of Tragic Dawn» (On Krutitsky's forgotten project). **Portrait of the Poet.** *Irina Tchaikovskaya.* «In Skyscraper-Concrete Paradise like a Bird on the Dark Branch». To Poetess Valentina Sinkevich's 90th Anniversary. **The Singer's House.** *Elena Zinovyeva's publication* • 194

Pilgrim

Archimandrite Augustine (Nikitin). Gornji Grad of Judah. Part 4 • 230

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>
Ресурс в сети Интернет: www.nevajournal.ru

*Проект «Слово, одухотворенное временем»
реализован на средства гранта Санкт-Петербурга*

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства www.nevajournal.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 26.07.2016. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108^{1/16}. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 2500 экз. Заказ № 1505
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии StP
в Первой Академической типографии «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28